

история / география / этнография



Иван Грозный. Двойной портрет



Ломоносовъ
ИЗДАТЕЛЬСТВО



Иван Грозный. Двойной портрет



Издательство «Ломоносовъ»
Москва • 2020

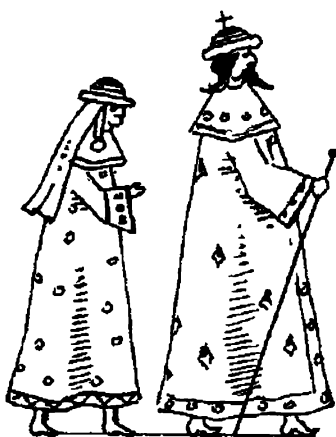
УДК 94(47).043
ББК 63.3(2)4
И18

*В основе публикации текста Роберта Виппера:
Виппер Р.Ю. Иван Грозный. М., Дельфин, 1922.*

*Текст Сергея Платонова печатается по:
Платонов С.Ф. Иван Грозный. Пг., Изд-во Брокгауз — Ефрон, 1923.*

Составитель серии Владислав Петров

Иллюстрации Ирины Тибиловой



Роберт Виппер
Иван Грозный



I. Шестнадцатый век

С той поры, как татары разгромили Суздальскую и Киевскую Русь (1237—1239), а франко-итальянские крестоносцы потеряли Иерусалим (1244), Азия не переставала посылать новые и новые массы кочевников в Европу. Никогда разбойничьи народы так не давили на промышленные и земледельческие страны Запада, как в конце XV и начале XVI века, когда пал христианский Константинополь, когда турецкие и татарские наездники подступали к Вене и Москве. Никогда в такой мере религия не служила знаком культурного разделения; в то время как среди кочевников от Оби до Атлантического океана, от Оки и Дуная до индийских вод безраздельно царила вера Мухаммеда, христианство было задвинуто в тесный северо-западный угол Европы, сохраняя лишь слабые остатки наследства античного мира.

1

На всю почти Русскую равнину, вплоть до области Великих озер, распространилась власть Золотой Орды. На юго-востоке Европы под ударами турок-османов пала Византия, сокрушены были Болгария и Сербия; завоеватели продолжали успешно продвигаться вперед, овладели Венгрией, угрожая далее Германии, Чехо-Моравии и Польше. С той поры, как татары приняли ислам (в первой половине XIV века), мусульманский мир — от Оби до Атлантического океана и от Оки до Индостана — был единым в религиозном отношении и представлял контраст христианской Европе, разбитой на церкви и секты,

на враждующие между собою народности, государства и города. Эти явления еще более увеличивали ее экономический упадок и хаотичность.

Господствующее положение в мусульманском мире занял турецкий султан; главенство его признали наследники распавшейся Золотой Орды — татарские, ногайские и другие ханы и мурзы, которые продолжали свои набеги на русские земли, забирая хлеб и скот, меха и драгоценности, наконец живой товар — рабов, сбываемых на азиатских и африканских рынках.

Сам султан достиг заветной цели, поставленной турками еще в XI веке: сел в златоверхом Царьграде наследником ромейского кесаря, водрузил на св. Софии вместо креста полумесяц. Опираясь на большое постоянное войско — силу, о которой тогда и мечтать не могло ни одно европейское правительство, — он был бесспорно самым могущественным, можно сказать, единственным императором мира. В качестве верховного халифа, то есть первосвященника и покровителя верующих, его чтили на далеких окраинах Сибири, Туркестана, Счастливой Аравии, африканского Туниса и Марокко. Есть любопытное известие, относящееся ко времени Ивана Грозного, что бухарцы и поволжские ногаи прибегали к высокой помощи султана, жалуясь на московских людей, которые в Астрахани чинят препятствия богомольцам, идущим в Мекку. В письме к французскому королю Сулейман I (1520—1566) называет себя царем царей, князем князей, раздавателем корон мира, тенью бога в обеих странах света, властителем Черного и Белого морей, Азии и Европы. В это время у турок считалось в подчинении 30 королевств и 8 тысяч миль береговой линии.

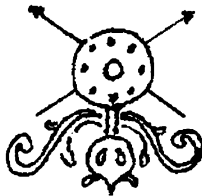
Особенно тяжелый урон терпели европейцы в торговле с богатыми странами Востока, доставлявшими пряности, шелк, слоновую кость. Утвердившись на берегах Леванта, турки отняли у генуэзцев и венецианцев их старые торговые стоянки в Крыму, на Кипре и Родосе, наводнили Средиземное море корсарами и загородили прямой доступ к Персии, Аравии, Индии и Китаю. Захватив в 1517 году Египет, султан Селим I обрезал последнюю нить, которая связывала Венецию с Востоком. Не европейские товары поднялись до цен баснословных, а золото из Европы уходило в руки счастливых завоевателей, сидевших у ворот азиатской торговли.

Азиатские народы точно стиснули европейцев на узкой территории и заставили их сжаться в своей внутренней жизни. В XV веке обедневшая, лишенная золота Европа раздирается междоусобиями. Не имея выхода наружу, европейские народы грабят друг друга. С окончанием Столетней войны между Англией и Францией (1337–1453), поразительно бесплодной для обеих стран, военные наемники, неспособные приняться за мирную работу, продолжают вести мелкую, раздробленную борьбу, истребляют свои силы в гражданских столкновениях: таковы походы «арманьяков» и «живодеров» во Франции, такова в Англии бесконечная усобица, которая носит название войны Алой и Белой розы. В землях прикарпатских и приальпийских свирепствуют войны гуситские; чешские табориты, прообраз запорожского казачества, здоровые и сильные молодцы, не желающие заниматься правильным трудом, опустошают земли свои и чужие, проживают богатства, накопленные искусством и трудолюбием остального населения: бросая дом и родных, они предпочитают жить товарищескими союзами бессемейных кочевников.

2

Около 1500 года европейцы начинают как бы нащупывать пути и средства, чтобы вырваться из тяжелых тисков, в которые они были зажаты на два с половиной столетия азиатскими завоевателями. Шестнадцатый век — время крупных открытий, сильнейшего развития предприимчивости, широкого обмена между странами Европы.

Народы крайнего Запада ищут морских обходных путей к дальнему Востоку. У каждого народа вырабатывается своя специальность в этих поисках. Добиваясь кратчайшего пути, португальцы огибают Африку и первые достигают подлинной Индии. Испанцы, следовавшие за итальянским мечтателем Колумбом, встречают на своем пути новый материк и зарываются в сказочные запасы золота Новой Индии. Англичане, принявшись за дело позднее других, устремляются на север, чтобы обогнуть Европу и Азию путем, противоположным движению португальцев. В середине XVI века они основывают «общество купцов-искателей» «для открытия стран, земель и островов, государств и владений, неведомых и доселе морским путем не



посещавшихся». Первой же экспедицией этого общества явилось путешествие Ченслора, который в 1553 году был занесен в Белое море, попал в Москву и завязал правильные сношения с Московским государством.

Морские путешествия повели англичан к дальнейшим сухопутным открытиям. В Англии заметили скоро, что Москва, помимо своего непосредственного значения в торговле, может служить транзитным путем в Среднюю Азию, что по Северной Двине, Волге и Каспийскому морю можно добираться до Туркестана и Бухары, а там и до самой Индии.

Та же идея сухопутного переезда через Восточную Европу охватывает воображение старых руководителей торгового движения, — венецианцев, генуэзцев, немецких ганзейцев, — отесняемых более счастливыми конкурентами, избравшими своей стихией бурный океан. Генуэзцы добиваются у Василия III права на проезд по Волге и Каспийскому морю в Индию. Ганзейские купцы пытаются оживить свое бывшее влияние на Балтийском море и протягивают руку Москве через Ливонию.

Европа отправляет в путь накопившуюся в ней беспокойную вольницу, своих самых непоседливых сынов, даровитых, отчаянно смелых, неспособных к тихой сосредоточенной работе, искателей золота и редких товаров, беспощадных, искусных воителей, неутомимых «морских волков». Таковы португальцы д'Альмейда и Альбукерке, испанцы Кортес и Писарро, англичане Дрейк и Рэли. За ними следом идут предприниматели другого рода, промышленники и банкиры старой Европы, большие генуэзские и аугсбургские фирмы, — Спинолы, Вельзеры, Фуггеры, — в качестве кредиторов и посредников новой заморской торговли. Испанское правительство отдает дому Вельзеров на разработку целую область Южной Америки — Венесуэлу. Фуггеры забирают в Испании всю добычу ртути для применения на американских серебряных рудниках.

В то время как западные народы увлечены заокеанскими предприятиями, Восточная Европа занята борьбой со степняками и расширяет беспрерывно свои сухопутные владения. Польско-Литовское государство забирает земли когда-то цветущего, потом совершенно опустевшего края Киевской Руси, — черноземную полосу по Днестру и Днепру. Московское государство, образовавшееся между Волгой и Окой, быстро захватывает

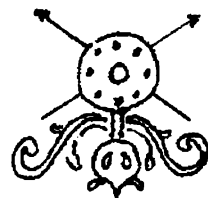
Среднее и Нижнее Поволжье, подчиняет себе татарские, финские, ногайские племена обширных южных равнин, продвигает вперед за Оку — к Десне и Дону — полосу земледельческих поселений и в то же время устремляется к морям. При Иване IV, покорителе Поволжья и первом строителе русского флота, великорусские промышленники, колонизаторы и воители переходят за Камень (Уральский хребет) и основывают русскую Сибирь.

Как в Польше, так и в Москве в эпоху расширения выдвинулись замечательные политики: два Сигизмунда, I и II, и два Ивана, III и IV. Ивану Грозному, современнику Елизаветы английской, Филиппа II испанского и Вильгельма Оранского, вождя Нидерландской революции, приходится решать военные, административные и международные задачи, похожие на цели создателей новоевропейских держав, но в гораздо более трудной обстановке. Талантами дипломата и организатора он, может быть, всех их превосходит.

Строгановы и Ермак, покорители Сибири, не уступят Вельзерам и Кортесу: те и другие принадлежат к породе смелых завоевателей, устремившихся на добычу металла, на исследование и покорение неизведанных стран.

Оба порыва европейцев к расширению — завоевание заморских обеих Индий и сухопутная борьба с турко-татарскими степняками, сопровождаемая усиленной разработкой громадных пустырей, — как нельзя более тесно связаны между собой. Приморские народы, пускавшиеся по Атлантическому и Индийскому океанам, добираются непосредственно до редкостных товаров, пряностей, слоновой кости, фарфора, шелка, золота и серебра. Сбывая их на большом европейском рынке, они поднимают цены на все продукты и вызывают зависть других народов, занимающих менее выгодное географическое положение; в то же время их предприятия втягивают в торговый оборот области Центральной и Восточной Европы. Пруссия, Ливония, Австрия, Венгрия, Польша, Литва, Новгородская и Московская Русь доставляют Англии, Франции, Нидерландам, Испании хлеб, кожи, меха, сало, дерево, поташ, мед, воск, которых не хватает приморским странам.

На западной окраине, обращенной к океану, образуется новый крупнейший международный узел — Антверпен: сюда сходятся товары индийского подвоза, фламандской, французской



и английской промышленности и сырье Восточной Европы. Насколько велика была для восточноевропейцев притягательная сила города, расположенного у выхода широкой многоводной Шельды в открытое море, можно судить по условиям договора, заключенного Грозным со Швецией в 1557 году: за право шведских торговцев беспрепятственно ездить через Москву в Индию и Китай московским купцам предоставлялся проезд через Швецию в Испанию, Францию, Англию, «Любок и Антроп» (то есть Антверпен).

3

В XVI веке борьба европейцев со степью была в полном разгаре, и успех этой борьбы резко колебался. В 1528–1531 годах Сулейман I Великолепный осаждает Вену и завоевывает Венгрию, а в 1552–1556 годах Иван IV покоряет Поволжье. В свою очередь на эту великую победу христианско-земледельческого государства мусульманский мир отвечает в 1569–1572 годах походом турок на Астрахань и сожжением крымскими татарами Москвы.

В трудных, почти непрерывных войнах с подвижной азиатской конницей восточноевропейские государства перенимают многие черты устройства армии противника, и как раз те, которые дали ему перевес, когда он появился впервые на европейской территории. Прежде всего они пользуются живой силой страшного врага. На московскую службу с середины XV века переходит множество татарских князей со своими свитами; великие князья привлекают их богатыми подарками, включают в аристократию своего двора, награждают поместьями и образуют из них отряды для охраны военной границы. При этом стараются сохранить военный пыл конных отрядов, отвлекаемых от их родной стихии. Позднее, в качестве обороны, а потом и нападения на мусульманский мир, на обширной окраине степей появляется подвижная конница великорусских ополчений и украинских вольных дружин.

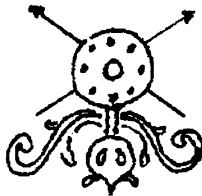
Две великие державы, Турция и Москва, почти одновременно вырабатывают у себя аналогичные формы и учреждения военной организации. В Турции спахии — пожизненные владельцы небольших поместий — были обязаны являться по призыву султана и приводить с собой определенное количество

всадников, смотря по размеру доходности имения. Московское правительство развило с конца XV века поместную систему, в силу которой оно требовало, чтобы землевладельцы являлись на сборные пункты «конны, людны и оружны». Озабоченное тем, чтобы воинство не убывало, а множилось, чтобы подготавливались все новые его кадры, оно наделяло землей «новиков», то есть помещичьих сыновей, по достижении ими определенного возраста и по мере вступления их на военную службу.

При громадной растянутости фронта от Альп чуть не до Алтая, при невозможности устроить сплошную загородку в виде стены или вала, восточноевропейцам, в особенности же Московской державе, приходилось строить укрепленные города, замки и остроги по всей линии, открытой для нападений. Война часто сводилась к защите крепостей, к обороне от осаждающих войск, а отсюда возникла необходимость держать хорошую артиллерию.

Шестнадцатый век выделяется прогрессом военной техники и, в частности, изобретениями в области огнестрельного оружия. Рядом с тяжелой артиллерией — пушками — появляется и легкая — пищали, а вместе с этим создается новая пехота «огневых» стрелков.

В казанском и астраханском походах Ивана IV (1552—1556) пешие артиллеристы — «стрельцы», — пока еще немногочисленные, образуют, однако, важную силу. В завоевании Сибири Ермаком пищальники сыграли решающую роль в столкновениях с многочисленными туземцами, незнакомыми с огнестрельным оружием. Осада и взятие крепостей — штурм Белграда (1521) и осада Вены турками (1529), взятие Казани Иваном IV (1552), двукратное падение Полоцка, переходившего из рук Литвы к Москве (1563) и обратно (1579), яростные атаки русских на Ревель в течение Ливонской войны (1558—1582), осада Баторием Пскова (1581—1582) — составляют характерные и знаменитые эпизоды военной истории того времени. Одно из самых эффективных изобретений — подкоп под городские стены, взрывааемые порохом, — решило в 1552 году участь Казани.



Можно было бы ожидать, что в борьбе со страшным врагом общий интерес объединит все восточноевропейские государства.

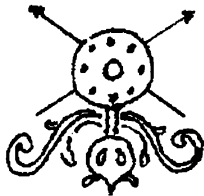
Однако между ними возникало больше трений и соперничества, чем налаживалось союзов и согласия. Дания, Пруссия, Ливония, Польша, Литва, Австрия, Венгрия, Москва (через Новгород и Нарву) стремятся урвать свою долю в золотой добыче, прибывающей из Индии и Америки. Чуть ли не главной целью внешней политики становится приобретение торговых монополий и преимуществ, захват морских портов и проливов.

В политике государств Восточной Европы составлялись своеобразные пары, которые то соединялись, то расходились. Австрия сближалась и соперничала с Венгрией, Польша с Литвой, Литва с Москвой. Постоянно скрещивались в этих группах династические притязания. Принцы германского императорского дома выступали претендентами на польский престол; польско-литовские Ягеллоны искали корон венгерской и чешской, входивших в круг владения австрийских Габсбургов; московский царь, считавший себя законным властителем «всех Руси», выставлял свою кандидатуру в Литве, которая обладала половиной русских земель. В свою очередь эти притязания вели к соперничеству Москвы с Польшей и вместе с тем к союзу московской династии с другим противником Польско-Литовского государства — австрийскими Габсбургами, а этот союз далее открывал пути в Москву международной политике римской папской курии.

Сложный клубок международных отношений в XVI веке опутал сеть европейских государств. Можно сказать, что со времени падения Византийской империи в 1453 году дипломатия становится в Европе искусством по преимуществу. Правительства выбирают для отправки в миссии к чужим дворам людей особенно бывалых, обладающих различными техническими сведениями: от них требовали подробных известий не только о планах и намерениях высших сфер того двора, при котором они были аккредитованы, но и о внутренней жизни страны: о занятиях и нравах народонаселения, о богатствах страны и уровне производства, о борьбе партий. Усиленный спрос на умелых дипломатов создал особую школу и науку. Послы и агенты при миссиях в XVI веке — часто выдающиеся бытописатели, географы, этнографы, историки, публицисты, психологи-наблюдатели. Таковы Герберштейн и Флетчер, сочинения которых рисуют обстоятельную картину Московского государства в начале и в конце XVI века.

Так как на Западе это была эпоха гуманизма, увлечения образцами античного мира, усиленного изучения греко-римских авторов, то естественно встретить в литературе путешествий и описаний блески классицизма. Преклонение перед греко-римской древностью проникает, однако, и в Москву: при дворе Ивана IV мы встречаем весьма неожиданную генеалогию — государи московские выводят свой род от легендарного Пруса, брата кесаря Августа. В данном случае ученые, придумавшие эту родословную, оказали неоценимую услугу самодержавию, высоко подняв имя и авторитет московского государя над остальными европейскими королями и правителями.

Среди нового политического мира Европы московскому правительству приходилось не только демонстрировать военно-административные таланты, но также проявить мастерство в кабинетной борьбе. Грозный царь, его сотрудники и ученики с достоинством выдержали свою трудную роль. У них своя ученость, свои предания, свои оригинальные способы доказательства. Они, правда, держались более старой школы «византийского письма» и не знали еще лоска светской рационалистической науки, проникшей в западные университеты из литературно-гуманистических кругов, но, когда надо было, умели настойчиво защищать права и притязания своей державы, причем орудовали историческими ссылками и свидетельствами старых летописей с таким искусством, каким, пожалуй, не владел никто больше в Европе.



5

Колонизационное движение в обе стороны — за океан и вглубь степей, — вооружение больших масс конницы, усиление торгового соперничества между европейскими государствами, — все эти события теснейшим образом связаны с глубокими переменами в общественном и политическом быту Европы.

Одним из важнейших фактов социальной жизни XVI века можно признать выступление на историческую сцену во всех европейских странах землевладельческого, или помещного, дворянства.

Хотя титулы князей, графов, баронов, маркизов и само понятие дворянства весьма старинного происхождения и при-

надлежат раннему периоду феодализма, однако в XVI веке эти термины служат обозначением совершенно преобразованного класса феодалов, который как по составу своему, так и по своим повадкам — и экономическим, и юридическим, — резко отличается от средневекового рыцарства. Во Франции, например, лишь небольшая часть дворянства могла похвалиться происхождением от рыцарей эпохи крестовых походов; огромное большинство дворянства составилось здесь из людей королевской службы и обязано было своим возвышением пожалованию короля. Совершенно так же и в Московском государстве боярские дети и дворяне, набираемые из средних и даже низших слоев общества, испомещаемые землей начиная с конца XV века, имели мало общего с прежними дружинниками XII—XIII веков по характеру своей службы и своему положению в государстве.

Дворянство совершенно отходит от традиций полубродячего, косного в хозяйственном отношении рыцарства и дружинничества. Новый тип феодала вырастает в обстановке развития широкого товарного обмена и сам принимает живейшее участие в экономической жизни того времени.

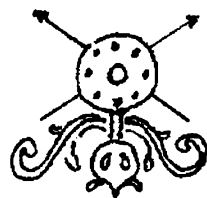
Основатель школы по изучению истории европейского крестьянства Г.Ф. Кнапп¹ заметил как-то, что прусские юнкеры в XVI веке впервые почувствовали лихорадку наживы. Эта характеристика нового хозяйственного типа и порядка, данная консервативным ученым в устарелой романтической форме, может быть переведена на более прозаический язык конкретных исторических фактов и отнесена к дворянству других европейских государств.

Новый класс, носитель более прогрессивного уклада хозяйства, стал слагаться в одних странах раньше, в других позже, в зависимости от степени участия каждой страны в торговом обмене, от расширения и увеличения количества рынков для сбыта сельскохозяйственных продуктов — хлеба, льна, шерсти, кож и т. п.

Раньше всего, уже в XIV веке, начинает обозначаться тип дворянина-хозяина, помещика-предпринимателя в двух странах крайнего Запада — в Англии и Франции. В XV веке этот тип появляется в Дании, на северо-востоке Германии, в Чехо-Моравии, Венгрии, Польше, Ливонии, в XVI веке — в Швеции, в Литве и Московском государстве.

В более раннюю пору Средневековья рыцарь жил за счет традиционных натуральных поставок зависимых крестьян и оброков мелких арендаторов, дополняя свои доходы взысканием судебных штрафов, сбором налога на помол и варение напитков и т. п. Теперь, к началу XVI века, новая торговая политика, выгоды сбыта продуктов земледелия и скотоводства на большие рынки, внутренние и внешние, дали сельскому хозяйству мощественный толчок, особенно в аграрных странах Центральной и Восточной Европы, которые начинают снабжать своим сырьем индустриальные и приморские страны Запада. Владельцы земельных ленов не могли не видеть, какой в их руках источник прибыли. Они или принимают сами хозяйничать, увеличивают за счет земли, отдаваемой крестьянам, барскую запашку, обрабатывают пустыри, прикупают новые участки земли, округляют свои имения, или же сгоняют с места массы мелких арендаторов, плативших традиционные скудные взносы, заменяя их немногими крупными фермерами капиталистического типа и этим высоко поднимая цены на землю.

Так обозначается, пока еще в грубых чертах, фигура помещика, каким его знают последние века феодально-крепостнического периода. В XVI веке дворяне жадно скупают имения, превращаются в расчетливых хозяев, стараются выгнать из своих операций максимум прибыли, нередко выступают в качестве ростовщиков в деревне. В прибалтийских странах бароны и рыцари, уклоняясь последовательно от военной службы, вытесняют с рынка крестьян, обрезают их торговлю с городами и сами принимают за сбыт сельскохозяйственных продуктов в городах и больших приморских пунктах. Датское дворянство открыто нарушает старые городские привилегии, отнимает у бюргеров торговлю хлебом и скотом, заводит прямые сношения с Голландией и Ганзейским союзом, строит собственные корабли, на которых пытается вывозить деревенские товары за границу.



6

Дворянство переживает в XVI веке свой золотой век, эпоху подъема и бурной, напряженной деятельности. Из его среды выходят мореплаватели и колонизаторы, искатели торговых путей, исследователи и завоеватели внеевропейских стран, кондотье-

ры, публицисты, ораторы, историки, агрономы, романисты, богословы и философы.

В политической жизни отдельных европейских государств дворянство заняло не одинаковое положение. Хотя всюду оно выросло вместе с монархической верхушкой, однако в XV—XVI веках оно в одних странах добилось ограничения монархической власти, в других, напротив, послужило опорой для образования абсолютной монархии; первое случилось там, где, в силу различных обстоятельств, все разряды дворянства, — от крупных магнатов до мелких помещиков, — сплотились в могущественные корпорации, обеспечившие своему сословию привилегии; второе — где монархия удержала руководство над массами среднего и мелкого дворянства и где, опираясь на эти массы, как на военную и административную организацию, она сломила отставшую от национально-политического развития века крупную феодальную аристократию.

Аристократическую организацию дворянства, выбившуюся из-под руководства монархии, можно наблюдать в особенно яркой форме в прибалтийских и прикарпатских странах, далее в мелких немецких княжествах, в Померании, Мекленбурге, Пруссии, Ливонии, а также в Польше и Венгрии; напротив, подчинение дворянства самодержавной власти вырисовывается в самых отчетливых чертах в Московской державе.

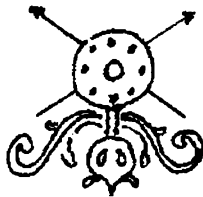
Самая важная из привилегий, которую добыло себе дворянство в государствах первой группы, — это превращение условного владения на ленном праве в полную и неограниченную частную собственность. В Ливонии дворянство легко приобрело себе эту привилегию путем льготных грамот, вырванных у епископской и орденовой власти, совершенно обессиленной ко времени Реформации. Эта важнейшая юридическая перемена, происходившая одновременно и в других странах Центральной Европы, составляла нарушение средневекового обычного права и опиралась на торжество чуждого местным традициям римского права, которое не знает никаких ограничений частной собственности и признает землевладельца «государем» своей земли. Недаром прибалтийское рыцарство, польская шляхта и венгерская аристократия посылали сыновей своих учиться на юридические факультеты гуманистических университетов, недаром нанимали ученых юристов, знатоков римского права, для

составления дворянских кодексов, в которых должна была прославляться привилегированная наследственная собственность, а крестьяне приравнивались к римским крепостным колонам и объявлялись недвижимым имуществом господ.

Чрезвычайно характерно для этой эволюции дворянского самоуправления и юридического обмена то, что одновременно с укреплением права частной собственности на землю дворянство решительно освободилось от всяких обязательств по отношению к государству, и в первую голову — от несения воинской повинности, которая была в свое время единственным основанием владения ленами. Дворянство выработало вместе с тем выгодные для себя парламентские формы, создало аристократические конституции, заполнило своими депутатами сеймы и ландтаги, отодвинуло на последнее место или вовсе вытеснило из представительных собраний депутатов городского населения.

Создав республиканские конституции, дворянство придвинулось к власти и захватило в свои руки законодательный аппарат в государстве. Это обстоятельство имело решающее значение в определении участи крестьянства: дворяне закрепили статутами те меры внеэкономического принуждения, которые они применили к крестьянам, чтобы увеличить продуктивность хозяйства своих имений, увеличить свою прибыль и занять господствующее положение на рынках. Обязательность тяжелой барщины и суровые наказания за побеги, за уклонение от работы были утверждены в силу законов, принятых шляхетскими сеймами (уже в конце XV и в начале XVI века).

Полный контраст этим порядкам аристократических республик Центральной Европы (Чехии, Венгрии, Польши, Пруссии) представляют строение и политика Московской державы. Московское государство выросло в непрерывной трудной борьбе с Золотой Ордой и ее преемниками; главной заботой его правителей было собирание и объединение русских земель, уничтожение уделов, истребление сепаратизма. Оно продолжало эту политику путем развития централизации управления и в особенности посредством создания войска, которое должно было служить орудием дальнейшего расширения и укрепления государства. Оно и достигло этой цели тем, что организовало дворянство в виде военно-служилого сословия, составившего опору для укрепления самодержавия. В Московском госу-



дарстве дворянство подчинилось совсем иным юридическим нормам, чем в аристократических республиках Центральной Европы. Здесь оно не могло вырвать у власти никаких «вольностей», никаких привилегий; не могло оно превратить свои «лены», свое условное, зависимое от суверена владение в полную частную собственность, не могло основать свое благополучие на принципах рабовладельческого римского права. Московский великий князь со времени Дмитрия Донского сделался военным вождем, московский царь в XVI веке остался главой военной монархии.

Московское правительств стало развивать с конца XV века поместную систему, порядок вознаграждения земель, отдаваемой лишь во временное, ограниченное владение, обусловленное непрерывной, неуклонной службой. Система эта проводилась со строгой последовательностью: правительство не допускало свободной мобилизации земли, не допускало произвола помещика в пользовании данной ему землей, не позволяло запустошать ее, держало владельца под контролем, перемещало его по своему усмотрению из одной области в другую, увеличивало его надел по заслугам, подвергало его опале, лишению поместья в случае злоупотреблений.

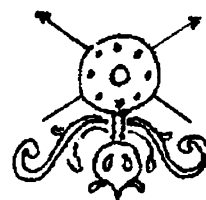
7

В странах, где дворянство стало у власти, где оно обеспечило себе вольности и привилегии, а также там, где этот класс составлял могущественную оппозицию монархии, оно выдвинуло талантливых публицистов, которые развивали теории либерализма, прославляли республиканскую свободу, конституционный строй и парламентские порядки, осуждали деспотизм и абсолютную монархию, гремели против тирании «единого», единственного властителя и даже по временам проповедовали тираноубийство. Это направление политической мысли отразилось и в историографии, поскольку она исходила из дворянских кругов. В этой литературе всякого рода попытки монархии стать на путь политики, благоприятной средним и низшим классам, встречали резкую критику; монархическая демагогия оценивалась как худший сорт тирании, как злодейство, государственное преступление.

У дворянских историков такой фигурой, озаренной зловещим светом, является Христиерн (Кристиан) II датский (1513—1523). Он перешел в память последующих поколений под кличкой «северного Нерона» как виновник «Стокгольмской кровавой бани», то есть казни восставших против него шведских аристократов. Публицисты и историки, принадлежавшие к тому же классу в самой Дании и в других европейских странах, постарались придать его «зверству» общеполитическое освещение, очернить имя Христиерна и закрыть все другие его дела этой мрачной страницей. Их озлобление вполне понятно. В эпоху социально-экономического подъема дворянства Христиерн II пытался завести королевский бессловный даровой суд; он решился бороться с морским разбоем, которому отдавались со страстью прибрежные рыцари и среди них епископы аристократического происхождения. И недаром впоследствии, когда, свергнутый двумя высшими сословиями — духовенством и дворянством, — Христиерн II сидел в тюрьме, восстание крестьян и горожан, организованное любекским демагогом Вулленвебером, провозгласило его, заточника, своим королем.

Незадолго до своего падения Христиерн II издал помимо сейма указ, в котором звучали неслыханные среди шляхетского общества слова: «Не должно быть продажи людей крестьянского звания; такой злой, нехристианский обычай, что держался доселе в Зеландии, Фольстере и др., чтобы продавать и дарить бедных мужиков и христиан по исповеданию, подобно скоту бессмысленному, должен отныне исчезнуть». Указ остался на бумаге, как бы завещанием просвещенному абсолютизму, наступившему лишь два века спустя; его автора продержали в крепком заключении в течение 36 лет — до самой смерти (1559).

Нечего и говорить, что в социально-политической обстановке, сложившейся в Московской державе, было гораздо меньше оснований для возникновения литературы, враждебной монархии. Здесь монархия не только не допустила соединения среднего и мелкого дворянства с аристократией, больше того — она использовала дворянство, организованное ею в виде военно-служилого сословия, для борьбы с «княжатами» и старым боярством. Отсюда благоприятное отношение к монархии в московской публицистике, так ярко выразившееся в двух



дошедших до нас произведениях середины XVI века — в чело-битных-памфлетах Ивана Пересветова и Ермолая-Еразма.

Однако осталась от эпохи Ивана Грозного еще и другая традиция, исходившая от консервативной, погибавшей под ударами самодержавия аристократии. Она выразилась в произведениях князя А. М. Курбского, в «Беседе валаамских чудотворцев», в рассказах и описаниях летописей, в воспоминаниях современников Смутного времени. Это они — представители отживающей идеологии — дали материал для изображения Ивана Грозного в виде тирана, коронованного злодея и преступника, с правом, подобно Христиерну II датскому, на титул Нерона XVI века.

Странным образом эта традиция, внушенная чувством мести со стороны романтиков, оплакивавших гибель аристократии, пережила великие достижения эпохи XVI века, заглушила суждения более прогрессивных современников Ивана IV и повлияла в сильнейшей степени на историков XIX века. Грозный царь закрепился в старых школьных изображениях как жестокий тиран по преимуществу; все его крупные деяния отошли на второй план; все его заслуги по расширению и внутренней организации Московской державы и борьбе с изменниками оказались забытыми.

Русский народ дал совсем иную, глубоко мудрую оценку личности Ивана IV, выразив ее в прозвище Грозного. В иностранной исторической литературе смысл этой характеристики совершенно искажен переводами — *Iwan der Schreckliche*, *Jean le Terrible*, что означает «страшный», «ужасный», чем и подчеркивается обвинение Ивана IV в жестокости. В XVI веке в великой Московской державе «Грозный» звучало величественно и патриотично. Прозвище это прилагалось уже раньше к Ивану III: и дед, и внук были могущественно-грозны, сокрушительно-опасны для врагов народа и государства, как внешних, так и внутренних.

II. Наследство Ивана III

Из всех европейских народов наибольшее искусство и энергию в борьбе с азиатскими воителями проявили великороссы, организовавшие в Московскую державу. Здесь, быть

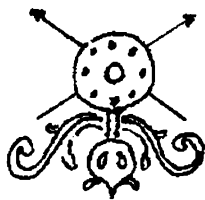
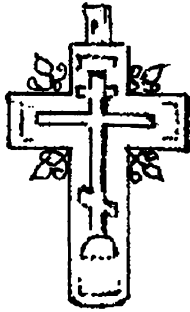
может, самая трудность задачи, необычайно опасное положение на юго-восточной окраине создали изумительную по своим политическим и военным достижениям, по своей стойкости и выдержке школу.

1

В непрерывной борьбе с внешними врагами, наступавшими из Азии, Москва выработала учреждения, в которых было много общего со стратегией, вооружением, крепостными сооружениями, дорожной системой и административной практикой больших азиатских империй. Такой поворот вовсе не был попятным движением, не был огрубением, впадением в варварство. никоим образом не следует забывать, что великий Азиатский материк был ареной культур более старинных, чем культура европейская, что в течение раннего Средневековья — от VIII до XIV века — Азия значительно превосходила Европу своими богатствами, широким развитием обмена, техникой, просвещенностью: арабы были учителями романо-германцев в торговле, науке, философии; монголы перенесли в Европу китайскую артиллерию, систему государственных дорог и почты, в свою очередь унаследованную ими от более старинных держав.

К заимствованным у противника формам в Московском государстве присоединились с течением времени оригинальные учреждения, которые, однако, строились в духе тех же образцов централизованной военной монархии. Отсюда некоторые черты сходства Москвы с Османской империей, последним крупным созданием азиатских воителей, занявших господствующее положение на Леванте. Сравнение Москвы с Турцией напрашивалось постоянно и у русских, и у западных наблюдателей; Иван Пересветов, подававший московскому правительству в эпоху молодости Ивана IV проект уничтожения аристократии и введения неограниченного правления, ссылается на порядки турецкого султана Мехмеда II, считая их образцовыми.

Турция вообще оказывала чарующее действие на Москву. Недаром московское общество было так падко на турецкую моду. Не успевает Стоглавый собор высказаться против надевания «тафей (шапочек) безбожного Махмета», как уже автору «Беседы валаамских чудотворцев» приходится стыдить русских людей за



ношение турецких шляпов и портов (то есть полного костюма), а выписанный в Москву византийский патриот Максим Грек с сокрушением пишет на родину своим друзьям, что скоро москвичи, пожалуй, наденут и чалмы.

Иностранцы видели в сходстве Москвы с Турцией главное основание для нападков на русские порядки. Анонимный французский писатель времен опричнины Грозного находит, что во всех государствах существуют учреждения для охраны закона, для защиты народа от тирании, кроме Московии и Турции. На ту же тему очень любят поговорить и английские наблюдатели Горсей и Флетчер: для них, не понимающих системы московского управления, оно сводится якобы к произвольным капризным действиям, граничащим нередко с самодурством и не встречающим сопротивления в «варварском» обществе, которое такого управления вполне заслуживает.

Однако есть и такие учреждения в «азиатской деспотии», которые вызывают зависть западноевропейцев, поражают их воображение. Таково устройство дорог и ямской гоньбы, служившей наблюдению за краями, не вполне замиренными, а также пересылке грамот и проезду послов, — система, выделявшая Московскую державу из всех европейских государств того времени. Быстрота сообщений и роскошество перевозочных средств изумляли иностранцев. Герберштейн передает, что его служитель проехал 600 верст из Новгорода в Москву в 72 часа, имея возможность ехать без перерыва благодаря смене лошадей; когда он требовал 12 лошадей, ямщик приводил ему 30 и еще больше. Правительство знало цену этого административного орудия. Иван III в завещании детям требует сохранения ям (почтовых станций) и подвод на тех дорогах, которые были заведены во время его правления. В начале Ливонской войны Иван Грозный располагал великолепной организацией официальной почты, и о ней с увлечением рассказывает нюрнбергская газета 1561 года со слов дипломатической миссии, только что прибывшей из Москвы: «У царя в Ливонии, под Ревелем и Ригой, агенты, которые в пять дней доставляют сведения в Москву, так что двор московский осведомлен обо всем, что происходит у Балтики, и следит внимательно за делами Западной Европы».

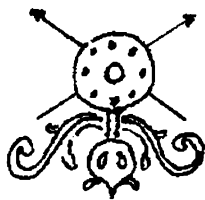
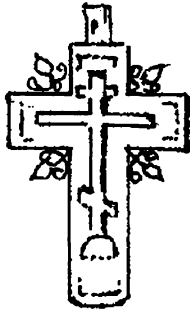
В Москве XV–XVI веков наше внимание привлекает еще одна напоминающая приемы древневосточных держав черта

военной организации, которую также отмечали иностранцы: это — систематически, по широко задуманному плану, совершаемая подготовка больших походов, для осуществления которых заблаговременно вызывали из отдаленных областей и с окраин военные отряды, подвозили в известные пункты боевые орудия и запасы продовольствия и т. п. В ряду подготовительных операций для нанесения противнику сокрушительного военного удара и отнятия у него новой территории можно было наблюдать характерный для московской стратегии прием построения крепостей у краев границы или даже на самой вражеской земле. Так Иван III выстроил в 1492 году Ивангород против ливонской Нарвы, подготавливая занятие финского побережья, к чему приступил его внук Иван IV шестьдесят шесть лет спустя. Преемники Ивана III таким же приемом подвигаются к Казани: Василий III строит Васильсурск, Иван IV — Свияжск. Имея в виду покорение Западно-Двинского края, московские воеводы в 1535 году строят другой Ивангород на Себеже, а в 1536—1537 годах — Заволочье и Велиж. При заключении перемирия с Литвой эти крепости, как построенные на чужой земле, были ей уступлены; потом, отнявши у Литвы Полоцкий край, Грозный опять восстанавливает эти укрепления.

Из факта этого планомерного строительства видно, что проекты завоеваний разрабатывались при московском дворе задолго до начала кампаний и, без сомнения, с картами в руках.

Придворные обычаи, династическая политика — все переносит нас в Азию. Знаменитое местничество, счета родовитых семей в дворцовых церемониях и военных назначениях, как убедительно показал Ф. И. Леонтович², прямо идут от кочевников, также как оттуда идет обычай «обелять» от повинностей родственников и близких властителю людей, и в первую очередь духовенство, причем в Москву переходит слово «тархан», то есть вольноотпущенный, для обозначения привилегированных слоев общества.

Наконец обычаи Востока напоминают суровый порядок, который московские правители провели внутри своей династии. В Москве не допускалось ничего похожего на домашний совет единокровных князей: после ряда упорных столкновений установилась безусловная власть представителя старшей линии, а все другие отпрыски династии, в том числе родные братья



великого князя, сошли на положение обыкновенных придворных чинов. Беспощадно истребляли правящие государи своих ближайших родственников, чтобы устранить соперников себе и своему потомству. При Иване III заточение только что коронованного внука Дмитрия и потом его загадочная смерть, при Василии III казнь его родного брата Андрея Старицкого, при Иване IV смерть двоюродного брата Владимира Андреевича напоминают худшие страницы придворной истории восточных султанатов. Невольно начинаешь думать, что и царевич Дмитрий, погибший в 1591 году при весьма странных обстоятельствах, пал жертвой не «коварного» Бориса, как этого хотелось врагам династии Годуновых и как это нравилось позднейшим драматургам, а «тихого» Федора Иоанновича, который вовсе не намерен был остаться последним царем династии Рюриковичей, а, напротив, предпочел для укрепления своей власти устранить своего младшего брата и притом избавиться от него во время, пока около него не успела составиться политическая партия.

2

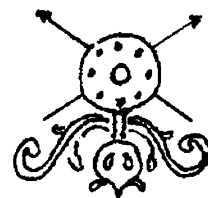
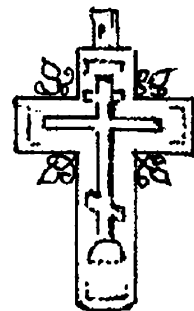
Восточные традиции переплетались в Москве со старой классической школой, доставшейся великороссам в византийской оправе. Духовенство, как усердный хранитель греческой учености на Руси, питалось византийской литературой и устраивало свою жизнь и жизнь паствы своей согласно византийскому законодательству, преклонение перед авторитетом которого было необычайно. В 1531 году, во время суда над постриженным в монахи князем-ученым Вассианом Патрикеевым, митрополит Даниил, находивший большую вину подсудимого в произвольном обращении с Кормчей книгой, то есть византийским церковным судебником, произнес многозначительные слова: «А из той книги никто не мог изменить или поколебать что-либо, начиная от седьмого собора до крещения Руси, и в нашей земле та книга более 500 лет сохраняет церковь и спасает христиан и до нынешнего царя и великого князя Василия Ивановича не была ни от кого поколеблена».

Выступая в качестве идеального советника верховной власти, подготавливая правительству своих учеников для письмоводства и консультации, духовенство служило проводником

юридических идей и административной мудрости Византии. Церковный судебник (Номоканон, или Кормчая книга), в котором заключалось и без того много гражданских законов, был окружен в библиотеках ученых иерархов подбором самых разнообразных светских уставов и законодательных правил из разных времен Византии от IV до XII века. Чего тут только не было! Вместе с Кормчей книгой переписывали так называемый Судебник Константина Великого, кодекс Юстиниана «Земледельческий закон», «Эклогу» иконоборцев Льва Исавра и Константина Копронима, законы Льва Философа, «Прохирон» Василия Македонянина (носивший даже обруселое название Градского закона), новеллы царей Исаака, Алексея и Мануила Комнинов.

Византийское законодательство изучали необычайно тщательно, дорожили каждой буквой, вникали в частности текста с настоящей филологической остротой и придирчивостью. Вот пример. Вассиан, защитник аскетической теории нестяжательности духовенства, усердно ищет в греческом подлиннике доказательства несовместимости монашеского быта с богатством и крупным землевладением; он пересматривает параграфы законов с величайшим вниманием: как понимать оригинальные греческие слова *agros* и *proasteion*, которые по-русски переводятся словом «село», — и после основательной проверки приходит к заключению, что их надо толковать не в смысле вотчины, населенной крестьянами, а в смысле небольшого участка земли, обрабатываемого монахами.

Со второй половины XV века в Москве заметно особенно усиленное изучение византийских судебников, летописных сводов, исторических хроник и богословских сочинений. Московская интеллигенция переживает, подобно романо-германской, своего рода Возрождение. Но в то время как на Западе зачитываются писателями более ранней, классической эпохи, на Руси остаются верны своим средневековым византийским учителям. В одном сходятся и те и другие гуманисты: в высокой оценке новогреческих ученых, в которых видят как бы живой, балканский, обломок древнего мира. В Москву выписывают с Афона Максима Грека, который за время пребывания на Руси с 1518 года становится направителем ученого интереса и средоточием живых философских и богословских споров.

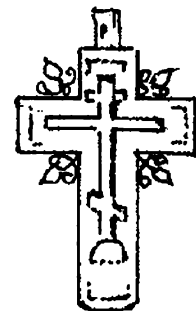


В правительственной практике Ивана III можно заметить значительное влияние византийских образцов и примеров, сведения о которых проникли через ученую среду. Только хорошо вышколенная группа законоведов способна была редактировать такие своды, как великокняжеский Судебник 1497 года и царский Судебник 1550 года. Эти своды производили на иностранцев, склонных вообще видеть во всем обиходе московитов только варварство, неожиданное впечатление большой культурной работы — отчетливой, ясной и продуманной. Герберштейн в описании Московии, которую он посетил в 1525 году, считает нужным привести выдержки из Судебника Ивана III; он забывает прибавить, что в это время ни на его родине, в Германии, ни вообще где-либо на Западе не было ничего подобного и судьи изнывали под тяжестью запутанных, не приведенных в систему правовых положений разных времен, которые они стремились напрасно связать и осмыслить своими университетскими воспоминаниями из области изучения римского права.

Особенно поразительным казалось московское судопроизводство англичанам, у которых суд, построенный на прецедентах — на старых решениях, хранившихся в архивах, требовал огромной памяти от судей и адвокатов и создавал благодаря этому обширный класс профессиональных ходатаев. Уже первый из описавших Московию англичан, Ченслор, одобряет русское судопроизводство в том отношении, что «здесь нет юристов, которые бы вели процессы на суде; каждый сам правит свое дело и подает челобития и ответы письменно, *противно английскому судопроизводству*» (курсив мой. — Р. В.).

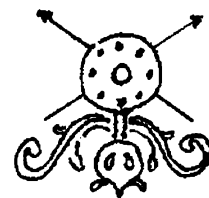
Принципы античной философии права, которыми проникнуто византийское законодательство, оказали свое воздействие на московских законоведов, а через них и на другие круги читающего общества. Оттуда, из римской юридической сокровищницы, взята идея естественного, прирожденного человеку, права, которую каждый из публицистов XVI века выражает на свой манер. Курбский, стараясь защитить право боярина на отъезд, говорит о непохвальном обращении царя, который «затворил русскую землю, сиречь свободное естество человеческое, аки во адове твердыне». Пересветов особенно горячо требует истребления рабства и в предоставлении людям свободы видит осуществление «правды», которая в его глазах несравненно вы-

ше «веры» (догматических положений). У него идеальный государь, чертами которого он облакает турецкого султана Мехмеда, освобождая кабальных и обращая их в свою гвардию, творит Божью волю. Пересветов рассказывает даже что-то вроде Фаустовой легенды: как дьявол искусил Адама после изгнания из рая, взявши с него запись и забравши его в неволю; как Бог сожалел над человеком, вывел его из ада и изодрал запись; всякий, кто пытается вновь взять с людей запись, то есть закабалить их, служит дьяволу. Наконец, еретик рационалист Матвей Башкин считает рабство противным христианскому учению, которое в его глазах совпадает с разумом.



3

Без сомнения, московским правителям много помогли благоприятные внешние условия — обстоятельства, не зависящие от их воли: за них была наличность притягательного центра, — изумительное географическое положение Москвы; за них была непрерывность династии. Наконец, могущественную поддержку им оказывала влиятельная, просвещенная корпорация страны — духовенство. Однако не бывает удачи без умения приспособляться к счастливым условиям, то есть без великого политического искусства.



Московские правители сумели использовать все выгоды своего положения. Трудно найти другую государственную систему, которая бы в такой мере давала возможность использования различных классов общества для проведения определенной цели. Никто из европейских государей XVI века не был способен на военную мобилизацию такого размаха, как Иван IV в начале Ливонской войны, когда двинуты были к Балтийскому побережью конные массы с Волги, из ногайских степей и даже с Терека.

Уверенность приемов, необычайная настойчивость в преследовании раз поставленных целей сказывается особенно ярко во внешних сношениях. Тут все казалось ясным и давно определенным: и теория власти, и титул, и притязания, и привычка вести переговоры с иностранцами, и сознание достоинства своего государства, подкрепляемое историческими и богословскими ссылками. Без всякого колебания московское правительство заявляет свое право на господство над всей Русью: Киев,

Смоленск, Полоцк считаются «отчиной» московских правителей, отлично сохраняющих в памяти свое происхождение от Мономаха. При помощи летописей, постоянно извлекаемых из государственного архива, они устанавливают твердо и неоспоримо, что Дерпт — русский город Юрьев, выстроенный в XI веке Ярославом, который носил христианское имя Юрия.

Один из видных историков XIX века, рассказывая о необычайно обстоятельном наказе, который был дан Иваном III русским послам, отправленным к папе в 1499 году, делает такое признание: «Ничего не желая предоставлять случаю, эти москвиты изучали все затрагивающие их дела необычайно обстоятельно, рассматривали всегда со всех возможных точек зрения, применяли твердо установленные принципы, вводили свои крепко засевшие в памяти предания, искали отчетливых целей, постоянно и исключительно были озабочены обереганием и усилением своего великого положения».

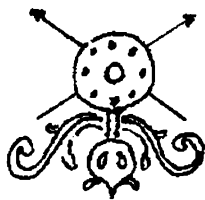
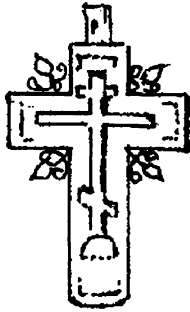
Иезуит Пирлинг, которому принадлежат эти слова, недаром приходит к такому заключению. На всем протяжении своего труда, охватывающего около 150 лет дипломатических сношений Рима с Москвой, ему приходится, в сущности, под разными видами изображать одно и то же состязание, разыгрывающееся между двумя соперниками, с постоянным перевесом того из них, которого принято считать варваром. Московский государь обращается к римскому престолу в очень важных для него дипломатических осложнениях и добивается заступничества папы, при этом он вызывает у папы сильнейшую надежду на подчинение Москвы римскому верховенству. Папа не раз поддается на соблазнительный план унии с Востоком, надеясь, в свою очередь, ослепить «москвиту» блестящей короной; но он неизменно терпит поражение, встречая холодность Москвы, самоуверенность властителя, который не нуждается ни в каком высшем авторитете. Западноевропейская дипломатия оказалась побежденной «некультурной» Московией.

Но может быть, нам следует покинуть эту слишком упрощенную и поверхностную мысль о культурной отсталости русских в XV—XVI веках. Имея неразвитую технику, они не могут ни в коем случае считаться отсталыми в политике. И как раз эти века выставили в лице Ивана III и Ивана IV двух гениальных организаторов и вождей крупнейшей державы своего времени.

Если на протяжении средневековой истории Русского государства кто заслужил имени Великого, так это Иван III. Те формы управления, которые мы встречаем в Москве XVI века: устройство высших совещательных органов, приказы, раздача поместий и определение порядка службы, система налогов, судопроизводство, теория власти, обряд венчания, даже титул «царя», — все восходит к нему. Иван III — родоначальник, устроитель, изобретатель учреждений, церемониала, обстановки власти, остро проницательный, переимчивый, тактичный и гибкий. Никогда он не пренебрегает мелочами; все он умеет поставить на службу возвеличиванию государственной идеи и государственного строя. Выдавая замуж свою дочь за великого князя литовского, он вменяет ей в строжайшую обязанность соблюдать православие, а для ее свиты пишет подробный наказ, как вести себя в церкви и во дворце: ведь им придется представлять за границей Московскую державу; нельзя уронить ее достоинство!

При Иване III определился круг международных сношений и установились линии поведения с каждой из европейских держав: как быть с папою, как с германским императором, с Венгрией, Турцией, Данией, Швецией, Пруссией, Польшей, Ливонией. По взгляду московского двора, с Польско-Литовским государством не может быть вечного мира, а только перемирие, так как западный сосед неправильно владеет русскими землями — «отчиной московского государя», от которой Москва никогда не может отказаться. Ливония не считается самостоятельной страной; с ее правительством не может быть переговоров, как водится между равными силами. Со Швецией московский государь не удостоивает сноситься лично: это дело наместника новгородского, правящего областью, пограничной со шведами. Наиболее любопытны отношения к Дании, Турции и папе, дружественные связи с которыми представляли для Московского государства важное значение.

Москва сблизилась с Данией в результате своего устремления к Балтике. Уже в войне, которую вел Иван III за Ливонию, ясно выразилось желание докончить дело, начатое покорением Новгорода в 1478 году: устранить ганзейское купечество, держав-



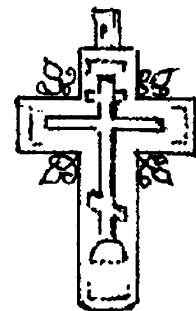
шее в своих руках всю торговлю с русскими землями, и открыть непосредственный обмен с Западом. Из государств, прилегающих к Балтийскому морю, Польша и Швеция были прямыми соперниками Москвы. С отдаленной Данией, напротив, можно было поладить, а союз с ней был особенно важен ввиду того, что Дания помещалась у противоположного Руси узкого конца моря. В XV и XVI веках Дания обладала южной оконечностью Скандинавского полуострова — Сконией — и являлась настоящим государством проливов (Зунда и двух Бельтов); одолев после долгой борьбы Ганзу, она взимала со всех кораблей, выходящих из Балтийского моря, пошлину, составлявшую крупную часть ее бюджета, и всегда держала в своих руках возможность запретить главный пролив — Зунд — «морские ворота», как его называет московская дипломатия.

Иван III хорошо понял важность сближения с Данией. Заключив в 1493 году договор с датским королем, он после этого дипломатического акта закрыл и разгромил ганзейский двор в Новгороде, видимо, рассчитывая скоро добиться прямых торговых сношений с Западом без посредничества ганзейцев. Интересно, что тогда уже появился проект брака московского государя с датской принцессой.

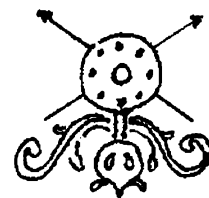
Дипломатическая переписка московского двора с Данией, сохранившаяся в Копенгагенском архиве, весьма любопытна. Она показывает, прежде всего, большую выдержку, уверенность и отчетливость иностранной политики Московского государства. Как, например, обстоятелен договор о наступательно-оборонительном союзе против Швеции и Польши в 1516 году! Тут московский двор вырабатывает тщательно все условия, касающиеся согласованных военных действий, определяет границы (датский король Христиерн II собирался в это время захватить шведскую корону и, следовательно, сделаться соседом Московского государства), уславливается относительно проезда послов, свободного обращения «гостей, купцов и других дельных людей», выдачи должников и преступников.

Новый западный союзник относился к Москве с большим вниманием. Датское правительство находило нужным обучать своих агентов, отправляемых в Москву, русскому языку, и в дипломатических нотах есть просьба найти им учителей среди духовенства. В ответной грамоте назван и преподаватель,

предназначенный для датчан, — «доктор Михаил». На просьбу датского правительства отпустить в Данию жену посла, взятую в Москве замуж, последовал отказ. В своем ответе ведомство иностранных дел позволяет себе высказаться в том высокопоучительном тоне, который вообще брала на себя Москва в сношениях с малыми государствами; дело выглядит так, будто Москва — оплот свободы и естественного права человеческой личности: «Ино у нас во всех наших государствах того обычая нет, что нам в неволю свободных людей давати, не токмо наших государств людей, но иных земель людей, которые в наших государствах; а та жонка наших государств и нам тое жонки твоему человеку Сидору в неволю отпустить непригоже».



Большое дипломатическое искусство проявил Иван III в попытках сближения с Турцией. Здесь существовали исторические грани, создававшие немалые трудности. Православная Москва считала себя наследницей низвергнутой турками Византии. Западные властители для того, чтобы заручиться помощью Москвы против Турции, готовы были торжественно признать права великого князя на Константинополь. Восторженные греки, мечтавшие о возрождении Византии, и их московские ученики сложили знаменитую теорию о Москве — Третьем Риме. Казалось бы, между Турцией и Москвой поднимаются трудно одолимые преграды. С другой стороны, однако, ряд обстоятельств требовал установления добрых отношений: Москве нужна была богословская опора афонских монастырей, находившихся в подданстве Турции. Сближали Оттоманскую империю с Москвой и торговые интересы. Когда турки завладели Крымом и вытеснили оттуда генуэзцев, им очень важно было завести прямой обмен с Москвой; в свою очередь, великий князь был заинтересован в том, чтобы найти поддержку против крымского хана у его верховного государя, султана турецкого.



Отсюда смелый и оригинальный шаг Ивана III — отправить в 1493 году посла в Константинополь. Василий III идет по пути, намеченному отцом: в 1512 году в Царьград, к турецкому султану Селиму I, едет московский посол с грамотами «о любви»; в 1518 году русское посольство вывозит из Афона с согласия турецкого султана знаменитого Максима Грека. Властители Запада, и особенно папа, напрасно обольщали себя надеждой

увлечь московского государя идеей крестового похода против «неверных».

И еще раз ошибались они, когда думали, что можно соблазнить московского великого князя предложением ему короны Священной Римской империи. Однако именно тем, что Москва поддерживала при западных дворах эти заблуждения, удавалось завести дружбу с непримиримыми противниками Турции — Римом и Австрией. Союз с австрийскими Габсбургами был нужен против Польши, а в лице папы московское правительство очень рано усмотрело арбитра на случай важных осложнений с западными католическими державами. В конце правления Ивана III папа Александр Борджиа хлопочет о примирении Польско-Литовского государства с Москвой; при этом он делает попытку склонить Ивана III к союзу с другими монархами для изгнания турок из Европы. Для ведения переговоров в Рим едут московские послы — грек Димитрий Ралев и Митрофан Карачаров. Это, впрочем, не первые русские дипломатические агенты в Италии. Уже в 1474 году там видели Толбузина, который приехал с поручением набрать в Венеции художников, ремесленников, горноделов, оружейных мастеров.

Русские дипломаты в Италии изумляли всех своей требовательностью в вопросах этикета: они никогда и ни за что не соглашались уступить кому-либо первое место в придворных церемониях на приемах или в церкви. Если они не получали гарантии, что им будет предоставлено первое место, они предпочитали вовсе не являться на прием, а если, прибывши в церковь, находили на лучшем месте впереди себя послов других держав, немедленно уезжали. Это поведение русских послов за границей очень характерно. Конечно, они руководились очень точной и неумолимой инструкцией, полученной в Москве, и здесь мы опять узнаем Ивана III с его настойчивой заботой о сохранении достоинства Московской державы.

5

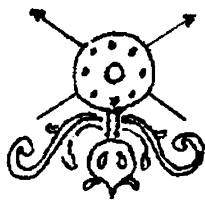
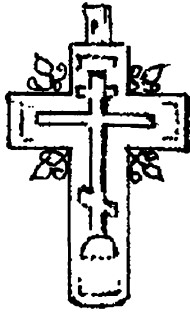
Немыслимо себе представить ведение сложной внешней политики без особого состава опытных дельцов, из которых правительство могло набирать уполномоченных для отправки за границу и специалистов для переговоров с приезжающими

иностранными посольствами. Старые дружинники, во главе которых стояли бояре, получившие военное воспитание, не годились для этой цели. Необходимо было обращаться к церковной школе, откуда и выходили дьяки и подьячие, вполне соответствующие западноевропейским клирикам, выпускникам университетов, заполнявшим королевские канцелярии.

Возвышение дьячества начинается при Иване III. В XVI веке иностранцев поражает развитие при московском дворе письменного делопроизводства. Особенно бросается им в глаза обширность центрального военно-административного управления, которое в Москве называлось Разрядом и которое посторонние наблюдатели обозначали иногда Государственной канцелярией. В Москве старались закреплять акты ежедневной государственной жизни подробными и точными протоколами. Государя сопровождает в поход разрядный дьяк со своей канцелярией; он держит в своих руках список служебных мест, распределение должностей и снаряжений, опись наград и ведет дневник государева похода. Есть основание думать, что в московском Разряде составлялись также официальные летописи государственных событий.

Для исторической и статистической основательности московских канцелярий очень характерен труд, составленный дьяками Разряда по поручению московского государя и заключающий в себе подробные генеалогические списки великокняжеского рода с присоединением родословных подчиненных князей, а также выдающихся бояр, находившихся на его службе. Этот государственный родословец, составленный, может быть, во время молодости Ивана IV в 1555 году, представляет собой результат сложной и старательной архивной работы, в основе которой лежала определенная тенденция, а именно — связать происхождение московской великокняжеской линии с историей римских кесарей и этим безмерно поднять авторитет московских самодержцев во внешней и во внутренней политике.

В таких документах учено-бюрократического творчества много крепкой уверенности в себе и сознания собственного достоинства. Московский двор выработал своеобразные приемы, приобрел выразительный самостоятельный облик и очень дорожил своими церемониальными торжественными формами.



Характерно выражалась самостоятельность Московской державы в ее религиозной политике. Московский государь умел находить спокойное равновесие в трудных вероисповедных вопросах: дружить с Турцией и поддерживать надежды подчиненных ей православных греков, не разочаровывать в расчетах на крестовый поход папу и отклонять всякие попытки вовлечения Москвы в унию. Тем большее мастерство требовалось от правительства, что иностранные сношения по церковным вопросам создавали немалые затруднения внутри страны. Когда папский легат, сопровождавший в 1472 году византийскую царевну Софию Палеолог, собирался въехать в Москву, предшествуемый латинским крестом, митрополит заявил, что уедет немедленно другими воротами из Москвы. А с собственной церковью великому князю приходилось соблюдать большую осторожность: нельзя было пренебречь ни ее богатствами, ни ее школой, из которой выходили образованные чиновники, ни ее нравственной поддержкой: ведь не кто иной, как представители церкви выработали теорию божественности власти и постоянно готовы были подновлять ее. Духовенство было важнейшей опорой самодержавия.

Однако нельзя было позволить церкви стать выше светской власти. В это время по всей Европе поднимается клич реформы, обозначается кризис средневековой церкви. Уже при Иване III в Москве остро ставятся те самые вопросы, которые на Западе будет скоро решать Реформация: переход церковных, особенно монастырских, имуществ в руки государства, независимость церкви от светской власти, свободное толкование основ религиозной истины. Образуются две партии, иосифляне и заволжские старцы, весьма напоминающие католиков и протестантов эпохи начала церковных разногласий.

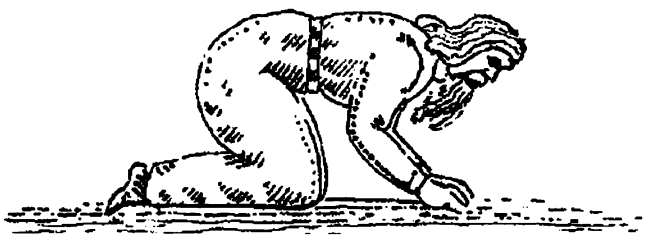
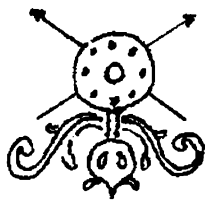
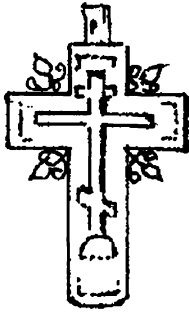
Иван III стоял очень близко к протестантскому решению вопроса о церковных имуществах на манер Англии или Швеции. На соборе 1503 года, когда защитники монастырского землевладения большей частью разъехались, он позволил, вернее сказать, поручил знаменитому вождю партии нестяжателей, Нилу Сорскому, сказать горячую речь, против мирского обогащения церкви. Однако правительство удержалось от разрыва

с могущественным духовенством, которое представляло собой богатую, деятельную, предприимчивую хозяйственную силу. Оно понимало, что заволжцы, превосходя противников литературными и ораторскими талантами, совсем не были политиками; они могли сулить в будущем только мирный анархизм, раздробление по сектам, разброд мыслей, хозяйственный застой. Иван III ограничился тем, что не давал сторонников «бедной церкви» в обиду иосифлянским инквизиторам, сохраняя в лице «нестяжателей» угрозу против притязаний сторонников церковных привилегий. В том же духе действовали его преемники: при Василии III митрополитом московским становится то склонный к заволжцам Варлаам, то более светски настроенный Даниил, ревностный ученик Иосифа Волоцкого; при Иване IV опять поднимается острый вопрос о монастырских имуществах, ставится на очередь отмена монастырских привилегий.

Сохраняя нейтральное положение между партиями в церковных спорах, московский двор пришел к религиозной терпимости, тем более поразительной, что это был век, когда на Западе разгорались жесточайшие богословские споры, когда за догматические отклонения целые группы населения были лишены гражданских прав, когда правительства усердно занимались религиозным сыском и когда процветала инквизиция.

Недаром новгородский ученый архиепископ Геннадий жаловался на попущение, оказываемое при дворе Ивана III еретикам так называемого жидовствующего направления; недаром, взывая к преследованиям, он стыдил московское правительство достойным примером «шпанского» короля Фердинанда Католического (1479–1516), очистившего страну от лжеучений. И недаром про Ивана III рассказывали, что, уже склонившись на уговоры сторонников религиозного преследования, он ночью опять призвал к себе главу непримиримых, Иосифа Волоцкого, и еще раз, как бы мучимый совестью, спрашивал его: нет ли греха казнить еретиков смертью?

Эту черту спокойной сдержанности в догматических разногласиях завещал Иван III своим преемникам. При Иване IV рационализм и мистицизм представителей грекоправославного Возрождения привели к учениям, близко напоминавшим передовые протестантские направления Запада; таковы ереси Матвея Башкина, заволжца Артемия — ученика Максима Грека,



Феодосия Косого. Несмотря на осуждение Башкина собором 1553 года, правительство нашло достаточным наказать его ссылкой. Другого вольнодумца, Феодорита, Иван IV, после недолгого заточения, послал в 1557 году в Константинополь, чтобы вести переговоры об испрошении у патриарха утвердительной грамоты в царском сане.

Сравнивая Грозного с Филиппом II испанским и с современными французскими королями, В. С. Иконников³ справедливо замечает, что московский царь, в отличие от западных собратьев, не признавал религиозных преступлений равносильными политическим возмущениям. Поэтому совершенно искренне звучит замечание Ивана Грозного, в письме к императору Максимилиану II, относительно Варфоломеевской резни 1572 года: «Ты, брат наш дражайший, скорбишь о кровопролитии, что у французского короля в его королевстве несколько тысяч перебито вместе с грудными младенцами: христианским государям пригоже скорбеть, что такое бесчеловечие французский король над стольким народом учинил и столько крови без ума пролил». Эти слова написаны в то самое время, как Филипп II посылал горячие поздравления Карлу IX, допустившему организацию убийств Варфоломеевской ночи.

7

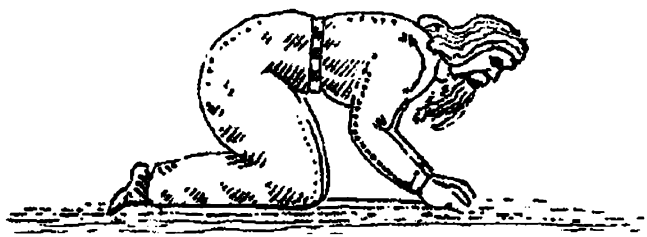
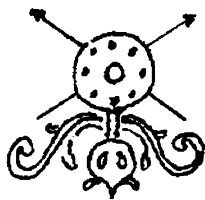
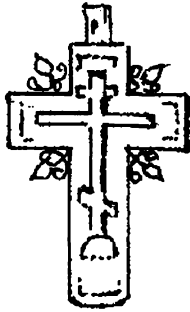
Блестящее по своей дипломатии, гибкое и искусное в религиозных усложнениях, московское правительство не менее поражает своим умением управлять военными массами, дисциплинировать тот самый подвижной беспокойный класс, который в близком соседнем Польско-Литовском государстве сломил все усилия монархии и, утвердивши свою золотую вольность, расстроил вконец государственный организм.

В Польско-Литовском государстве XV века был момент, когда, казалось, монархия извлечет выгоду из вражды между высшим слоем военного класса, панами, и массой среднего и мелкого шляхетства. Но обстоятельства сложились так, что король Казимир IV Ягеллончик, даровитый, изворотливый политик, одолев аристократию панов при помощи шляхты, не мог воспрепятствовать последующему сближению шляхты с панами и получившемуся отсюда ограничению монархии. Его искусство сорвалось

на невозможности справиться с тремя нациями — поляками, литовцами и русскими — и на отсутствии у правительства одного притягательного и объединяющего центра. При созыве ополчения, при собирании чрезвычайного налога король вынужден был входить в соглашения с отдельными областями: прежде чем составить войско, приходилось договариваться в каждой области с местной корпорацией шляхетства. В критический момент, когда армию надо было направлять на внешнего врага, шляхта, сознавая себя большой, самостоятельной силой, брала королевскую ставку приступом и добивалась привилегий, то есть закрепляла за собой новые права, освобождалась от старых повинностей.

Уступки, сделанные королем панам и шляхте, лишили его авторитетной власти, а государство целостности: оно обратилось в слабый союз областей, внутри которых распоряжались почти независимые крупные и мелкие землевладельцы. Вне шляхты никто не пользовался полнотой гражданских прав: государство не имело финансов, потому что правительство не могло собирать налоги помимо громоздкой системы опроса отдельных депутатов на сеймах и сеймиках. Оно не могло собирать и войско, потому что шляхта обеспечила себе свободу от обязательной службы. Оно вообще потеряло средства проводить какие-либо реформы. В Польше и во всем ей подражавшей Литве король и великий князь превратился как бы в президента коллегии вельможных сановников. Большой сейм, состоявший из панов — рады и польской (шляхетской) избы, составлял блестящий парад, на котором развевалась золотая вольность дворянства. Он так же, как король, был лишен правительственной силы. Его дело-производство, его зависимость от областных сеймиков исключали возможность каких-либо общих решений, и все проекты реформы неизбежно разбивались о его несуразную процедуру.

Ярко обнаружилась роковая неисправимость шляхетской республики в правление Сигизмунда I (1506—1548), современника Василия III и малолетнего Ивана IV. Один из искуснейших политиков своего времени, полный оригинальных замыслов, ловкий и неутомимый Сигизмунд потерпел полную неудачу в попытке вернуть короне распоряжение государственной землей и провести обязательную воинскую повинность шляхты. Так же, как Казимир IV, он попробовал приурочить проведение реформы к созыву всеобщего ополчения, но господствующее



сословие было вконец испорчено предшествующими примерами созыва поголовных ополчений, которые превращались всегда в торг за вольности. В 1538 году попытка короля завершилась неслыханным скандалом: созванное для борьбы с Валахией шляхетское ополчение разошлось по домам, отказавшись принять реформу и ознаменовав свое пребывание в лагере «куриной войной»⁴. При том же Сигизмунде I шляхта закрепила свое положение законами, которые доставили ей монополию землевладения и обеспечили ей, в лице крестьян, постоянную рабочую силу, вполне подчиненную ее суду и управлению.

Очень важно помнить эти обстоятельства, чтобы оценить по достоинству влечение к Польше москвичей вроде Курбского. Вместе с тем нельзя забывать, что московскому правительству приходилось управлять тем же самым вновь формирующимся классом, находившимся под соблазнительным впечатлением достигнутой шляхтою свободы. Между тем как в соседнем государстве закреплялась могущественная новая аристократия, в Москве уничтожались остатки бывшего преобладания аристократии старой. Присоединяя удельные княжества, московский великий князь отнимал у подчинившихся сородичей почву под ногами, заставляя их переезжать в Москву, превращая их в наместников областей и полковых командиров своей армии. Они вступали в ряды старых слуг, растворялись в их среде, смешивались с обыкновенными придворными. На московской службе они взаимно ослабляли друг друга счетом мест; занятые обереганием родовой чести против представителей других классов, княжеские и старобоярские роды были лишены всякой сплоченности перед лицом верховной власти.

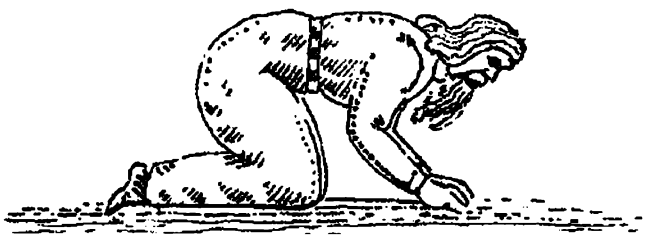
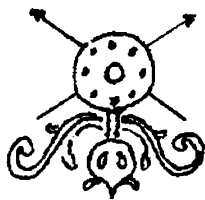
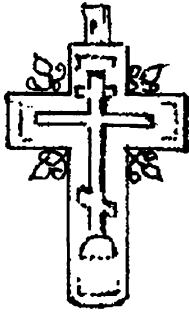
8

Иван III впервые применил порядок испомещения земель средних и мелких военно-служилых людей после присоединения к Москве Новгорода в 1478 году. Этим способом был достигнут результат, необычайно важный в политическом отношении: замосковные помещики были посажены в раздробленных вотчинах побежденных новгородских бояр; таким образом в корне было подорвано могущество аристократии и уничтожен сепаратизм областей, в которых властвовали отдельные ее представители.

Одаренные землей выходцы из замосковных областей составили наилучшую опору центральной московской власти. Это был вместе с тем и первый шаг к образованию новой военной системы и к подготовке нового типа хозяйства. Из этого начала развилась поместная система — нечто единственное на всем протяжении европейской истории. Западной и Центральной Европе зачатки этой формы, правда, были известны, но там она мелькает только блестящим метеором, как, например, в англо-нормандском государстве Вильгельма Завоевателя; можно сослаться еще на более поздний пример искусственно созданного феодализма в Швеции XVI и XVII веков, где усилия монархии, несмотря на судорожные попытки редукции раз выданных имений, разбились о реакционный отпор аристократии.

В Московской державе порядок этот развился в широкую стройную систему централизма и продержался почти 300 лет. Он оставил в руках правительства обширный земельный фонд, позволил ему обосновать финансовое единство, регулировать все выдачи и вознаграждение за службу из центрального казенного управления, позволил передвигать помещиков-воителей на любые расстояния и на любые фронты, удерживая их все время в строгой дисциплине и под постоянным своим контролем, как административным, так и хозяйственным. Наиболее важным кажется нам теперь в этой системе принцип условного владения землей в зависимости от непрерывной службы, не допускавшей обращения земли в частную собственность. Только во второй половине XVIII века развращенное, почившее на лаврах самодержавие выпустило из рук это орудие государственной дисциплины. Московская же монархия XVI века владела им в полном совершенстве.

Поместная система и вполне подчиненная московскому правителю многочисленная конная дворянская армия создавались в то самое время, когда военный строй в Польско-Литовском государстве готов был совсем развалиться. Интересно видеть, как в Москве намечаются очертания учреждений, подобных польско-литовским, и как они заполняются совершенно иным содержанием. В Польше и Литве шляхта каждой отдельной области составляла самостоятельное общество, имевшее свое парламентское собрание, сеймик, который, посылая в обще-



государственный сейм депутатов, связывал их решениями местной корпорации. В Московском государстве тоже составились уездные собрания служилых людей, но они выражали не автономию, не интересы местных дворянских обществ, а становились органами исполнения требований центральной власти, образуя круговую поруку при распределении повинностей.

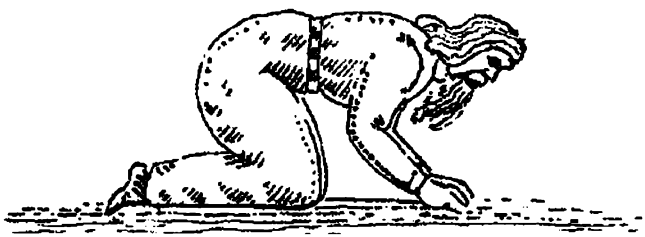
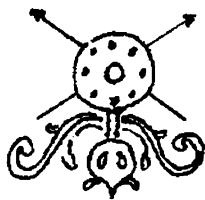
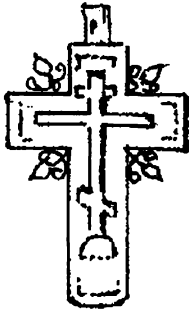
При Иване III в Москве ясно обозначаются оба вида собраний, из которых составилась польско-литовский сейм. В 1471 году, по случаю столкновения с Новгородской республикой, великий князь послал «по все епископы земли своея и по князи и по бояре свои и по воеводы и вся вои свои». Это собрание всего воинства, «мысливши не мало» вместе с государем, решает идти походом на Новгород. Во время переговоров Ивана III с Литвой в Москву приходит грамота «от всех князей и панов-рады братьям и правителям нашим, князьям и панам-раде великого князя Ивана Васильевича». Великий князь принимает это обозначение для себя за честь и велит выписать боярам своим громкие титулы воевод на манер литовских.

В первом случае перед нами нечто похожее на те лагерные собрания вооруженной шляхты, которые составлялись перед походами Казимира IV на Тевтонский рыцарский орден и которые как раз послужили началом соединения представителей шляхетства в посольской избе, или, иначе говоря, нижней палате сейма. Во втором случае паны-рада Литвы, или верхняя палата сейма, сами назвали бояр-советников великого князя московского своими братьями, то есть похожим на них учреждением. Однако земский собор, предшественником которого было собрание епископов, князей, бояр и всех воинов 1471 года, и Боярская дума, которая обратилась в постоянное совещание при государе по важнейшим политическим делам, не составили ограничения верховной власти. Земский собор сходил по почину и усмотрению правительства, разбирал вопросы, которые ему предлагались, составлялся из групп и лиц, особенно подобранных центральной властью; он представлял собой большой смотр военных и бюрократических кадров, которыми располагало правительство, опрос настроений в их среде. Земские соборы в Москве были не зачатками парламентских собраний, которые могли бы послужить ограничению монархии, а напротив — орудием для укрепления самодержавия.

Последовательно и настойчиво старалось правительство провести чиновничий характер службы помещиков, отбить всякие мысли о привилегиях. Помещик всегда должен находиться в готовности к выступлению в поход, чтобы «биться до смерти с ногайскими или немецкими людьми, не щадя живота». При всяком присоединении новой территории часть ближних к Москве помещиков переселяли на окраину, откуда снимали в свою очередь местных землевладельцев для перемещения в середину или на другую окраину. Правительство не давало установиться среди помещиков духу замкнутой касты; непрерывно оно вдвигало в состав служилого сословия представителей нерусских народностей, «поповичей и простое всенародство», по выражению Курбского, перемешивало людей низкого звания со старинными заслуженными и знаменитыми фамильными именами.

Много значило то обстоятельство, что, помимо вознаграждения земель, военно-служилым людям выдавались денежные оклады, особенно когда дело шло о крупном походе. Такие обширные бюджетные расходы были не по силам ни одному из тогдашних европейских государств. Почти не веришь глазам своим, читая в дипломатической переписке Василия III с датским королем, что Москва платила датчанам «пенязи», и для какой цели? — чтобы на эту субсидию магистр прусского ордена мог нанять солдат в войне с Польшей, общим врагом Дании и Москвы.

Богатство Москвы прямо ослепляет иностранцев. Приезжие англичане в тот век, по преимуществу жадный до золота, описывают Москву вроде какого-то сказочного американского Перу. За царским обедом в 1557 году «все столы были сервированы сосудами из чистого прекрасного золота: миски, кувшины, блюда, соусники, кубки, бесчисленное множество всяких кружек, из которых многие были усыпаны драгоценными камнями». В другой раз той же зимой, в присутствии царя «обедали 500 иностранцев и 200 русских, и для всех была поставлена золотая посуда, притом столько, сколько можно было уместить, ставя одну подле другой. Кроме того, стояло 4 шкафа, наполненных золотой и серебряной посудой, между прочими предметами 12 серебряных бочонков; на краях этих бочонков было по 6 золотых обручей». Об удивительном блеске царской сокровищницы не упускает рассказать Дженкинсон, знаменитый английский путешественник, ездивший в Среднюю Азию. Изображая об-



становку царского обеда, он упоминает о целом сооружении из золота в 2 аршина длины с вычеканенными на крышке башенками и драконовыми головами.

III. Окно в Европу

Все мастерство, все величие Ивана III как организатора Московской державы выступает особенно ярко после его смерти, когда при незначительном его преемнике и во время малолетства его внука правительственная школа, созданная им, действует как бы сама собой, силою заложенного в ней разума, не имея признанных вождей и руководителей.

1

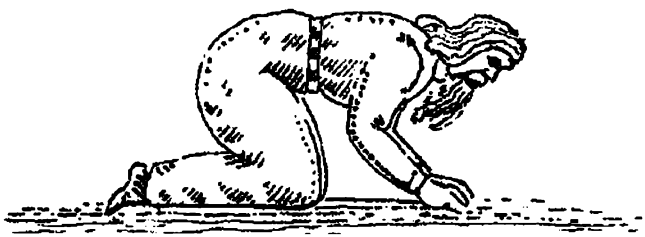
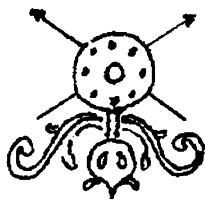
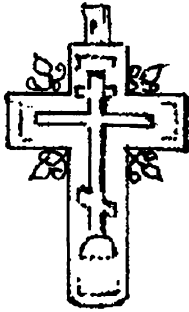
При Василии III Москва привлекает усиленное внимание западных держав. Германский император и римский папа наперебой стараются заинтересовать великого князя московского королевской короной: один рассчитывает толкнуть русских на крестовый поход против турок и в то же время строит план раздела Польско-Литовско-Венгерского государства между Австрией и Москвой, другой хлопочет о включении Москвы в церковную унию под верховенством Рима. В планы о воссоединении церквей папа искусно втягивает новых союзников Москвы, приобретенных Иваном III: Данию и прусский духовно-рыцарский орден. Датский король очень увлечен этой идеей: в 1512 году он убеждает Василия III отпустить своего представителя в Рим на Латеранский собор, созванный папою для укрепления авторитета Святого престола.

Запад посылал в Москву людей разнообразных талантов. Вот генуэзец Чентурионе, фантазер в политике и географии, мечтавший о восстановлении торговых сношений своего родного города с Дальним Востоком через Каспий, Москву, Балтику и Данию; вот Герберштейн, ученый-гуманист, сумевший добраться до самых интересных исторических и церковных памятников таинственного восточного царства, ознакомиться с летописями, судебниками и даже религиозной литературой московского общества.

Все они упирались, точно в каменную стену, в твердо выработанные и искусно обставленные предания московской дипломатии. Великий князь с благодарностью принимал посредничество папы при заключении перемирия с Литвой; не забывал никогда своей вечной просьбы присылать ему знатоков рудного и металлического дела, оружейников, врачей, архитекторов, инженеров, художников, но по вопросу, который более всего занимал западноевропейские правительства, — о церковном сближении — он отвечал неизменно сухо и холодно: московский двор остается верен православию и не желает входить в какие-либо переговоры по этому поводу. Прусскому послу Шомбергу в 1517 году московское правительство заметило с едкой иронией, что он напрасно так старается о чужом деле: настаивая на церковной унии, посол рискует повредить интересам своего же ордена; ведь если папа узнает, что московский государь склонен пойти на соглашение с католиками, то побудит его помириться с Польшей, врагом Пруссии.

Время малолетства Ивана IV — критический момент для московского самодержавия, которое Герберштейну показалось властью, не имеющей себе равной на свете. Если монархия в Москве спаслась от крушения, не потерпела ущерба от «вельмож», на манер Польши, то она в значительной мере обязана была этим своей могущественной союзнице — церкви. Иерархи с какой-то особенной горячностью ринулись в политическую борьбу: князья Шуйские, по-видимому рассчитывавшие вытеснить правящий дом Калиты, встретили резкий отпор духовенства; в короткий срок трех лет им удалось свергнуть одного за другим двух митрополитов — Даниила и Иоасафа, но тем не менее церковники одержали победу: с 1542 года начинается митрополитство знаменитого Макария, вышедшего из школы Ивана III (Макарий родился в 1482 году). Под его влиянием Иван IV объявлен в 1547 году совершеннолетним, но вместе с тем поставлен под опеку священника Сильвестра, которая еще на шесть лет (1547—1553) оставляет в тени неоперившегося, не расправившего свои блестящие дарования и порочные склонности будущего Грозного.

Десятилетие 1542—1553 годов можно с известным основанием назвать эпохой клерикальной политики. Все реформы, все вопросы практической жизни получают направление от выс-



шего духовного авторитета, а сама церковь переживает сильные волнения, решает самые сложные вопросы своего устройства и вероучения. Ученый и вполне консервативный Макарий созывает один за другим соборы, преследующие задачу устранения местных различий, объединения и усиления государственной церкви тем же путем, каким происходило объединение государства. На соборах 1547 и 1549 годов было достигнуто объединение русских святых в один национальный свод. В то самое время, как под руководством Макария готовится громадная богословско-космологическая энциклопедия, Четьи-Минеи, в 1551 году происходит Стоглавый собор, похожий многими чертами на одновременно проходивший Тридентский собор, вторая сессия которого приходится на тот же самый 1551 год. Укрепить расшатавшееся здание церкви строгой дисциплиной духовенства и установлением незыблемых обрядов, повлиять возвышением нравов духовенства на быт мирян, охватить церковным воспитанием все общество — вот цели кружка, группировавшегося около Макария и по стремлениям своим близкого к западной католической реформации. В Москве эти на первый взгляд чисто церковные и морально-бытовые реформы преследуют также и цели практической политики: они служат укреплению централизма, авторитета московского самодержавия.

Рядом выступают церковные преобразователи более радикальные, стоящие уже на границе уклонения в ересь, как, например, ученик Максима Грека Артемий: еще в 1551 году правительственный кандидат в настоятели Троицкого монастыря, он, уже два года спустя, привлечен по обвинению в слишком свободной критике Писания. Артемий оказывается близко знакомым с еретиками-рационалистами, которые, в свою очередь, в лице Башкина и Феодосия Косого представляют два оттенка — умеренный и крайний, соответствующие один — протестантизму, другой — антитринитаризму.

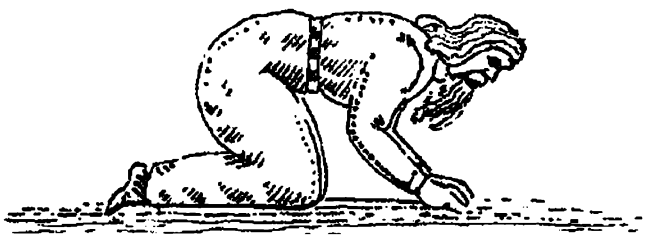
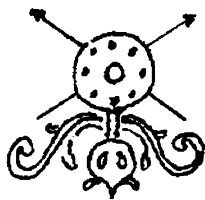
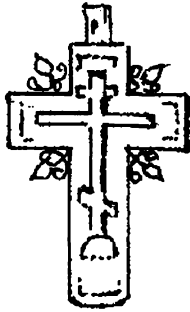
2

Церковные увлечения и споры ярко отражают богатство духовной жизни, обилие талантов в среде интеллигенции, окружавшей Ивана IV в первые годы его правления. Они дают вместе с тем всем отраслям управления своеобразный отпечаток религиозной

торжественности и богословской учености. Так, например, борьба с Крымской и Казанской ордами, которые после временного разлада при Иване III опять соединились и повисли угрозой над Москвой, проповедуется в качестве крестового похода против неверных, лежащего великим долгом на совести молодого царя. Сильвестр любит действовать театрально-драматическими внушениями: такой сценой было его появление перед молодым царем в 1547 году на Воробьевых горах во время великого пожара Москвы, когда он старался грозным обличением вызвать страх и покаяние у семнадцатилетнего Ивана IV. В той же обстановке проходит Стоглавый собор, парадные собрания с выходами царя и обращениями его к разным сословиям и ко всему народу.

По мнению И. Е. Забелина⁵, не кто иной, как Сильвестр, был вдохновителем живописной летописи, исполненной в 1547–1552 годах на стенах палат московского дворца. Перед нами целая теория власти в картинах. Царь, юноша с виду, возвеличен в качестве справедливого судьи и бесстрашного воителя: он раздает златницы нищим, из его руки вытекает освящающая народ вода, он побеждает нечестивых врагов. Сам изобретатель этого наглядного художественного воспитания воли и чувств царя изображен в виде мудрого пустытника, который поучает молодого властителя.

В действиях власти заметен определенный социальный уклон, и вообще правительство любит оттенять свой демократизм, свое внимание к простому люду, к низшим слоям народа. Таков основной тон уставных грамот 1540–1550-х годов, предоставляющих местному населению право выбирать судебную и финансовую администрацию. Иные из этих грамот выделяются своей фразеологией, своим демократическим тоном открытого обращения к широким слоям общества. Так, например, в грамоте Белозерской «великий князь Иван Васильевич всея Руси», после подробного перечисления всех разрядов от «князей и детей боярских» до крестьян, «псарей, перевестников, рыболовов, бобровников и оброчников», как бы собирает всех в одно целое и еще раз с особым ударением повторяет: «*ко всем безомены (то есть без исключения) чей кто ни буди*». Характерно и содержание грамот. Входя в интересы и нужды местного населения, жаловавшегося на произвол присылаемых из центра судей и следователей, правительство предлагает двум наиболее крупным



классам общества — детям боярским и крестьянам, чтобы они *«меж собой свестясь (посоветовавшись) все за один»*, выбрали голов: оно считает такое общее собрание вполне естественным и нисколько не сомневается в возможности их согласованных действий (курсив мой. — *Р. В.*).

Очень правдоподобно, что в эпоху управления Сильвестра, но может быть и раньше, был подан проект реформы, под заглавием «Благохотящим царем правительница и землемерие», составленный Ермолаем, в монашестве принявшим имя Еразма. Автор требует от государя равного внимания *«ко всем сущим под ним, не едиными вельможами еже о управлении пещися»*. Он говорит еще резче: *«Вельможи бо суть потребни, но ни от коих же своих трудов довольствующесе. В начале же всего потребни суть ратаеве (то есть крестьяне). От их бо трудов есть хлеб, от сего же всех благих главизна»*. Тяжело положение земледельцев, которые не имеют отдыха, изнемогают от поборов, ямской и других повинностей *«безпрестани различные ига подъемлют»*. Необходимо снять с крестьян денежные налоги и довольствоваться для казны доходами с государственных земель. Далее, пусть крестьяне кормят своим трудом служилых людей, бояр, воевод и воинов, причем им должны быть отведены большие участки, *«ратаев полные жребии»*. В особенности следует скинуть с крестьян всякого рода денежные поборы, так как *«ратаеве мучими сребра ради, еже в царску взимается власть и дается в раздаяние вельможам и воинам на богатство, а не нужды ради»*.

У автора проекта есть свои определенные взгляды и на устройство военно-служилых людей. Он как бы мысленно продолжает и заостряет действующую систему быта помещиков. Работу крестьян он ограничивает доставлением средств существования помещикам: в свою очередь помещики, лишаясь права собирать с крестьян «серебро», устраняются от хозяйства в деревне и обязуются жить в городе, чтобы лучше выполнять свои обязанности. Проект видит в них только государственных чиновников, но не владетелей доходных участков и даже не управляющих работой крестьян.

Нет никакого сомнения, что автор прошел хорошую литературно-юридическую школу и работал по византийским источникам. Он выдает своих учителей прежде всего изложением нового способа межевания земли, в виде обмера большими че-

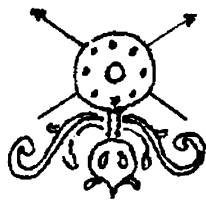
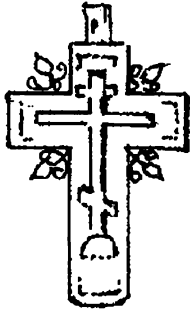
тырехгранными «поприщами». Мы узнаем в них знаменитые квадраты античных римских землемеров, перешедшие по наследству к Византии. Дальше он обнаруживает знакомство с наиболее демократическими законами византийских императоров, которые не раз брались защищать своих крестьян-солдат против захвата со стороны крупных владельцев, принимая на себя роль охранителей «бедных и трудящихся». Автор поэтому обращается к монарху, ожидая от него также защиты «трудящегося люда». Со своей заботой об участи крестьян автор проекта не представляет одинокого явления. На Стоглавом соборе один из высших иерархов, бывший митрополит Иоасаф, поднимает голос в пользу крестьян, предлагая освободить их от тяжелых «полоняничных денег», предназначенных на выкуп пленных в Крыму, и перенести уплату на средства богатых епископов и монастырей.

Как демократические выражения Белозерской и других уставных грамот, так и благоприятный крестьянам проект Ермолая-Еразма представляют собою загадку, до сих пор не разъясненную русскими историками. Я позволю себе по этому поводу сделать только одно замечание. Если своеобразную идеологию проекта «Благохотящим царем» можно объяснить влиянием заволжских старцев, выступавших против стяжательства «вельмож», под которыми они разумели крупных иерархов и богатые монастыри, то демократические выражения грамот следует отнести на счет искусной демагогии тех же самых вельмож в церковных рясах, которые в это время достигли зенита своего благополучия, нажимая усиленно на крестьянский труд.

В дальнейшей политике Грозного, когда он освободился от опеки партии Сильвестра, Адашева и Курбского, не могло быть и речи о переводе крестьян на старые патриархальные формы повинностей. Правитель стал применять совершенно иные приемы финансовой администрации; начинается система величайшего напряжения платежных средств населения, система, направляемая властным принципом: «Все для войны».

3

Первая большая победа Ивана IV — взятие Казани — была вполне подготовлена настойчивой и искусной политикой правительства эпохи опеки. Походу 1552 года предшествует по-



стройка крепости Свияжск в виде форпоста и непосредственной угрозы Казани. О своеобразной технике московского военного строительства рассказывали потом немцу-опричнику Генриху Штадену следующее: «Великий князь приказал срубить город с деревянными стенами, башнями, воротами, как настоящий город, а балки и бревна переметить все сверху донизу. Затем этот город был разобран, сложен на плоты и сплавлен вниз по Волге вместе с воинскими людьми и крупной артиллерией. Когда он подошел под Казань, он приказал возвести этот город и заполнить все (укрепления) землей; сам он возвратился в Москву, а город этот занял русскими людьми и артиллерией и назвал его Свияжском». У царя в распоряжении, если верить Курбскому, было 150 больших орудий. Крепостные стены Казани пали благодаря мастерству служивших у него иностранных техников. Но что всего важнее: с конца сороковых годов власть занята усилением военных кадров и энергичным развитием военно-поместной системы, заложенной Иваном III.

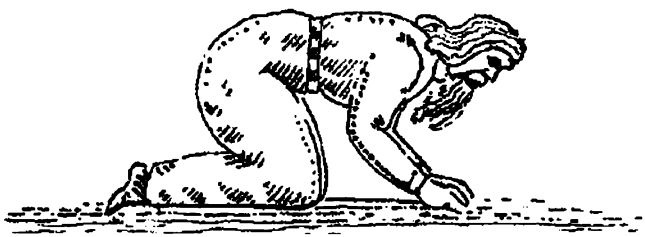
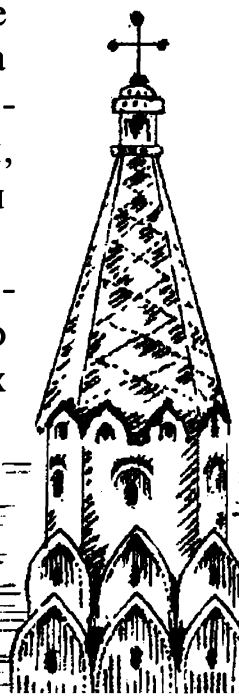
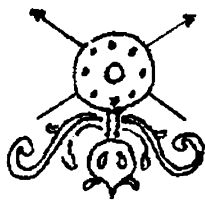
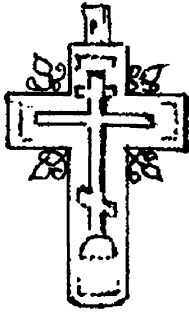
С тонким тактом, без ухаживания за аристократией отбирает правительство состав государева полка, окружая особу царя группой наиболее преданных ему лиц. В 1550 году, после большого смотра, была отделена тысяча «лучших слуг» из провинциальных военных как княжеского, боярского, так и простого дворянского происхождения. В составлении списка обнаружили все достоинства московской правительственной историографии и статистики. Были приняты во внимание старые заслуги, дела отцов. Среди «тысячи» есть дети испытанных воевод, сыновья пленников несчастливой оршинской битвы 1514 года, встречаются имена синодика Успенского собора, куда, по повелению государя, записывались на вечное поминовение воины, «храбрововавшие и убиенные по благочестию за святые церкви и за православное христианство».

В походе тысячники составляют штаб и гвардию войска: всегда они должны быть готовы на посылки, то есть исполнять различные поручения; чтобы иметь непосредственно под руками и наилучше вознаградить этот отборный состав администрации, царь испоместил всех, кто не имел подмосковных, владениями в ближайших окрестностях столицы. На должностях воевод, наместников, послов мы встречаем в последующие годы все те имена, которые были записаны в 1550 году в Тысячную книгу.

При Иване IV завершается начатое Иваном III превращение всех землевладельцев, вотчинников наравне с помещиками, в подвижное пожизненно служащее воинство. Монархия собирается взять в свое распоряжение все земли, занятые воителями, обратить их всех в государственных ленников. С этой целью Иван IV предлагает Стоглавому собору в 1551 году выяснить размеры вотчинных и поместных владений, сколько за кем числится земель, и затем произвести вновь поместную разверстку так, чтобы каждый получил по достоинству. А затем завести вотчинные книги для записи в них всех изменений, происходящих во владении вотчинными землями, а также для описи вотчин, сколько в них пашенной земли, лесов, всяких угодий. Царь выражает намерение отписывать различные угодья для поместий в определенных соотношениях, чтобы хозяйство окупало службу; прибыль в поместьях должна принадлежать пользователю, однако он не должен быть свободен в распоряжении землей, и если он запустошил пожалованное имение, — царь грозит ему опалой. Наконец, собору было объявлено, что царь решил послать писцов описать и смерить государство.

Эти торжественно-властные заявления переносят историка в далекую старину, ко временам блистательных римских цезарей, владевших громадными территориями, сажавших десятки тысяч ветеранов на строго вымеренные участки земли, поручавших ученым землемерам производить подробную опись недвижимости, инвентаря и ценностей. Основательность московской разверстки, точность приемов государственного хозяйства, неуклонная и беспощадная требовательность в делах службы дорисовывается одной частностью, находящейся в числе вопросов, предъявленных Стоглаву. Царь предлагает проект устройства вдовых боярынь. Здесь все предусмотрено: как быть, если вдова убитого воина молода и может выйти замуж; как быть, если у нее подрастают сыновья, какой оклад им придется получать, какова обязанность второго мужа и отчима детей первого брака. Высшая власть заботится о том, чтобы земля не уходила от службы, но вместе с тем страхует жизнь служилого воина, обеспечивая пропитание его семье.

Занятое развитием подвижности и гибкости армии, состоящей из помещиков, правительство в то же время озабочено охраной рядового воинства от притеснений со стороны крупных



землевладельцев, то есть командиров, и тут мы опять вспоминаем византийских императоров, которые опекали своих солдат от «вельмож». В этом смысле мы читаем в летописи под 1556 годом об очень характерной мере, причем приходится пожалеть, что до нас не дошел подлинный текст указа. Мы узнаем, что в правительственном кругу обратили внимание на большие злоупотребления в среде служилых людей: вельможи и всякие воины завладели обширными землями и в то же время сократили свои служебные повинности так, что получилось полное несоответствие между службой и вознаграждением за нее в виде земли и жалованья. Поэтому решено произвести обмер земель и уравнивать поместья, приведя вознаграждение в соответствие со службой, а излишек, который должен получиться при этом, разделить между неимущими.

Трудно выяснить существо реформы 1556 года, но по выражениям летописи видно, что она носила весьма решительный характер. Нас поражают самодержавно-коммунистические выражения, которые применяет летописец: вот, значит, какие социальные опыты мог себе позволить московский государь!

Об этом удивительном для иностранцев устройстве обязанных службой землевладельцев повествует с наивным восторгом как раз около времени указа 1556 года Ченслор, первый из англичан, давший описание московских нравов: «Пусть подумают, как легко здесь найти поместье или землю и как много здесь людей, обязанных снаряжаться на всякую войну во владениях государя. *В этой стране нет собственников* (курсив мой. — Р. В.), но каждый обязан идти по требованию государя, солдат или работник, со всеми необходимыми принадлежностями». Ченслор рассказывает далее, что если помещик умрет без мужских потомков, имение отбирается; если донесут об увечности и неспособности помещика к несению службы и розыск установит правильность донесения, поместье отбирается также, за исключением малой доли на прокормление увечного и его жены. «И он не смеет жаловаться на это; в ответ он скажет, что ничего не имеет, а что есть у него, то в руке Бога и государя, но не может он сказать, как обыкновенно говорит англичанин, когда имеет что-либо: это во власти Бога и моей. Говорят, что эти люди содержатся в великом страхе и послушании, так что всякий отдает на во-

лю и в распоряжение государя имение, которое он накапливал и возделывал всю жизнь».

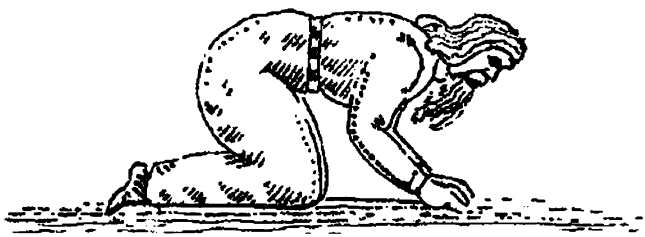
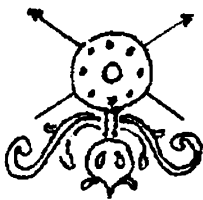
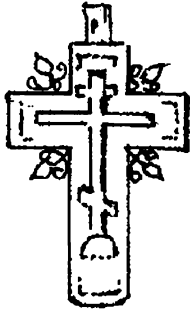
Вдохновляясь все больше и больше своим предметом, Ченслор, сам, по-видимому, консерватор по убеждениям, делает откровенное признание относительно своих соотечественников: «О если бы эти дерзкие бунтовщики содержались в таком же подчинении, чтобы они научились своим обязанностям по отношению к королям. Русские не могут сказать, как говорят ленивцы в Англии: я найду королеве человека служить вместо себя или прожить с друзьями дома, если есть достаточно денег. Нет, это невозможно в здешней стране; русские должны подавать униженные челобитные о принятии их на службу, и чем чаще кто посылается в войны, тем в большей милости у государя он себя считает».

После такой характеристики Ченслор выводит общее заключение: «Если бы русские знали свою силу, никто не мог бы бороться с ними, а от их соседей сохранились бы только кой-какие остатки!»

4

Завоевание Казани и последовавшее затем покорение Поволжья создали в мусульманском мире впечатление могущественного волшебства. Казалось, нет более преграды, которую бы не одолела сила Москвы, и нет конца ее продвижению. Следом за взятием Астрахани в 1556 году московские воеводы быстро доходят до Кавказа и ставят крепости на Тереке. Одно время власть московского правительства простиралась и на часть Закавказья, если судить по тому, что в 1567 году по ходатайству Дженкинсона, исследователя среднеазиатских путей, англичанам было разрешено беспошлинно торговать в Казани, Астрахани, Нарве и Дерпте, Булгарии и Шемахе.

В Москве как будто слагается план покончить с Крымом: одна экспедиция, переправившись в 1557 году через Днепр, нападает на крымских татар с литовской территории, другая пытается пробиться через Перекопский перешеек. Собирая впечатления этих грозных для степного мира лет, московский посланник у ногаев Мальцев доносил, что около Астрахани «все трепещет царя государя, единого под солнцем страшила бусурманов и латинов».



Понятно, что в самой Москве покорение Казани воспринималось как событие необычайной важности. Историк конца XIX века К. Валишевский⁶ подсмеивался над «азиатской лестью» митрополита, сравнивавшего Ивана IV при его победоносном возвращении в 1552 году с Александром Невским, Дмитрием Донским, Владимиром Святым и Константином Великим. Нам эти сравнения не кажутся странными: церковник лишь по-своему выразил событие падения грозного оплота крупнейшей орды, благодаря которому московский царь высвободился от близкого, нависшего над ним врага и впервые дал в восточных равнинах перевес европейской культуре и государственности.

Между прочим интересно, что московская дипломатия извлекла из покорения Казани и Астрахани новый довод для оправдания перед западными державами царского титула. После брака Ивана III с греческой царевной в 1472 году в Москве стали особенно настойчиво развивать теорию о перенесении царского титула из Византии. В переговорах с Литвой в 1553 году решено было изменить теорию: говорить сначала о царском звании Владимира Святого, который на иконах писан царем, потом сослаться на титул и права Мономаха и наконец настаивать на том, чтобы по взятии царства Казанского Иван IV *сам стал царем*.

Не дожидаясь окончания южных походов, Иван IV в 1558 году начинает новую войну за обладание Ливонией, войну, которая становится делом его жизни, источником его крайних увлечений, а под конец и трагедией его царствования. В то же самое время он решительно расходится с большинством своих старых советников, с составом опекавшего его фактического регентства. Открывается период вполне самостоятельной политики Грозного, сложной и широко раскинутой, где дипломат и стратег ставит непомерные и беспощадные требования стране.

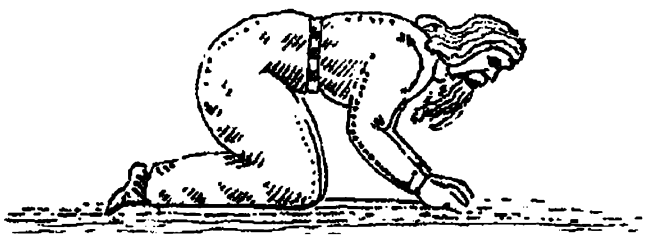
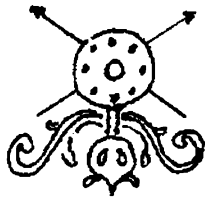
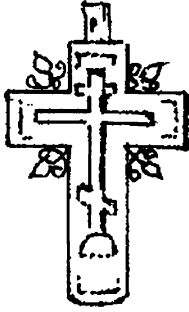
5

В какой мере Ливонская война вытекает из самостоятельного замысла и воли Ивана IV? В знаменитом первом письме к Курбскому, писанном в 1564 году, Грозный несколько раз обращается к вопросу о сторонниках и противниках великой борьбы. Видно, что западная война составляла самый существенный

пункт разногласия между Сильвестром, большинством «избранной рады», с одной стороны, и молодым царем, рвавшимся в бой, — с другой. В чем состояло это разногласие?

Нельзя сказать, чтобы политика церковников, среди которой вырос Иван IV, была чужда мысли об усиленном сближении с Европой. Ведь именно правительство его отроческих лет поручило ганноверцу Шлитте набрать в Германии и привезти в Москву целый корпус всякого рода техников, врачей, знатоков горнозаводского дела, военных специалистов. Впрочем, не были забыты этим правительством и планы Ивана III присоединить к Московской державе Ливонию. Еще в 1551 году ливонский представитель в Германии составил для императора Карла V донесение, в котором умолял о спасении от «великой и страшной мощи москвитя, исполненного жажды захватить Ливонию и приобрести господство на Балтийском море, что неминуемо повлечет за собой подчинение ему всех окружающих стран: Литвы, Польши и Швеции». Интересно, что протестантская Ливония готова была соединиться с католическим императором против общей религиозной опасности, грозившей с Востока. Лифляндец боялся, как бы в Москву «не устремились, под видом ремесленников, военных и техников самые отчаянные сектанты и еретики вроде духоборов, перекрещенцев и т. п., что доставит возможность московскому царю опустошить христианский мир и наполнить его кровавыми трагедиями». Он не замечает, что в этих словах заключен невольный комплимент религиозной терпимости Московской державы сравнительно с западными странами.

Война за обладание Ливонией подготовлялась задолго до 1558 года как с дипломатической, так и со стратегической стороны. Обеспокоенные угрожающим положением, которое заняла Москва, ливонцы снаряжают одно посольство за другим для заключения прочного мира. Но московский двор ограничивается допущением лишь кратких перемирий. В 1550 году перемирие было заключено на пять лет. Когда в 1554 году снова в Москве появилось посольство и стало просить мира на пятьдесят лет, окольный Адашев и дьяк Михайлов потребовали приходящейся Москве дани с Ливонии и уплаты недоимок за старые годы. Напрасно изумленные ссылались на исконную независимость своей страны. Им показали грамоту, заключенную



Москвой с магистром Плеттенбергом в начале XVI века, толкуя ее в смысле вассального подчинения Ливонии. Они услышали от Адашева весьма определенную историческую справку: «Удивительно, как это вы не хотите знать, что ваши предки пришли в Ливонию из-за моря, вторгнулись в отчину великих князей русских, за что много крови проливалось; не желая видеть разлития крови христианской, предки государевы позволили немцам жить в занятой вами стране, но с тем условием, чтобы они платили великим князьям; они обещание свое нарушили, дани не платили, так теперь должны заплатить все недоимки».

Те же послы, направляясь к царской столице, заметили на дороге лихорадочную подготовку к войне: на расстоянии каждых 4 или 5 миль они видели недавно отстроенные ямские дворы с громадными помещениями для лошадей; еще более их поразили целые обозы саней, нагруженных порохом и свинцом, которые тянулись к западной границе.

В 1555 году московское правительство начинает войну со шведами, с целью высвободить себе дорогу к Ливонии вдоль Финского залива. Но оно явно готовилось к более крупной по размерам кампании. В это время Сильвестр, Адашев и Курбский еще занимали свои обычные места в высшем правительственном совете. Спрашивается, были ли тогда уже налицо серьезные разногласия между Иваном IV и его советниками? Сам он жалуется на то, что его слишком долго удерживали от военного вмешательства и этим создали множество ненужных жертв. Не хочет ли он сказать, что в случае более раннего выступления Москвы можно было предупредить раздел орденских земель между Польшей и Швецией и успеть захватить врасплох наиболее важные приморские города, Ригу и Ревель, которые составляли ключ к обладанию Ливонией?

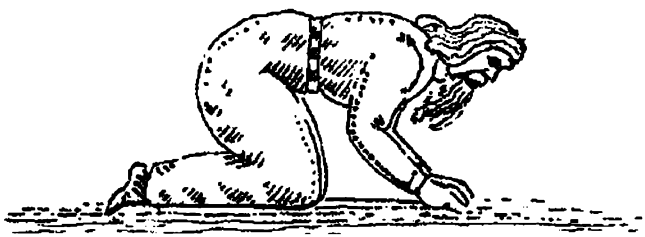
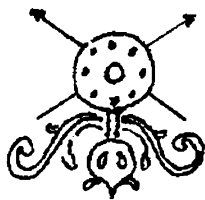
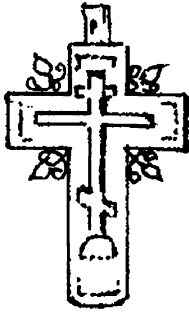
Какие же, однако, были основания для партии Сильвестра, Адашева и Курбского затягивать дело, если все-таки конечная цель и у них состояла в присоединении Ливонии? Грозный пишет, что противники обвиняли его в опустошении Ливонии; он как бы оправдывается в ведении войны с христианскими государствами, Ливонским орденом и Литвой. Не значит ли это, что церковники не отказались от идеи унии с западно-христианским миром, что они были под известным обаянием объединительной политики римского престола, надеялись на

успех своего дипломатического похода против Ливонии и что, напротив, светски настроенному уму Ивана IV эти соображения были чужды?

Во всяком случае его темперамент, его порывистость и самоуверенность очень хорошо заметили и учли на Западе. В приведенном нами докладе ливонского посла от 1551 года говорится: «Ныне правящий московит — человек молодой и потому особенно расположенный к войне и кровопролитию». Но в 1551 году двадцатилетний Иван IV еще не решался вырваться из-под опеки. Семь лет спустя он чувствовал себя вполне свободным и без колебания начал огромное по своему размаху и по своим последствиям предприятие, имея на своей стороне только одного из участников правящей группы, дьяка Висковатого, руководителя иностранной политики, стоявшего с 1549 года во главе Посольского приказа.

Как объяснить те глубокие основные побудительные причины, которые привели к Ливонской войне, этому величайшему наступательному порыву Москвы в XVI веке, и как определить роль Ивана Грозного в открытии Балтийской кампании и в неотступном ведении этой труднейшей из войн его эпохи? На этот вопрос в коротких словах можно ответить следующее. Ливонская война, начавшаяся в 1558 году, была третьим большим столкновением в многовековой борьбе русского народа с немецкими захватчиками. В 1242 году немцы наступали, в 1501—1502 годах они вынуждены были защищаться и в 1558 году потерпели крушение. Ливонская война была справедливой, не захватнической войной. Москва боролась за возвращение исконных русских земель — старинной «отчины» и «дедины», за объединение всея Руси.

В первой половине XVI века в Московской державе происходит мощный рост производительных сил, который особенно ярко и наглядно выражается в расцвете старых городов и появлении множества городов новых. В городах открываются внутренние рынки, где в качестве важнейшего предмета торговли выступает хлеб, что в свою очередь указывает на успехи сельского хозяйства. К середине века развитие производства становится настолько крупным и интенсивным, что перед страной встает и властно требует разрешения задача открытия *внешних рынков*, приобретения путей к вывозу продуктов национального произ-



водства. Для Москвы это означало прежде всего принять участие в международной торговле хлебом, что, как было показано выше, имело и жизненное значение для индустриальных стран Западной Европы. Необычайная проницательность, гениальная догадка Ивана Грозного состояла в том, что он понял необходимость этой новой конъюнктуры, подсказываемой в свою очередь жизненными потребностями быстро растущего хозяйства в Московском государстве, — он понял, что необходимо пробить окно в Европу не только для *ввоза* индустриальных товаров, не только для приобретения высшей техники Запада, но и для *вывоза* за границу важнейших продуктов сельскохозяйственного производства Московского государства.

6

Открывая трудную и сложную борьбу за выход к Балтийскому морю, Иван IV возобновлял планы своего великого деда: недаром в письме к Курбскому он постоянно упоминает именно о замыслах деда и только раз мимоходом называет отца. Прежде всего он хотел устранить посредничество ганзейцев и завести прямую торговлю с европейскими странами; с этой точки зрения его более всего занимали морские порты Прибалтики: Нарва, Ревель, Гапсаль, Рига. Но в Москве не упускали и других выгод завоевания: доходности богатого и населенного края, возможности вывоза из страны ремесленников и сельскохозяйственных рабочих; уже Иван III в войне с орденом сильно налег на захват живой добычи, переселяя, на манер Сеннахериба или Навуходоносора, пленных ливонцев в глубь Московии.

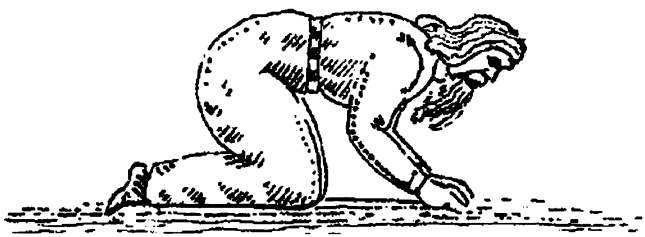
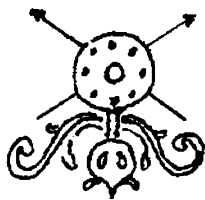
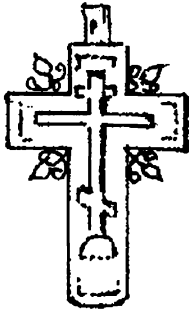
В Москве хорошо знали Ливонию со всеми ее особенностями и слабостями. Великороссы чувствовали себя тогда ближе к этой стране, чем в последующую пору. Недаром для большинства ливонских городов были свои, русские названия, происходившие от старинных местных имен: Ревель звался Колыванью, Нарва — Ругодивом, Венден — Кесью, Мариенбург — Алыстом; иные были с именами переводными: Нейшлос назывался Сыренском, Вейсенштейн Курбский переводит Белым Камнем; Нейгауз превращается в Новгородок. Многие имена переделываются на русский лад: Тольсбург в Толщбор, Зесвеген в Чиствин, Розиттен в Режицу, Лудзен в Лужи.

Исход военных столкновений русских с немцами зависел всякий раз от социальных, политических и военно-технических условий, в которых находились воюющие между собою народы, но огромную роль играла также личность главных руководителей войны и политики.

В 1242 году в Ледовом побоище столкнулись два войска, которые приблизительно равнялись друг другу по вооружению и одушевлявшей их энергии: орденское рыцарство было тогда в полном расцвете своей агрессивной организации, в увлечении своими непрерывными победами и захватом богатой добычи; с другой стороны, и новгородская рать, защищавшая свою родную землю, только что отбросившая интервенцию шведских крестоносцев, билась с необычайным мужеством и настойчивостью; победу решили героизм русского народа и личность гениального вождя — Александра Невского.

Двести шестьдесят лет спустя в войне, начатой Иваном III за обладание доступом к Балтике, соотношение сил между ливонскими немцами и великороссами, группировавшимися вокруг Москвы, было иное. Организация орденского войска пришла в упадок, ливонское рыцарство от монашеского быта перешло к светской жизни, к частной собственности, обратилось в землевладельческое дворянство; бароны и рыцари, увлеченные хозяйством в своих имениях, стараясь добиться наибольшей прибыли на рынках внешних и внутренних, которые все росли и расширялись, стали решительно уклоняться от военной службы. В XV веке дворянство совсем отвыкло от военного дела: ливонцы не оказали никакой помощи родственному им тевтонскому рыцарству, которое в годы кризисов 1410 и 1464 годов потерпело тяжкие поражения от соединенных литовско-русских и польских сил.

В 1502 году само ливонское рыцарство, сохранившее от своего военного прошлого только имя, стало под удар Московской державы, еще более сосредоточившей свои военные силы, чем это удалось сделать Ягеллонам при объединении Литвы и Польши. Ливонским немцам теперь грозил бы политический крах, если бы не ряд обстоятельств, которые отсрочили на некоторое время их капитуляцию. Эти благоприятные для немцев факты состояли прежде всего в неподготовленности Москвы к наступательной войне в широком размере: тогда еще поместная



система была в зародыше, конница служилого дворянства была малочисленна. У великого князя московского еще не было в распоряжении обширного резерва татар и других степных воителей, как впоследствии у Ивана IV, покорителя Казани и Астрахани. С другой стороны, в Ливонии оказался, в лице орденсмейстера Плеттенберга, один из лучших кондотьеров того времени, искусно орудовавший только что нарождавшейся тогда пехотой наемных ландскнехтов. Плеттенберг встретил наступление русских с силами привлеченных им в Ливонию наемников, без участия в боях местного рыцарства. Победив в первом сражении, он затем был разбит и спешно заключил мир с Москвой, который был фактической капитуляцией; пообещав дань, орден лишь на время откупился от капитуляции, открывая вместе с тем в перспективе финансовое подчинение Ливонии Москве.

Плеттенберг, последний по-настоящему активный орденсмейстер, был только выдающимся военным деятелем, но отнюдь не политическим вождем и администратором. В период протестантской реформации 20-х годов XVI века он не сумел объединить страну под своим главенством и стать светским правителем Ливонии так, как это сделал его коллега в Пруссии, орденсмейстер Альбрехт Бранденбургский. Ливония осталась слабой федерацией орденских и епископских земель вместе с независимыми городами Ригой, Ревелем, Дерптом. Чины ливонской федерации, то есть клир, орденские и епископские рыцари и бюргеры, показали мало политического смысла. В этом комплексе разнородных мелких политических дел кипели феодальные усобицы: орденсмейстер вечно враждовал с архиепископом из-за главенства в Риге, из-за распоряжения доходами с имуществ и пошлин, принадлежавших городу; большие города спорили с рыцарством из-за права торговли с крестьянами и из-за права давать убежище беглым крестьянам, уходившим из имений, к которым они были приписаны в качестве крепостных.

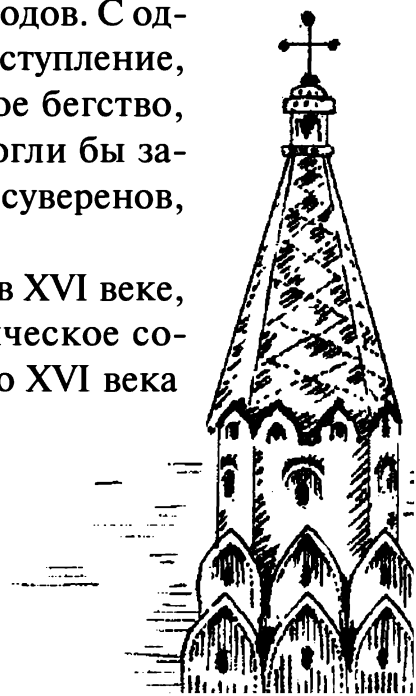
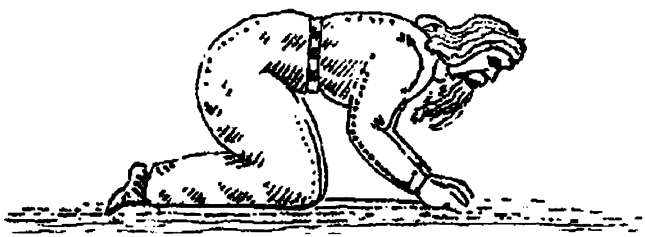
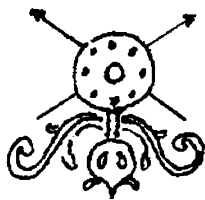
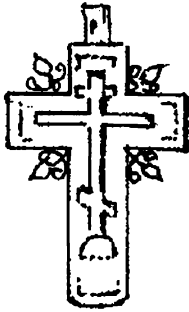
О том, чтобы собрать ополчение для обороны Ливонии, не могло быть и речи. Понятия Ливонии как государства, как общего отечества не существовало. Землевладельцы и бюргеры погрязли в феодальных понятиях Средневековья. Ландтаг, носивший характер конгресса мелких независимых государей, не имел бюджета, не собирал правильных налогов, федерация не располагала финансами; дворяне боялись дать крестьянам

оружие, потому что последние немедленно обратили бы колья против своих господ. Рыцарство не умело и не хотело защищать свою страну от внешнего врага.

В политическом и социальном отношении высшие правящие классы Ливонии представляли картину очень неутешительную. Реформация была проведена в Ливонии как чисто финансовая операция и как переход к привольной, беспечной, безответственной и даже беспорядочной светской жизни. Орденсмейстеры, следовавшие за Плеттенбергом (Брюггеное, дер Реке, Гален, Фюрстенберг), были либо ветхими, впавшими в детство стариками, либо ловкими спекулянтами, неспособными управлять орденской организацией, но отлично устраивавшими свои денежные дела и интересы своих родственников. Епископы с легким сердцем допустили «свободную проповедь Евангелия», а под шумок выгодно продавали свой сан, связанный с пользованием богатыми имуществами, затем спешили переехать в пределы империи, большею частью в Вестфалию, где первым делом вступали в брак, чтобы проживать запасы накопленных в Ливонии денег. Дворянство, добыв у епископов и орденсмейстеров привилегии на безграничное пользование ленами, превращенными в полную собственность, и на эксплуатацию крестьянской барщины для обработки своих имений, стало равнодушным к политике и забросило военное дело. Все мысли обратившихся в рантье дворян были направлены на сохранение своих социальных преимуществ. В смысле моральной оценки это было царство лени, праздности, прожигания жизни; о пьянстве и разврате в среде помещиков говорят все свидетели того времени.

В высших классах Ливонской федерации русский завоеватель не мог встретить сопротивление. В этом смысле борьба русских и немцев в 1558 году отличается от войн 1242 и 1502 годов. С одной стороны, было энергичное и систематическое наступление, а с другой — растерянность, паника, беспорядочное бегство, искание защиты у новых покровителей, которые могли бы заменить разметавшихся в страхе старых феодальных суверенов, орденсмейстеров и епископов.

Крупнейшая из всех войн, которые вели русские в XVI веке, Ливонская война есть вместе с тем важное политическое событие общеевропейской истории. Ливония с XIII до XVI века



входила в состав распадавшейся тогда Германской империи, огромного средневекового государства, построенного на началах феодальной иерархии. Такие устарелые, слабо сплоченные политические тела, представлявшие остаток междуплеменных союзов, не успевшие объединиться и приобрести национальный облик ко времени развития денежного хозяйства и широкого товарного обмена, неминуемо должны были стать жертвой завоевательных стремлений новых государств, опиравшихся на господство единой нации и проводивших энергично национальную политику.

7

Окружающие Ливонию державы были заинтересованы в приобретении юго-восточного побережья Балтики. Литовско-Польское государство, одинаково с Москвой, нуждалось в выходах к морю для прямых сношений с Западом, для сбыта туда сырья и подвоза оттуда товаров. Два скандинавских государства, Швеция и Дания, собственно не имели непосредственных торговых интересов в Балтийском море. Они скорее выступали привратниками выходов, на манер средневековых рыцарей, подстерегавших купеческие корабли на морских путях и торговые караваны на переправах и в горных проходах. Выгоды собирания транзитной пошлины с морской торговли были так велики, что между двумя скандинавскими государствами из-за Балтики разгорелась жестокая борьба; особенно обострилась она в семилетней Северной войне 1563–1570 годов, совпадающей с первым периодом Ливонской войны Грозного.

Судьба Ливонии в высокой степени занимала Германию. Ганзейский союз, старая морская федерация, низверженная в конце XV и начале XVI века, пытался вернуть свое торговое положение на востоке и со смешанными чувствами страха и надежды смотрел на возрастающее могущество Москвы. Интересно наблюдать, как в Германии мечтают опереться на Москву, использовать ее физическую силу и подправиться, омолодиться за ее счет, и как в то же время отдельные члены распадающейся империи боятся неведомой таинственной восточной громады.

Главная победительница Ганзы Англия вторглась в Балтийское море следом за отступающими ганзейцами. Пробивши

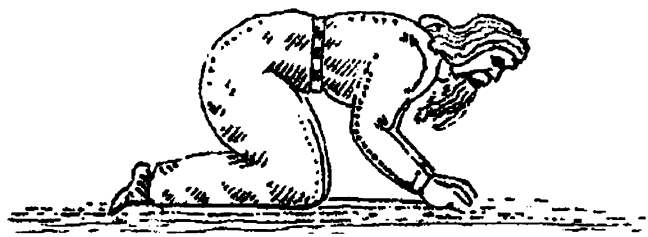
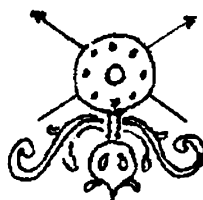
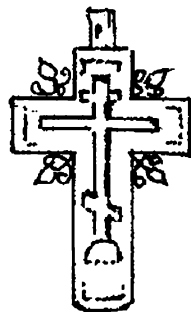
в 1553 году путь к Москве через Белое море, англичане обеспечили себе монополию северной торговли в Московском государстве. Не довольствуясь этим, они поставили целью овладеть и другими торговыми пунктами восточной державы. С притязанием на господствующую роль в торговле с русскими появились они в 1558 году в завоеванной Иваном IV Нарве. Между прочим, англичане стали ввозить сюда свою суконную мануфактуру, вытесняя с рынка ганзейцев, торговавших фламандскими сукнами. Это втягивало в сложную борьбу за балтийскую торговлю еще одну великую державу, в обладании которой находилась индустриальная Фландрия, — Испанию. Два соперника, Англия и Испания, борьба которых в западных водах Европы заполняет собой XVI век, нашли себе еще одно поле столкновений — в Ливонии.

Московская дипломатия, не имея в числе претендентов на Ливонию настоящих союзников, старалась извлечь выгоду из столкновения соперников за обладание Балтийским морем. Издавна стремилась Москва к сближению с Данией против Швеции; Ивану IV оставалось только возобновить политику своего деда, еще в 1493 году заключившего с Данией договор о разделе орденских владений в Ливонии. Добрые отношения с воинственным, предприимчивым, хорошо вооруженным государством проливов считались настолько важными, что в 1562 году в Копенгаген ездил лучший дипломат Москвы, дьяк Висковатый, по-видимому, слывший специалистом по датским делам.

8

Первая кампания — 1558 года — создала на Западе впечатление необыкновенного могущества и силы натиска восточноевропейской державы.

В числе разных отзывов об успехах московского царя в начале Ливонской войны есть письмо французского протестанта Юбера Ланге, проживавшего в саксонском Виттенберге. В августе 1558 года Кальвин узнает от своего корреспондента, что «Московитский государь опустошил почти всю Ливонию и взял города Нарву и Дарбат (то есть Дерпт). Говорят, что совсем недавно он занял Ревель (характерно, как преувеличение русских побед), большой приморский город с очень удобной и безопасной гаванью. В Любеке снаряжается флот на средства саксонских



городов для подания помощи ливонцам. Но это больше ничего, как приготовление легкой победы Мосху, который собирает до 80 или 100 тысяч конницы. Король польский остается праздным зрителем этой трагедии; но Мосх выбьет из него эту лень, если займет Ливонию, потому что Литва, Пруссия и Самогития граничат с ней. Да и не похоже, чтобы властитель Московитский успокоился: ему двадцать восемь лет, он с малого возраста упражнялся в оружии и по натуре очень свиреп, причем его воинственность еще усилилась благодаря ряду удачных войн с татарами, которых он, говорят, побил до 300 или 400 тысяч. Он постоянно возит с собою трех пленных царей и между ними того, у которого он вырвал Казань. В недавнее время он жестоко напал на шведского короля, который только ценой денег смог купить себе мир. *Если суждено какой-либо державе в Европе расти, так именно этой»* (курсив мой. — Р. В.).

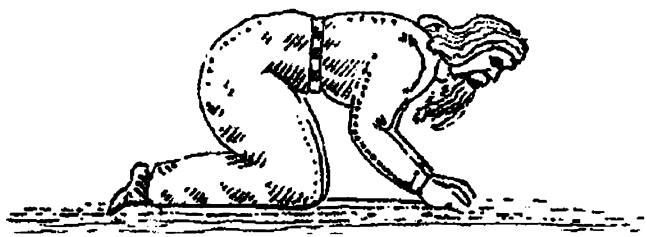
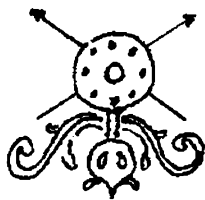
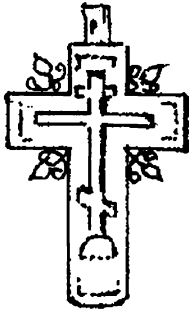
Ливония — если только можно говорить об этой группировке восточно-балтийских феодалов в единственном числе — к войне не готовилась. Старый, совершенно бездарный орденсмейстер Фюрстенберг уповал на помощь польско-литовского государя Сигизмунда II, с которым только что (в 1557 году, в Позволе) был заключен договор, устанавливавший вассальную зависимость ордена от Польши. В его распоряжении, так же как под начальством его заместителя, Кетлера, были лишь небольшие отряды из добровольцев и наемников; они не могли сопротивляться огромным по тому времени конным армиям, которые периодически каждый год бросал с Новгородской окраины Иван IV. Фюрстенберг подошел было на помощь осажденной русскими Нарве, но, при известии о ее сдаче, поспешно отступил. Тот же неудачный маневр повторил, через несколько месяцев, и его преемник Кетлер, не решившийся помочь осажденному Дерпту. Только один из второстепенных командиров Филипп фон Белль, известный своей храбростью, приготовился к битве с русскими, занявши к югу от Феллина крепкую позицию, загороженную болотами. Но здесь невыгодно сказалась вражда к немцам латышей и эстонцев: местные жители помогли русским обойти лагерь Белля, и весь его отряд в битве при Эрмесе был уничтожен.

Сказались вообще все слабые стороны устройства страны: рознь сословий, соперничество городов, придавленность сель-

ского населения. В Ливонии очень скоро разыгрались события, напоминающие в малом виде крестьянскую войну 1525 года в Германии; крестьяне поднялись в тылу у рыцарства, обращенного фронтом к русским. От деревень западной Эстонии в Ревель был прислан депутат, предлагавший бюргерству идти вместе против дворян. Московский завоеватель представлялся ливонцам покровителем низших классов общества. Интересно отметить, что при первом занятии Нарвы «лучшие люди» поспешили уехать, а «черный люд» охотно присягнул Ивану IV.

Укрепленные города и замки, обилием которых славилась Ливония, не могли устоять против московской артиллерии. В 1558 году Нарва вынуждена была просить перемирия из-за канонады, а через посольство к орденсмейстеру горожане извещали, что не в силах более выносить стрельбу. Курбский рассказывает о жестоком обстреле Дерпта «огненными кулями и каменными», который и заставил город сдаться. В 1560 году боярин Морозов в несколько часов разбивает стены знаменитой крепости Мариенбург. Уже в первый год войны русские взяли до 20 крепостей; не ожидая нападения, рыцари поголовно бежали из занимаемых ими замков. В Эстонии русские подходили к самому Ревелю; воевода Петр Иванович Шуйский самоуверенно требовал у магистратов Ревеля и Риги сдачи, грозя в противном случае разорением.

Еще больше, может быть, чем победы русского оружия, европейцев должна была поразить уверенность и настойчивость дипломатии и торговой политики московитов. Иван IV искусно воспользовался соперничеством ганзейского города Ревеля с Нарвой, которой прежде никогда не позволяли вступить в торговый союз Ганзы и быть посредницей в вывозе на Запад русских товаров — кожи, мехов, воска, льна, конопли, поташа. Пока Ревель не давался царю, он старался всячески привлечь на свою сторону торговое население Нарвы. Город освободили от военного постоя; в силу жалованной грамоты нарвские купцы получили право беспошлинной торговли по всему Московскому государству, а также право беспрепятственно сноситься с Германией. Ближним к Нарве деревням московский воевода доставил зерно для посева, дал быков и лошадей. Нарва явно выиграла от присоединения к Москве; город стал быстро обстраиваться.



В то же время царь энергично вел дело к обрусению завоеванных областей Восточной Ливонии, прилегающей к Чудскому озеру: в отнятой у немцев области раздавались поместья детям боярским, в Нарве и других городах ставились русские церкви.

На съезде имперских депутатов Германии в 1560 году Альбрехт Мекленбургский, владения которого оказались в непосредственной опасности от московского нашествия, тревожно доносил, что «московский тиран» принимается строить флот на Балтийском море: в Нарве он превращает торговые суда, принадлежащие городу Любеку, в военные корабли и передает управление ими испанским, английским и немецким командирам. Докладчик предлагал настоять перед нидерландским и английским правительствами, чтобы они перестали доставлять оружие, провиант и другие товары «врагам всего христианского мира». Германская империя должна оказать помощь своим единоплеменникам и не дать утвердиться в Ливонии восточному государю. Выслушав внимательно эту жалобу, съезд постановил обратиться к Москве с торжественным посольством, к которому привлечь Испанию, Данию и Англию, и предложить восточной державе вечный мир, дабы остановить ее завоевания.

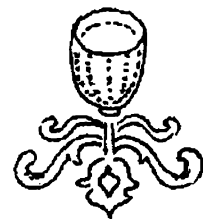
Германский император и рейхстаг очень волновались по поводу успехов московского царя и принимали одну за другой меры запрета торговли с Москвой через Нарву, в особенности преследуя провоз туда оружия. Однако сторонником Москвы и свободной торговли на Балтийском море выступил Любек. На конгрессе князей 1564 года в Ростоке, созванном императором для примирения Дании и Швеции, Любек говорил, что московский царь, как и все остальные государи, желает пользоваться свободой торговых сношений с западными государствами; при необыкновенной способности и восприимчивости русских, царь скоро достигнет своей цели, сегодня у него 4 корабля, через год их станет 10, потом 20, 40, 60 и т. д. То же самое со слов Любека повторяет в следующем году (1565) враг Москвы Август Саксонский; он предупреждает императора, какая грозная морская сила растет на Востоке: русские быстро заводят флот, набирают отовсюду шкиперов; когда москвиты усовершенствуются в морском деле, с ними уже не будет возможности справиться.

Несмотря на крупные военные успехи, достигнутые в 1558—1560 годах, Иван IV был еще очень далек от главной своей цели. В Нарве он видел первый этап к овладению морскими путями; он тянулся к Ревелю и Риге, чтобы иметь более близкие подступы к западным странам. Но сильный натиск Москвы ускорил подготавливавшееся уже распадение ордена, и раздел орденских и епископских земель между Данией, Швецией и Польшей составлял для московской политики событие крайне невыгодное. Вместо одного слабого противника на сцене появлялось несколько сильных претендентов, из которых можно было столковаться только с более отдаленной Данией, занявшей остров Эзель. Шведы, завладевшие Ревелем, и поляко-литовцы, утвердившиеся на устье Двины в Риге, образовали неодолимое препятствие для выхода Москвы к морю.

Уже в первый год после раздела Ливонии (1561) почувствовалась трудность борьбы с новыми врагами. Москва не могла выставить хорошо вооруженной пехоты, и литовцы нанесли войскам Ивана IV несколько поражений; между прочим, Курбский был разбит при Невеле. Неудачи вызвали у царя недоверие к воеводам, и отсюда его личное участие в походе 1563 года.

План кампании составлял, по-видимому, инициативу самого Ивана IV. Сосредоточенное под Можайском 80-тысячное войско двинулось, под верховной командой царя, на Полоцк. Грозный прежде всего имел в виду нанести решительный удар врагу на его собственной территории, чтобы заставить его отступить из Ливонии: важнейшая крепость на Двине, Полоцк, стояла на линии сношений Литвы с Ливонией; город и сам по себе имел значение по своей торговой связи с Ригой.

Взятием Полоцка Иван IV был обязан тяжелой артиллерии. Необычайно довольный возвращением под свою руку русского города и области, он писал митрополиту: «Исполнилось пророчество русского угодника, чудотворца Петра митрополита, о городе Москве, что взыдут руки его на плечи врагов его: Бог несказанную милость изливал на нас недостойных, вотчину нашу, город Полоцк, в наши руки нам дал». Возвращение царя в Москву после Полоцкого похода было обставлено так же торжественно, как его въезд после взятия Казани.



Грозный имел право гордиться своей победой. В механизме военной монархии все колеса, рычаги и приводы действовали точно и отчетливо, оправдывая намерения своих организаторов; под стать военным средствам складывалось и управление вновь покоренного края. Наказ, данный полоцким воеводам в 1563 году, начинается со строгих и обстоятельных до мелочей мер для охраны города от пожаров; у местных жителей отбирается все оружие; по ночам воеводы сами по очереди должны объезжать город с фонарями; городничие замыкают городские ворота и приносят ключи первому воеводе; по всем дорогам должны быть выставлены сторожевые отряды. Подозрительных людей велено незаметно высылать окружным путем через Псков и Новгород в Москву. При всем том наказ требует, чтобы воеводы творили суд скорый, правый и внимательный *по местным обычаям*; им предписывалось узнавать у жителей о прежних податях, оброках и т. п.

IV. Успехи и неудачи военной монархии

В характеристиках царствования Ивана IV со времени Карамзина обычно применялся прием разделения всего периода его царствования (1547–1584) на две эпохи: первые пятнадцать–шестнадцать лет правления, от 1547 до 1563 года приблизительно, определялись как счастливое время широких административных реформ, удачных войн, веденных по унаследованным принципам и способам мудрого управления под руководством опытных советников; последующие двадцать с лишним лет, от 1563 до 1584 года, рассматривались как время непосильной борьбы, неудач во внешней политике, уклонившейся от традиционных путей, как время хаоса в управлении, господства неограниченной власти, проявления произвола.

В этом разделении на две эпохи заключена была вместе с тем оценка личности и деятельности Ивана Грозного: оно служило главной основой для умаления его исторической роли, для занесения его в число величайших тиранов всемирной истории. К сожалению, при анализе этого вопроса большинство историков сосредоточивало свое внимание на переменах во

внутренней жизни Московского государства и мало считалось с международной обстановкой, в которой находилась Московская держава в течение того и другого периода эпохи царствования Ивана IV.

Суровые критики как бы забывали, что вся вторая половина царствования Ивана IV проходила под знаком непрерывной войны, и притом войны наиболее тяжелой, какую когда-либо вело Великорусское государство.

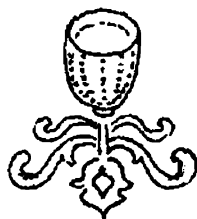
Для того, чтобы установить правильное суждение о месте, которое занимает Иван Грозный в истории XVI века, необходимо прежде всего рассмотреть связь между фактами внешней и внутренней политики в период крупнейшего кризиса Московской державы.

1

В 1563 году Иван IV был на вершине могущества. Он владел выходом к морю и восточной половиной Ливонии, обеспечив себе торговую и военную дорогу по Западной Двине. Высоко стоит в это время его военно-организационная слава и популярность. Но за успехом, одержанным под личным командованием царя, последовали в начале 1564 года неудачи его воевод. Грозный выработал широкий план наступления вглубь Литвы. Завоеватель Дерпта, Шуйский, должен был двинуться из Полоцка, а Серебряные-Оболенские — из Вязьмы и, соединившись вместе, идти на Минск и Новогрудок. Но Шуйский шел «оплошася небрежно» — доспехи везли в санях. На него внезапно напал у Витебска Радзивилл и разбил при Уле; другой отряд потерпел поражение при Орше.

Далее произошло событие, не важное по своему стратегическому значению, но необыкновенно внушительное в политическом смысле: измена Курбского, которому царь еще в 1562 году, когда князь был главнокомандующим в Ливонии, безгранично доверял.

Только если мы дадим себе отчет в необычайно остром впечатлении, которое в Москве оставили эти военные и политические несчастья, будет понятен правительственный кризис 1564 года, казни, выезд Грозного в Александрову слободу, опала боярству, выделение опричнины как особого корпуса избран-



ных военных, которому встревоженный до последней степени царь готов был поручить самого себя и державу среди проникшей всюду измены.

Русские историки обладают документом совершенно исключительного интереса в виде переписки Грозного с Курбским, дающей возможность судить не только о настроении, но и о мировоззрении главных действующих лиц одного из наиболее драматичных моментов эпохи: приходится сказать, что в современной западноевропейской литературе нет ничего подобного. А между тем как своеобразно отразились вкусы гуманистического века в этой словесной перестрелке высшей правящей особы с изменником нации и родной стране, в этом рыцарски-задорном состязании царя и бывшего его слуги, которые бьются на равных условиях, стараясь перещегоолять друг друга ученостью и диалектическим мастерством.

В ответном письме Курбскому сказался весь Грозный, умный, талантливый, полный кипучей энергии и крайне вспыльчивый. Какие отчеканенные выражения о власти, какая ясность политической мысли, какая уверенность в своем монархическом призвании, и как все это беспорядочно загромождено ненужными историческими ссылками, кучей бесполезных имен народов и императоров! Сколько лишнего, сколько повторений, какой переизбыток бранных эпитетов, неправдоподобных обвинений!

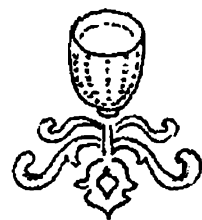
Перед нами встает во весь рост крупная фигура повелителя народов. Пример других государей, ограниченных во власти и поневоле умеренных, на который ссылается противник, неубедителен для Грозного⁷: «Там ведь у них цари своими царствами не владеют, а как им укажут их подданные, так и управляют. Русские же самодержцы изначала сами владеют своим государством, а не их бояре и вельможи!» Самодержец носит в себе закон власти, высшую мудрость, безграничное право суда над подданными: «Зачем же и самодержцем называется, если сам не управляет?». «Всегда царям следует быть осмотрительными: иногда кроткими, иногда жестокими; добрым же — милосердие и кротость, злым же — жестокость и муки, если же нет этого, то он не царь. Царь страшен не для дел благих, а для зла. Хочешь не бояться власти, так делай добро; а если делаешь зло — бойся, ибо царь не напрасно меч носит — для устрашения злодеев и ободрения добродетельных».

Впервые в этом письме к Курбскому вырывается затаенное и, может быть, никому до тех пор так ясно не высказанное негодование против высшего совета, с Сильвестром во главе, ограничившего царскую власть. «Но в том-то причина и суть всего вашего злобесного замысла, ибо вы с попом решили, что я должен быть государем только на словах, а вы бы с попом — на деле». К этому большому вопросу Грозный постоянно возвращается; видно, что его самолюбие очень страдало под опекой сурового церковника. В годы вынужденного бездействия и подчиненности у него сложилась целая теория власти и осуждение господства священников, как строя неразумного, неизбежно несущего государству гибель, потому что «попы — невежи», несведущие в государственных делах. «Нигде ты не найдешь, чтобы не разорилось царство, руководимое попами».

Теория обставлена множеством исторических примеров. Самый недавний — падение Византии, ослабевшей под влиянием церкви. В истории Израиля счастливы те времена, когда духовная и светская власть были разделены, бедствия немедленно наступили «когда Илия жрец взял на себя священство и Царство». Распадение Римской империи — результат того, что в одном лице соединились две власти. Вывод ясен: «не подобает священнослужителям братья за дела правления».

Мысли, высказанные в письме, глубоко обдуманы. Способный и восприимчивый ученик Макария, Иван IV незаметно покорился воздействию духовенства. Но в той самой литературе, в которую его посвятили учителя, он нашел полемику против теократии и доказательство в пользу «самодержавства», мощной и передовой светской власти; увлекшая его новая теория постепенно слилась с нарастающим чувством своего великого жизненного назначения, с раздражением против тех, кто связал его по рукам и ногам, кто не давал его таланту найти себе приложение. Ум и воля Грозного долго встречали тяжелые препятствия; тем сильнее, тем увереннее выражает он потом свои новые убеждения.

И никогда он не находит равновесия, спокойной середины: чувства переливаются через край, страсть бьет ключом. Он не просто отставляет Сильвестра и Адашева, а желает им зла и гибели, он не ограничивается обвинением их в превышении власти, в раздаче царских сокровищ, а приписывает им «бесовские умыслы».



Таков был Грозный во всем: не только в преследовании умалителей царской власти, изменников и нерадивых, но и в своих фантазиях, своих бурных потехах, в игре с монастырским обычаем, наконец в шутовском пародировании самой царской власти.

2

В русской историографии издавна повелось изображать учреждение опричнины прежде всего как жест ужаса и отчаяния, соответствующий нервической натуре Ивана IV, перед которым открылась вдруг бездна неверности и предательства среди лучших, казалось, слуг и советников.

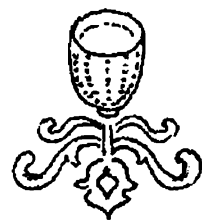
С этой наивной романтической постановкой вопроса надо покончить раз навсегда. Пора понять, что учреждение опричнины было в первую очередь крупнейшей военно-административной реформой, вызванной нарастающими трудностями великой войны за доступ к Балтийскому морю. Мне кажется, что историк должен обратить внимание на то, что Ливонская война принесла ряд трудностей, которые не встречались в предшествующих войнах. При завоевании Поволжья московские конные армии вели бои с воинством, себе подобным, и руководились стратегией и тактикой весьма простыми. Совсем другое дело — война западная, где приходилось встречаться со сложным военным искусством командиров наемных европейски обученных отрядов. Особенно важным недостатком московских войск было отсутствие дисциплины и сплоченности. Армия не представляла однообразно устроенного тактического целого. Еще давали себя чувствовать остатки самостоятельности бывших удельных князей и крупных бояр-вотчинников, которые на местах сохраняли свои дворы, творили суд, собирали на себя подати, раздавали зависимым от них, как бы частным служилым людям вотчины и поместья. К царскому ополчению они примыкали с отрядами своих холопов — воинов, ими помещенных на своей земле, или, как сказали бы в Англии эпохи войны Роз, своих «ливрейных людей».

Наглядно и резко, в виде измены родине, сказываются эти остатки удельности в бегстве Курбского в Литву, причем он увел с собою ближних, особенно тесно с ним связанных боярских

детей и слуг. Не так заметно, но не менее вредно отражались на военных порядках другие черты удельной системы. Плотный слой родовой аристократии, теснившейся к должностям, мешал государю выдвигать дельных и талантливых людей низшего звания. Быть может также, некоторые старые соратники Ивана IV, показавшие много рвения и храбрости в походах восточных, неохотно участвовали в новой войне, как будто не желая понимать ее смысл. Прежде чем изменить своему отечеству, Курбский обнаружил небрежность и неисполнительность. Вероятно, не раз оказывалось, что диктуемые из центра планы военных действий не выполнялись на месте, притом без достаточных оснований.

Проводя в 1550–1556 годах реформы усовершенствования военно-поместной системы, правительство и в этой области, как и в других, допускало подачу челобитных, заключавших в себе разного рода проекты. К числу последних принадлежат поразительные по таланту и горячности произведения публициста, подписанные Ивашкой Пересветовым, в которых он предлагал преобразование войска в связи с усилением самодержавия. Пересветов называет себя служилым человеком литовско-русского происхождения, побывавшим на иностранной службе — венгерской, польской, волошской — и выбравшим, по своей охоте, службу в Москве. С подчеркиванием и гордостью ссылается он на свою бедность, на то, что выбился из неизвестности: он приравнивает себя к тем «воинникам в убогом образе», которые приходили к Августу Кесарю и великому Александру и давали этим государям мудрые советы.

Своеобразно соединяет Пересветов возвеличение монархической власти и защиту интересов мелких служилых людей, к которым себя причисляет; он ненавидит высший аристократический слой, хочет полного уравнивания всех служилых людей, возможности свободного развития талантов из среды простых шляхтичей. Такой простор рядовому дворянству может открыть только монархическая власть; в свою очередь монархия заинтересована в широком привлечении всех слоев дворянства для усовершенствования военного строя, для создания гибкого, полного энергии, непобедимого воинства. У Пересветова эти мысли слагаются в общий политический завет: «Царь должен больше всего любить свое войско». По его мнению, в Москве вельможи хотят отстранить царя от забот об армии, разлучить



его с нею, сделать его правителем одних гражданских дел. Царю не следует поддаваться на такие изменнические замыслы: все его спасение в преданном войске.

Государство, по мнению Пересветова, необходимо преобразовать в духе строжайшего военного порядка. Правление должно быть грозным, юстиция — суровой и краткой, на манер военных судов. Реформа представляется Пересветову прежде всего в виде уничтожения частной военной службы у вельмож: государь привлечет лучших из подчиненных вельможам военных в свой отборный корпус; затем он должен править неограниченно и беспощадно наказывать всякое сопротивление.

Мехмеду II (1451–1481), покорителю Константинополя, нечестивому иноверцу, противопоставляется побежденный им православно-христианский царь Константин, допустивший своеволие вельмож и пренебрегший своим войском. Изображение разумной, грозной, справедливой военной монархии, заведенной мусульманином, Пересветов заканчивает восторженной похвалой, в которой есть оттенок религиозной терпимости гуманистического века: «Турецкий царь Махмет-салтан великую правду в свое царство ввел, иноплеменник, да сердечную радость Богу воздал: да к той бы правде да вера христианская, ино бы с ним ангели беседовали».

Сам родом шляхтич, публицист как будто находится под сильнейшим отрицательным впечатлением опыта, сделанного польско-литовским дворянством. Он совсем не очарован вольностями тамошней шляхты, напротив, считает подчинение этого класса суровой военно-административной дисциплине условием национальной силы.

3

Сличая советы Пересветова с учреждением, которое получило прозвание «опричнины», мы можем признать, что публицист дал ряд удачных формул, которыми воспользовался реформатор.

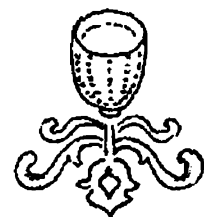
Заметим, что между проектами и выполнением их лежит немалый промежуток времени. Пересветов пишет свою челобитную еще до взятия Казани; он имеет в виду только борьбу на восточном фронте и совсем не знает Балтийской войны. Тем более любопытно данное им освещение политической обстановки

момента. Ведь когда он ссылается на вельмож, стремящихся отклонить государя от сближения с войском, вообще отстранить его от деятельной роли, он понимает не что иное, как окружившую Ивана IV с 1547 года тесную думу, которая в эпоху Стоглава и Казанского похода обладала неограниченным авторитетом.

Эта дума, с Сильвестром и Адашевым во главе, пользуется у историков, главным образом благодаря свидетельству Курбского, хорошей славой; упадку ее влияния обычно приписывают начало жестокости и капризов Ивана IV. Без всякого сомнения, при этом слишком много внимания уделяли вопросу личных столкновений и обид и слишком мало политической стороне дела. А между тем стоило бы заметить, что Курбский очень характерно называет тесную думу, в которой он и сам участвовал, «избранной радой».

Ни у кого другого этого названия не встречаем, а русский боярин-реакционер, понимает, применяет его недаром: у него перед глазами высший совет, ограничивающий власть польского короля, — «паны-рада». Представитель старинного княжеского рода, ровня литовских и польских панов естественно увлекается примером олигархии у западного соседа. Называя именем этой верхней палаты аристократической Речи Посполитой тесную думу при московском царе, Курбский только подтверждает правильность жалоб Ивана IV на то, что советники отстраняли его от дел, снижали его власть, приводили в «противословие» бояр, раздавали самовольно чины и земли и т. п. Пересветов, злейший враг аристократии, дает неожиданное освещение деятельности «избранной рады»: очень рано, в эпоху полного доверия Ивана IV к своим советникам, он предлагал царю резко сломить их господство, опираясь на массу рядового мелкого дворянства.

Пересветов удивительно предвосхитил идею «грозного» правления, понятие о «самодержестве», и его, может быть, следует признать одним из главных вдохновителей политики последующей за 1564 годом поры. Одним из самых заметных дел первых лет опричнины был разгром княжеских гнезд, роспуск дворовых слуг и особых отрядов, состоявших на службе бывших удельных владетелей и крупных вотчинников: царь посадил опричников, то есть людей новой службы с неизвестными дотоле именами, на места старых родовых вотчин князей Ярославских, Белозерских, Ростовских, Суздальских, Стародубских, Черниговских



и др., оторвав родовитых «княжат» и бояр от почвы их старинного владения и насильственно переселив их на совершенно новые места, где у них не было ни корней, ни связей. Можно допустить, что Иван IV внес слишком много страстности в борьбу со своими прежними доверенными советниками; он взял, может быть, под подозрение и других представителей родовой аристократии, хотя и нейтральных, чуждых честолюбивым замыслам настоящих политиканов. Но если тут были проявлены крайности, то это не дает основания думать, что с помощью опричнины, которая составляла важную военно-административную реформу, Грозный вел войну с призраками.

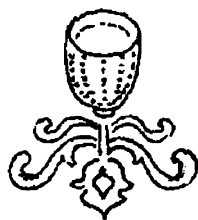
В переписке с Курбским Грозный очень картинно изобразил, как Сильвестр, главное лицо правительственного кружка, подбирал себе угодников, то есть составлял около себя партию, собираясь свести царя на роль простого украшения. В переговорах с Литвой он бросает любопытное обвинение против самого Курбского: будто бы тот имел притязание называться «отчичем Ярославским» и хотел «на Ярославле государить». Конечно, это выражение слишком драматично и звучит неправдоподобно. Но нам следует помнить, что до 1564 года еще живы были многие княжеские гнезда и что у крупных «вельмож» существовало понятие о праве отъезда. После примера, поданного Курбским, пришлось у видных бояр отбирать клятвенные обещания о невыезде за границу. Следовательно, они не подчинялись новому понятию о государстве; они продолжали считать себя государями, в них еще сидели предрассудки удельных владетелей.

Самолюбие Курбского было вполне удовлетворено, когда, участвуя в высшем правительственном совете, он встречал подчинение московского царя воле своей и своих товарищей. Но когда это положение пошатнулось, он нашел возможным только один выход — изменить своей родине, отделиться от государства. Его взгляды совершенно совпадают с мировоззрением крупных польских панов, немецких фюрстов и французских сеньоров XVI века, которые или заставляли монархию подчиниться своему правительственному давлению, или, потерпевши на такой попытке неудачу, изменяли своей стране и объявляли себя вольными и самостоятельными вождями, как бы государями. Коннетабль Бурбон, принц крови и родственник французского короля, перешедший в 1521 году вследствие личной обиды

к германскому императору Карлу V и принявший команду над войсками, сражавшимися против его отечества, курфюрст Мориц Саксонский, в 1548 году верный слуга Карлу V, изменивший в 1552 году в пользу Франции, — вот наглядные западные параллели к Курбскому: Москва и не отстала, и вперед не пошла в этом смысле сравнительно с западноевропейскими государствами.

Оппозиционеру-изменнику Иван Грозный искусно противопоставляет другие слои народа, и здесь он сходится с теориями Пересветова и Ермолая-Еразма, из которых каждый на свой манер советует держать вельмож в строгости и доверять больше работе крестьян и службе воинов простого звания. В своих грамотах, присланных из Александровой слободы в Москву в январе 1565 года, Грозный разделил подданных на «козлиц и овец» и распределил между двумя сторонами гнев и милость: боярам, воеводам, приказным он объявил опалу за расхищение, за неправильно нажитое богатство, притеснение христиан и нерадивую службу; духовенству — за то, что оно покрывало их, гостям же, купцам и всему православному христианству города Москвы он писал, чтобы они себе никакого сомнения не держали, гнева на них и опалы никакой нет.

Необходимо обратить внимание на одну характерную частности, в которой Пересветов соприкасается с настроениями Ивана IV. Перечисляя различные проступки вельмож перед монархом, публицист называет их «чародеями и ересниками, которые у царя счастье отнимают и мудрость царскую». Упрек здесь брошен страшный для того времени: никогда, может быть, не была так распространена вера в колдовство, в приворотные и изводящие зелья, никогда так не свирепствовали колдовские процессы и на Западе, и в Москве. Трудно сказать, в какой мере Иван Грозный был склонен поддаваться страху колдовских чар и злодейского волшебства. Вызвать у него подозрение в чародейских кознях со стороны близко стоявших к нему людей значило, может быть, дать против них чрезвычайно опасное оружие. Курбский рассказывает, что в 1560 году Сильвестра и Адашева осудили, не выслушав их оправданий, потому, что признали в них злодеев и чаровников. Он же передает, что в Москве казнили женщину высокой добродетели и аскетического образа жизни, потому что ее необыкновенные душевные свойства за-



ставили в ней заподозрить колдунью, способную извести царя своими чарами.

У большинства историков в характеристиках Грозного все его казни смешиваются воедино и приводятся безразлично в доказательство его свирепости и полубезумного состояния. А между тем следовало бы различить политические и колдовские процессы. В первом случае мы имеем дело с проявлениями распаленного гнева к изменникам родины, но в то же время с мотивами рационального характера. Во втором — с чем-то стихийным, когда Иван IV разделял суеверие со своими современниками. Нам интересно было бы знать, что бы стал делать сам Курбский на месте Грозного — ведь он целиком разделяет веру в колдовские воздействия: порчу нрава царя, его поворот к жестокостям он приписывает силе чар, которыми располагали его «злые» советники, сменившие «добрых».

4

Если смотреть на опричнину 1564 года как на меру военно-организационного характера, то она составляет продолжение реформы 1550 года. Тогда были испомещены кругом Москвы 1000 человек новой службы; так же и теперь Грозный выбирает себе «князей и дворян и детей боярских дворовых и городских тысячу голов», но испомещает их в московском и в замосковских уездах — Галицком, Костромском, Суздальском — и в городах заокских. Очень интересно сравнить советы Пересветова с практическим осуществлением военной реформы.

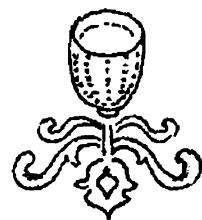
Автор челобитной настаивает на образовании отборного корпуса из двадцати тысяч «юнаков храбрых с огненной стрельбой гораздо учиненного». Пересветов мечтает при этом о каком-то неутомимо воинственном государе, живущем душа в душу со своей армией, и недаром вдохновляется фигурой Мехмеда II. Современная ему Турция выставила в лице Сулеймана I еще раз такого же беспокойного завоевателя. К этой роли, однако, не вполне подходил Иван IV.

Правда, Курбский говорит о нем в «Сказаниях» по поводу Казанского похода 1552 года: «Видев эту несказанную, так скоро пришедшую щедрость Бога, сам царь исполнился усердием, сам и по собственному разумению начал вооружаться против

врага и собирать многочисленные и храбрые войска. Он уже не хотел наслаждаться покоем, жить, затворясь в прекрасных хоромах, как в обыкновении у теперешних царей на западе (прожигать целые ночи, сидя за картами и другими бесовскими измышлениями) ⁸». Но тот же Курбский рассказывает, что после взятия Казани царь не послушался «мудрых и разумных» советников и не остался на зиму в покоренном городе, чтобы закрепить завоевания, а уехал в Москву. Иван IV, вероятно, неохотно становился во главе армии, как это особенно видно было в 1571 году, когда, уклонившись от командования, он дал возможность крымскому хану подступить к Москве и сжечь ее. Однако во всех случаях, когда ему приходилось руководить военными действиями, то есть помимо Казанской кампании, при взятии Полоцка и два раза в Ливонии, в 1572 и 1577 годах, войско бьется хорошо и поправляет предшествующие неудачи.

Не имея дара предводителя, Иван IV обладал техническими талантами, обнаруживая глазомер и изобретательность в инженерном и строительном деле, широкий и практичный взгляд в вопросах военной организации. Разделение в 1564 году земли и людей на опричнину и земщину, как выяснил С. Ф. Платонов⁹, было произведено по глубоко обдуманному плану. В земской половине остались старые сословные порядки и прежние счета службы: в опричнину царь отбирал пригодные ему элементы, не считаясь с родовитостью, с местничеством, с классовыми предрассудками и притязаниями, свободно передвигая людей в чинах и соображаясь только с их военными способностями, их талантом и заслугой. Шаг за шагом он выделял в свое личное, чисто военное управление центральную группу земель, занял опричниной важнейшие государственные дороги, которые вели от центра к границам. «Земские» были отодвинуты на окраинные области, где они продолжали служить как бы под надзором центрального военного управления.

Без сомнения, в перестановках 1564 года сказались результаты раздражения, вызванного военными неудачами и первыми изменами. Это была какая-то временная постройка, возведенная с большой поспешностью; потом в этих рамках, данных в начале, постоянно менялось содержание. Сам Грозный выразил смысл своей реформы в следующих словах иронической челобитной, которую он подал подставному царю Симеону



Бекбулатовичу: «Людишек перебрать, бояр и дворян и детей боярских и дворовых людишек». Действительно, он совершал как бы непрерывный пересмотр всего служилого класса и его владений, передвигал и перетасовывал отдельных его представителей, создавал новое их распределение и опять менял его без конца.

Иван IV лишь довел до полного развития те начала военной монархии, которые наметились во времена его деда. Главное учреждение военной державы — поместная система — развивалось и крепло в борьбе со степью. С середины XVI века сильнейшим побудителем к ее расширению становится западная война. Грозный, вооруженный опытом своих предшественников, пытается придать ей наибольшую гибкость и производительность, на какую она только была способна. Опричнина отражает взгляд на служилое сословие, в силу которого оно должно явиться вполне послушным орудием центра; порядки, введенные с 1564 года, составляют верх напряжения военномонархического устройства.

То обстоятельство, что реформа совершалась во время трудной войны, что она осложнялась столкновением с князьями и старым боярством, среди которого, вероятно, было немало сочувствовавших Курбскому, придало ей характер особенной резкости. Введение опричнины сопровождалось массовыми опалами, казнями, конфискациями. В этой внутренней размельченной войне новым доверенным помощникам и слугам, опричникам, было предоставлено, быть может, слишком много произвола. Но не в террористических мерах Грозного заключалась сущность перемен. Работая над введением нового военного строя, реформатор не имел покоя и простора. Преобразование было задумано как орудие для устранения опасных для родины людей и для использования бездеятельных элементов в интересах государства, а сопротивление превращало реформу в боевое средство для их уничтожения; вследствие этого преобразование и становилось внутренней войной.

5

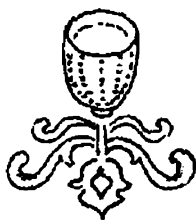
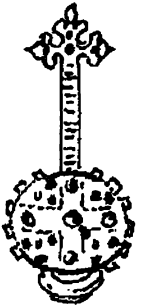
В опричнине большинство историков XIX века хотели видеть, исключительно или главным образом, орудие возникающего деспотизма. Конечно, верно, что в 1558–1564 годах Иван IV

сделал ряд очень резких усилий, чтобы сбросить слагавшуюся вокруг него олигархию, но монархию он укрепил не только террором, а также теми средствами, которые рекомендовали Пересветов и Ермолай-Еразм, то есть сближением с армией и привлечением в нее людей из различных слоев общества. Впечатление такого призыва к патриотизму широких общественных кругов производит Земский собор 1566 года, созванный почти следом за установлением опричнины, и как бы предназначенный показать, какую важность придает правительство настроениям армии.

Русские историки сходятся теперь в том, что собрание 1566 года было первым настоящим Земским собором (позднейшее изображение собрания 1550 года с его речами государя к народу в виде Земского собора относят единогласно в область мифотворчества). Установлены в науке и предшественники «совета всей земли»: это — соединение разных разрядов воинства, образчик которого дал Иван III в 1471 году, и, с другой стороны, освященный собор, совет высшей иерархии. В эпоху опеки правительство связало оба вида собраний для обсуждения церковной реформы; Стоглав 1551 года был соединением «властей» (духовенства), «синклита» (Боярской думы) и представителей воинства.

В 1566 году Иван IV возобновляет форму совещания 1551 года для светской цели. Он собирает духовенство, Боярскую думу в ее полном составе с секретарями, приказными дьяками, и представителей главных разрядов служилых людей; но при этом он вносит важное нововведение, приглашая впервые гостей и торговых людей. Что касается поводов к созыву, то здесь Грозный возвратился к традициям своего деда. Как Иван III спрашивал свое воинство, идти ли походом на Новгород, так Иван IV поставил собранию военно-служилых и торговых людей вопрос о том, согласны ли они продолжать войну за обладание всей Ливонией, между тем как Польша предлагала раздел страны на фактических условиях владения с удержанием в своих руках Риги.

Помимо участия торговых людей, впервые появляющихся в большом государственном совещании, — что указывает на возросшее их значение в государстве, — есть еще другие оригинальные черты собора 1566 года. Среди низших разрядов служилых людей, в качестве особой группы, упоминаются



торопецкие и луцкие помещики; по-видимому, это были оказавшиеся в Москве ко времени переговоров с Польшей мелкие дворяне, сидевшие на окраине, наиболее угрожаемой, взятые из непосредственно действовавших на войне корпусов. Хотя их немного, но они занимают видное место в собрании; их мнение отбирается отдельно. Правительство Грозного допускало свободный обмен взглядов: мы узнаем, что среди отзывов на соборе было оглашено особое мнение дьяка Висковатого, руководителя иностранной политики, который предлагал допустить раздел Ливонии, но при этом потребовать от короля вывода гарнизонов из занятых им городов.

В собрании 1566 года своеобразно соединяются старина и новизна, предание и политическое изобретение. В.О. Ключевский обратил внимание на преобладание в Земском соборе 1566 года представителей знаменитой «тысячи», набранной в 1550 году и испомещенной в окрестностях Москвы, чтобы быть готовой на посылки и поручения правительства. С другой стороны, Н. Мятлев¹⁰ показал, что дворяне, набранные в 1550 году, занимали в последующие десятилетия большую часть важных должностей по военному командованию, внутренней администрации и дипломатии. Мы видим, что Грозный, несмотря на резкость кризиса 1564–1565 годов, на опалы и казни, все-таки держится старого испытанного состава людей, привлеченных к управлению, и даже окружает себя его представителями на большом совещании по крупнейшему вопросу политики.

Собор 1566 года составляет чрезвычайно искусный ход в политике Ивана IV. Удовлетворив самолюбие воинства, еще лишний раз закрепив за собой опору рядового дворянства против аристократического боярства, Грозный выиграл вместе с тем блестящее положение в международной политике. Отправляя в Литву полномочного посла Умного-Колычева с решительным отказом мириться без Ливонии, он выступил окруженный славой популярного государя, который только что удостоверился в единодушии своей армии, духовенства и купечества. Мог ли развернуть что-нибудь даже отдаленно похожее его противник Сигизмунд II, с тяжелым на подъем, неподатливым, многоречивым сеймом, собиравшим шляхетство, которое, в отличие от московского дворянства, перестало быть воинством? Вот когда военная монархия московского государя

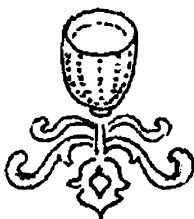
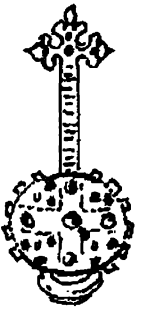
должна была чувствовать свое превосходство над шляхетской республикой!

Если можно говорить об изобретениях в политике, Иван Грозный имеет право считаться изобретателем земского собора так же, как Симон де Монфор¹¹ был изобретателем парламента, а Филипп IV Красивый — генеральных штатов.

6

Одним из первых успехов Ивана IV в Ливонской войне было, как мы уже видели, занятие Нарвы, благодаря чему открылись прямые сношения по морю с Западом. Из договора, заключенного с Данией в 1562 году, видно, какие расчеты и надежды связывало московское правительство с открытием морского пути. Царь выговаривает свободный проезд в Копонгов (Копенгаген) и во все города Датского королевства для «гостей наших Царевых и Великого князя и купцов Великого Новгорода и псковичей и всех городов Московской земли, также и немцев *моей вотчины Ливонской земли городов*» (курсив мой. — Р. В.). Торговля должна быть свободная и прямая с купцами и потребителями Дании, без участия каких-либо факторов и посредников. Затем предусматриваются более отдаленные поездки русских, в которых Дания будет играть только роль страны транзита, и обратные поездки через Данию иностранных торговцев в русскую землю; «а которые наши царевы и великого князя купцы и гости, русь и немцы, поедут из Копонгова в заморские государства с товаром и которые заморских государств пойдут мимо королевства Датского морскими воротами, проливом Зунтом», — тем должно предоставить свободный проезд.

У нас нет определенных сведений о действительных поездках русских купцов в Копенгаген и дальше, но что касается приезда иностранных купцов в Нарву, об этом повествуют германские реляции. По сведениям из Любека от 1567 года, в Нарву приезжают немецкие купцы из Гамбурга, Висмара, Данцига, Бреславля, Аугсбурга, Нюрнберга и Лейпцига. Стечение иностранных купцов в Нарве по временам было громадное, иногда туда свозилось столько товаров, что продавать их приходилось по очень низкой цене. Старинная ливонская хроника Ниенштедта сообщает о великой радости царя, так как «этим путем



он надеялся всего легче утвердиться в Ливонии» (курсив мой. — Р. В.). Иностранцы факторы в Нарве были в большом почете, их приглашали ко двору царского наместника и угощали как близких людей.

В 1567—1568 годах в Германии много говорилось об успехах Москвы. Иные готовы были верить, что создается величайшая империя в мире; если московский царь завладеет Ревелем, он водворится скоро посредине Балтийского моря, на островах Готланде и Борнхольме и будет для Германии гораздо опаснее, чем турецкий султан. Многим представителям купечества казалось, напротив, выгодным завести прямые сношения с Москвой и приобрести в ней союзника против Турции. Считалось, что тогда вся русская торговля, как неиссякаемый источник, будет находиться в руках немцев.

Баварец Фейт Зенг, один из торговцев, проживших в Москве довольно долгий срок, старался увлечь своих соотечественников сообщениями о «могучем царе» и склонить их к заключению союза с Москвой. Он указывал на громадную армию и великолепную артиллерию царя, на обилие его денежных средств, настаивал на устройстве почтовых сношений между Москвой и Германией, на облегчении москвитам возможности ездить за границу. Русские, по его словам, вообще чрезвычайно способны и восприимчивы; со времени занятия Нарвы они приобрели большую опытность в торговом деле; необходимо открыть им средства обучения науке и технике.

Как бы в ответ на эти русофильские предложения, рейхстагу было в 1570 году представлено рассуждение «О страшном вреде и великой опасности для всего христианства, а в особенности Германской империи и всех прилежащих королевств и земель, как скоро москвит утвердится в Ливонии и на Балтийском море».

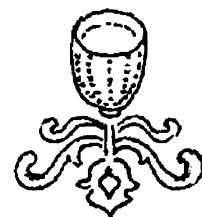
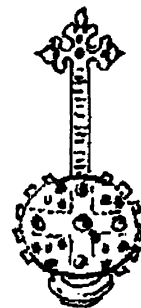
«Отовсюду, — говорит анонимный автор, — с запада, из Франции, Англии, Шотландии и Нидерландов, несмотря на запрещения, везут в Нарву оружие и съестные припасы. Между прочим, для русских очень важен подвоз соли; не получай она ее в таком количестве, они не могли бы продолжать войну и скоро запросили бы мира. Привозят в Москву много шелка, бархата, полотна. Русские, до этого не умевшие выделывать ткани, теперь сами научатся всему и, конечно, разбогатеют.

Много доставляют царю *золотой и серебряной утвари*; драгоценные металлы в Германии истощаются и сильно поднимаются в цене. Наконец, московский государь соберет скоро столько военных снарядов, что сделается сильнее всех других. Всего же опаснее то обстоятельство, что многие правительства доставляют москвитам опытных кораблестроителей, знающих морское дело, искусных в сооружении гаваней, портов, бастионов и крепостей, затем оружейных мастеров, которым хорошо знакомо Балтийское море, его течения, гавани и др. Все эти сношения Европы с царем придали ему мужества; теперь он стремится стать господином Балтики; достигнуть этого ему будет нетрудно, во-первых, ввиду изобилия корабельного леса в России, железа для якорей и различных других материалов для снастей и парусов, сала, дегтя и пр. Его страна *изобилует населением*, и он легко наберет людей для экипажа. Русские крепки, сильны, отважны и, наверное, будут отличными мореходами. Много у царя также купеческих товаров, следовательно он может путем обмена получить все нужное из других стран» (курсив мой. — *Р. В.*).

Замечательно, как сходятся в своих суждениях о русских друг и враг Москвы. Оба предвидят быстрый рост будущего русского флота. Оба признают переимчивость русских, их промышленные и технические способности. Московская политика представляется им обоим решительной, настойчивой, последовательной. Страна необычайно богата, и правительство умеет направлять торговлю, приобретать нужные товары, всемерно расширяет свою державу.

Как признание великой мощи Московского государства интересен проект новой политической комбинации в Европе, составленный в том же 1570 году Либенауером, баварским купцом, корреспондентом и другом Фейта Зенга. Проект рассчитан на представление германскому императору, и мы находим в нем сравнительную оценку сил европейских государств.

Либенауер исходит из наличия громадной опасности, которая грозит Германской империи: с юга от наступающих вверх по Дунаю турок и с севера, где московиты завоевали всю Ливонию, кроме Ревеля и Риги, которых ждет такая же судьба в близком будущем. С предстоящей сдачей шведами Ревеля русские будут обладать лучшей гаванью на Балтийском море. Империя теряет одну за другой большие территории, и враги подвигаются к са-



мому сердцу ее. У кого искать поддержки? Католические государства (о протестантских не упоминается) не могут оказать помощи, или по равнодушию, как Франция, или потому, что заняты своими заботами, как Испания. А главное: ни у кого нет средств для того, чтобы набрать и содержать в течение нескольких лет большую армию, а война в наше время требует колоссального финансового напряжения. Из тяжелого положения, в котором находится империя, есть только один выход помириться с тем из врагов, кто составляет меньшее из двух зол, то есть с Москвой, уступить ей Ливонию и заключить с ней тесный союз, чтобы затем вместе с ней направить оружие на другого, более страшного врага — Турцию.

Доводы в пользу этой комбинации двоякого рода — отрицательные и положительные. Если не помириться с великим князем московским немедленно, он, оскорбленный отказом принять его постоянные предложения мира, пойдет еще дальше на завоевание побережья Балтийского моря: у Швеции и Дании он отнимет острова Готланд и Борнхольм, у самой империи Пруссию, Померанию и Мекленбург, может проникнуть и в Силезию; ведь с этой стороны империя не защищена крепостями, — мимо замка Мемеля он пройдет без осады. В качестве положительного аргумента выдвигается мотив религиозный: Московская держава — все же христианская сила, на которую можно опереться против нехристей. «От союза с великим князем всему христианскому миру получилась бы неизреченная польза и благополучие; была бы также славная встреча и сопротивление тираническому, опаснейшему врагу — Турку, который у вашего возлюбленного отечества славного немецкого народа так тяжело сидит на шее». Далее в пользу союза с Москвой говорят давнишние связи и дружественные отношения (тут вспомнился даже брак германского короля с дочерью великого князя киевского Ярослава в XI веке). А главное: московский великий князь — самый могущественный государь мира после турецкого султана.

«Четыре года тому назад великий князь, двинувшись походом против одного только города Полоцка, находившегося в Литве, вывел в поле, как может быть доказано, более ста тысяч лошадей, не считая пеших людей, которых там было свыше двадцати тысяч стрелков, и еще бесчисленное множество дру-

гих. Что же бы он тогда сделал против Турка, если бы пожелал правильно использовать свою собственную силу и серьезно употребил ее?»

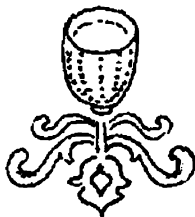
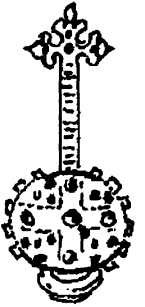
7

В странном противоречии со всеми отзывами и суждениями немцев о быстром и угрожающем росте русской торговли и мореплавания, о стремительном натиске и способностях русских находятся факты поведения англичан в Московском государстве и отношения к ним московского правительства.

Хотя появление в Москве Ченслора, единственного спасшегося в 1553 году из экспедиции Уиллоби¹², составляло как будто счастливую случайность, заменившую английским мореходам поиски северного пути в Индию, англичане скоро поставили себе большие задачи в Московии. За обещание возить через устье Северной Двины мануфактуру и военное снаряжение они добились исключительного права пользоваться северным путем, права беспошлинной торговли по всему Московскому государству, свободного выезда и въезда, свободного проезда по волжскому пути в Персию и Среднюю Азию — их не оставляла мысль пробиться в Индию.

Привилегии англичан вовсе не кончились и даже не сократились с тех пор, как Иван IV приобрел опорный пункт в Балтике. Напротив, захват Нарвы в 1558 году повел к новому расширению английских планов. Помимо далекого пути через Белое море, большую часть года закрытого, у них открылась несравненно более близкая дорога. Проникнув вместе с другими иностранцами в Нарву, англичане проявили исключительную энергию. Их конкуренты, купеческие круги Любека, сообщают, что в Московском государстве всего успешнее идут торговые дела англичан: у них во всех больших городах свои складочные магазины, через Россию они добираются до Персии и Армении, о чем никто раньше не слышал и не помышлял, из Белого моря надеются найти путь в Индию.

Англичане, по-видимому, строили еще более широкие замыслы — забрать всю торговлю в Московском государстве. Правда, Иван IV отказал им в такой монополии, но все-таки предоставил им право исключительной торговли с Казанью



и Астраханью. Грамотой 1569 года царь разрешил английской компании искать на реке Вычегде железную руду и для обработки построить завод, с каковой целью в ее распоряжение отвели большой участок леса. На русских монетных дворах англичанам было позволено чеканить свою английскую монету, разрешено пользоваться ямскими лошадьми и нанимать русских рабочих.

Как понять все эти уступки московского правительства? Многие объясняются военными и политическими соображениями. Для борьбы с технически хорошо вооруженными западными соседями Иван IV нуждался в доставке снаряжения, пороха, свинца, орудий, наконец, в присылке инструкторов: военный материал и военных людей всего скорее можно было получить из Англии, которая наносила как раз в это время последние удары своей старой сопернице немецкой Ганзе. Не удивительно, что в 1560 году в русском войске, напавшем на крепкий Феллин, были шотландские стрелки.

У Грозного вообще сложилось какое-то особенное тяготение к Англии, увлечение ею. В тяжелые годы царствования оно превратилось в упорную мысль породниться с английской королевой и даже найти себе убежище в Англии, на случай крушения династии. Поэтому никому, может быть, так много не спускал Грозный, как английским послам, если они нарушали строгий московский этикет; недаром он прослыл в своей ближайшей среде «английским царем».

Но как бы ни были важны политические соображения и симпатия, все-таки удивительно, что им в угоду московское правительство, по-видимому, готово было жертвовать интересами местного торгового класса, тогда как именно из-за выгод последнего оно настойчиво добивалось доступа к Балтийскому морю. Ответа на наше недоумение приходится искать в своеобразном устройстве и положении промышленников и торговцев Московского государства. В отличие от западноевропейского купечества московское не имело самостоятельности, не составляло корпораций, гильдий, компаний. Оно состояло на службе государства; очень характерно выражалось это чиновное положение торговых людей в поручении таможенных сборов богатейшим купцам под ответственностью их капиталов, затем в обычае привлекать выдающихся «гостей» из провинции в Москву, обычае, подобном возведению уездных дворян в столич-

ные придворные чины, наконец, в назначении правительством начальников «гостиных сотен», то есть в разделении купечества на отряды, на административные группы.

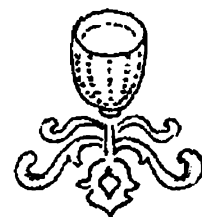
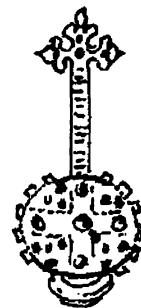
Поэтому мы находим крупных торговцев в качестве специалистов-советников в правительственных комиссиях. Во время второго приезда в Москву Ченслора был учрежден особый совет для рассмотрения прав и вольностей, которых требовали англичане; в этот совет были приглашены московские купцы. В качестве государственного чина «гости» участвовали в политическом собрании 1566 года.

Промышленники привыкли к своему участию в органах администрации. Когда образовалась опричнина в качестве тесного военного управления, предназначенного стянуть к центру живые силы страны, Строгановы, знаменитые потом своей пермской колонизацией и началом завоевания Сибири, поспешили записаться в кадры нового государственного учреждения. Отношение Строгановых к опричнине и их общее поведение очень показательны: они хорошо выполняют на окраине поручения правительства, наряду с разработкой предоставленных им доходных статей, строят крепости, охраняют Прикамский край от нападения сибирских татар.

Под руководством правительства действовали и московские купцы в Балтике с открытием нарвской навигации. Воевода Заболоцкий в 1566 году просит Ревельскую думу пропустить русских купцов, едущих в Висмар. И тут, и по другим подобным поводам Грозный настойчиво повторял одно и то же требование, чтобы его подданным давали свободный пропуск за море в Европу.

В государственной внешней торговле всегда с неизбежностью будут преобладать интересы казны; в ней нет опасностей риска, нет побуждающих к дерзновенной предприимчивости выгод. Весьма понятно, что при таком строе торговли государство склонно отдавать иностранцам те статьи промышленности и обмена, которые оно не может непосредственно использовать. Отдача англичанам вычегодской железной руды была именно таким способом приглашения иностранцев туда, где государство не хотело или не могло приложить свои руки.

Все это лишний раз характеризует Московское государство. Власть организует все силы общества для войны, собирает всю



промышленную деятельность для военных финансов; правительство хочет, чтобы все таланты, все капиталы, вся энергия служили ему одному. Оно берет на себя очень много руководства, мало оставляя самостоятельности общества.

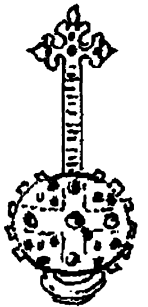
Для тогдашней Европы эти обстоятельства представлялись слишком необычными и вводили иностранцев в заблуждение. Купечество, как самостоятельная сила, выросло в западноевропейских странах из морского пиратства и сложилось раньше, чем национальное государство. Поэтому западноевропейские наблюдатели усматривали в подчиненном, незаметном положении московских торговцев и промышленников, в направлении торговли путем приказов признаки варварства, а иностранные предприниматели обольщали себя надеждою добиться монополии в этой стране, столь слабой самостоятельным почином.

Не один раз обращались англичане с такими предложениями к Ивану Грозному. Та же мысль не перестала занимать воображение купечества старой ганзейской столицы Любека; на широком плане стать руководителем торговли во всем Московском государстве основаны почти все выступления представителей Любека на рейхстагах и съездах германских князей, когда ганзейцы восторженно отзывались о выгодах русской торговли.

Выросши на соперничестве торговых дружин, западноевропейское купечество забыло, что торговля не имела такого характера ни в Римской империи, ни в Арабском халифате. В этих больших державах государство было и кредитором, и заказчиком, и направителем торгового дела. Такое же положение сложилось и в Московском государстве. Однако отсюда никоим образом не следует делать вывода, что московское правительство своими централизаторскими, регулятивными мерами стесняло развитие торговли внутри государства.

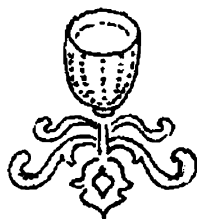
Б.Д. Греков¹³ в своем исследовании «Очерки истории феодализма в России» прекрасно выяснил, что середина XVI века представляла в Московском государстве эпоху чрезвычайного расширения внутреннего рынка. «Внутренняя торговля, — говорит он, — становится постоянной и массовой тогда, когда из среды населения выделяется масса непосредственных производителей, не производящих хлеба и прочих сельскохозяйственных продуктов в собственном хозяйстве, и потому нуждающихся в массовом привозе их извне из земледельческих

хозяйств». Б.Д. Греков считает, что именно такой момент наступил для объединенных в одно целое областей Московского государства; особенно красноречивым в этом смысле фактом он считает появление в деревне зажиточного слоя крестьян, исключительно занятых торговлей, и последующий затем совершенно естественный уход их в города, где они открывали свои лавки и склады. В конце концов и англичане почувствовали всю силу и значение государственной торговли. Недаром английская торговая компания стала проситься принять ее в опричнину.



8

Великие военные предприятия 1552–1566 годов, приведшие за короткий срок к колоссальному политическому и торговому расширению Московской державы, были бы невысказаны, если бы Иван Грозный не встретил стремительного возрастания военно-промышленной энергии в средних и низших классах населения замосковского края; его заслуга в том, что он сумел воспользоваться этим нарастанием энергии и организовал эти силы для широких замыслов. Одним из характерных признаков развития социальной энергии был рост культурного сознания в московском обществе и потребность просвещения, пробудившаяся в тех же классах. Наиболее яркой иллюстрацией культурного роста может служить краткая, но выразительная история печатного дела в Москве.



Факты, сюда относящиеся, — отрывочные, частью загадочные, принадлежат 1563–1568 годам — тем самым годам, которые отмечены стремительными успехами во внешней политике и бурными столкновениями внутри, связанными с учреждением опричнины. В 1563 году открывается первая типография в Москве, руководимая Иваном Федоровым и Петром Мстиславцем. Мы ничего не знаем об этих людях, кроме того, что свидетельствуют о них их произведения. Их деятельность, начавшаяся с таким успехом, если судить по блестящему изданию «Апостола» 1564 года с его красивыми заставками (по итальянским или греко-константинопольским образцам?), резко обрывается бегством обоих печатников из Москвы в Литву. Этому вынужденному уходу, по-видимому, предшествовал разгром типографии

(сведение это неясно: Флетчер, сообщая о пожаре московской типографии за несколько лет до его приезда в Москву, не называет имен печатников).

Одно несомненно: типографы ушли не по своей воле, а под каким-то сильным давлением. Бегство в Литву не имело ничего общего с теми мотивами, которыми руководился Курбский и другие изменники. Сам Иван Федоров говорит о врагах внутренних и громко заявляет о своем патриотизме. В Послесловии к львовскому изданию «Апостола» (1574) он говорит, что бежать ему пришлось «вследствие великих бед, часто случавшихся с нами не из-за самого русского государя, но из-за многих начальников, и церковных начальников, и учителей, которые нас по причине зависти во многих ересях обвиняли, желая благо во зло превратить и Божие дело окончательно погубить, как это свойственно злонравным, и невежественным, и несведущим в науках людям, которые и в искусстве грамматики не умудрены, и духовного разума лишены, но втуне и всуе слова злые изрекают. Таково свойство зависти и ненависти, которая без нужды клеветает, не знает, как ходит и на чем утверждается. Эта ненависть нас и погнала с земли, и с родины, и от родичей наших и в другие страны неведомые переселила¹⁴».

Мы улавливаем в этих искренних проникновенных словах личную профессиональную трагедию, мы слышим горячий протест ученого против обскурантов, ставящих преграды «божественному» искусству печатания, восстающих в ослеплении своем против разума. Выражения, примененные здесь, выявляют в Иване Федорове типичного представителя просветительного движения, проходившего по всей Европе XVI века.

Идеалистическая форма протеста не мешает Федорову отметить совершенно конкретно врагов-гонителей типографского дела, сплотившихся в реакционный блок. Нам не трудно расшифровать его термины: под «начальниками» разгадать аристократию, князей и старых бояр, боявшихся усиления средних классов, дворянства и торговопромышленников и потому противившихся их просвещению; под «священноначальниками» — высшее духовенство, которое боялось проникновения в светскую среду ересей и в результате распространения «лжеучений», подрыва своего авторитета; под «учителями» — духовенство низшее — чернецов, монахов, кормившихся от переписки книг,

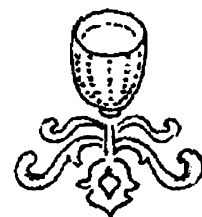
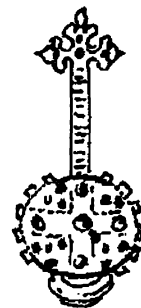
непосредственно задетых убийственной для них конкуренцией общедоступных печатных изданий.

Все эти группы соединились в тесный союз, объявивший войну распространению грамотности и просвещения среди широких слоев народа. Реакционные элементы в данном случае были те же самые, которые и вообще противились реформам Ивана Грозного, те же самые, на которые он обрушивался со всей силой своей вновь учрежденной опричнины. Культурная оппозиция совпадала с политической.

Таким образом, спор о введении в Москве книгопечатания втягивался в общую социально-политическую борьбу, и печатная книга оказывалась одним из боевых орудий на фронте внутренних столкновений. Она легко могла сделаться предметом прямых уличных схваток. Можно себе представить, что сановитые «начальники» и облеченные высшим духовным авторитетом «священноначальники» усердно подстрекали невежественную толпу к разрушению типографии, и притом именно в форме ее сожжения, как это полагалось для наказания виновников всякого рода колдовства: печатный аппарат изображали при этом как орудие бесовского наваждения, как мастерскую дьявола.

Исследования академика А.С. Орлова¹⁵ и И.В. Новосадского¹⁶ не позволяют нам рассматривать историю печатника Ивана Федорова как изолированный случайный эпизод культурного быта Москвы. Типографское искусство давно стучалось в двери великой восточной державы. Мы слышим уже в 1492 году о приезде в Москву, под видом дипломатического агента, типографа любечанина Гонтана. В свою очередь через Любек Ганс Шлитте, набравший в 1547 году для Москвы целый корпус техников, должен был привезти и мастеров печатного дела.

Помимо попыток частных лиц проникнуть со своим новым видом производства в самый центр Московской державы, делается официальное предложение от дружественного с Москвой правительства. Таково обращение к Ивану IV датского короля Христиерна III, который писал в 1552 году: «Посылаем, возлюбленный брат, искренне нами любимого слугу и подданного нашего Ганса Миссенгейма с Библией и двумя другими книгами, в коих содержится сущность нашей христианской веры. Если приняты и одобрены будут тобою, возлюбленный брат, митрополитом, патриархами, епископами и прочим духовен-



ством сие наше предложение и две книги вместе с Библией, то оный слуга наш напечатает *в нескольких тысячах экземпляров* (курсив мой. — Р. В.) означенные сочинения, переведя на отечественный ваш язык, так что сим способом можно будет в не многие годы споспешествовать и содействовать пользе ваших церквей и прочих подданных, ревнующих славе Христовой и своего спасения».

Дания в это время приняла протестантизм, который реформаторы считали восстановлением истинного первоначального евангелического христианства; на первом месте у датского правительства миссионерская цель, вот почему речь идет о рассмотрении, в качестве образца, Библии; но в то же самое время предложение поручить присылаемому мастеру воспроизведение книги в таком большом количестве экземпляров и в такой короткий срок заставляет думать, что имелся практический расчет на скорый сбыт книги. Такой расчет мог быть основан на сведениях, указывавших на возрастающую в московском обществе потребность в общедоступной книге, следовательно на готовность Москвы к открытию книжного рынка.

Датское правительство стремилось выгодно устроить на отхожем промысле своих миссионеров-техников и приобрести уже готовый рынок для сбыта продукта нового производства. Те же цели — религиозную пропаганду и внедрение нового товара, — но в иной этнической и культурной обстановке ставит себе и московское правительство в своих новых владениях — Поволжье, Приуралье и Сибири. Политика правительства, направленная на усмирение покоренных, носит здесь черты религиозного фанатизма: мусульманство, которого держались татары, преследовалось, язычников — чувашей, мари, удмуртов — насильственно обращали в православие. Учреждались новые епархии, появлялось новое духовенство: для собственного поучения и для миссионерских целей оно нуждалось в книге, которая становилась одним из важнейших административных инструментов. Яркой иллюстрацией этих расчетов может служить обилие книг, которое обнаруживается в разделах имущества Строгановых. В отдельном акте 1578 года указывается, что всего было разделено между наследниками 208 книг при 84 названиях: из них было 86 книг печатных, то есть более трети. Это — цифры чрезвычайно крупные для того момента,

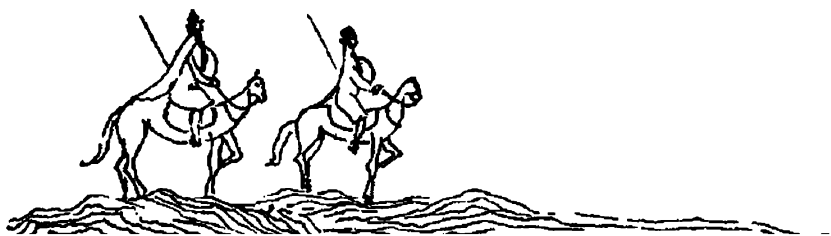
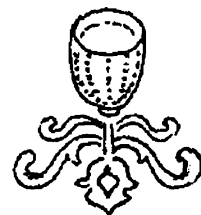
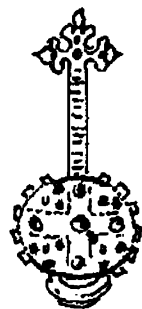
если принять во внимание, что со времени первой печатной книги в Москве прошло всего четырнадцать лет. Строгановы были главнейшими пионерами московской культуры в Поморье и Уральском крае, населенном мусульманскими и языческими народами, которых покоряли не только оружием, но и миссионерским насилием. Рано примкнувшие к опричнине, вообще чуткие к намерениям правительства Ивана Грозного, Строгановы были здесь энергичными проводниками книжной пропаганды и книжной торговли.

В отношении организации типографского дела, как во всех вопросах техники, Иван Грозный обнаружил глубокое понимание идей века; его политика в этой области отвечала интересам и потребностям тянувшихся к просвещению средних классов общества. Политическая позиция, занятая им здесь, была, однако, под угрозой: он встретился с сильным противодействием реакционеров.

В Москве он не смог ни сберечь, ни восстановить типографское дело; печатня действовала только в Александровой слободе — центре его администрации. Очень характерно для полной почти заброшенности печатного дела в Московской державе показание иезуита Поссевино, бывшего в Москве в 1581 году. Он отмечает в своей книге о Московии: «Книги они все пишут сами и не печатают, за исключением того, что станку отдается кое-что только для нужд государства в городе, который называется Александра слобода, где царь имеет типографию».

9

Крупные успехи, одержанные Иваном IV в 1560-х годах в Ливонии, развитие сношений с Западом, усиление русской внешней торговли — все это было достигнуто в значительной мере благодаря выгодному международному положению Москвы. Между двумя скандинавскими державами, имевшими притязания на Балтику, Данией и Швецией, происходила в 1563—1570 годах ожесточенная борьба, которая отвлекала их силы и внимание от Ливонии. В то же время удавалось оберегать Москву от фланговых ударов со стороны беспокойного южного соседа — крымских татар. Внешняя политика Польско-Литовского государства была парализована предстоящим концом династии Ягеллонов,



скреплявшей союз трех столь различных стран и народностей, как Польша, Литва и Западная Русь.

К концу 1560-х годов это выгодное для Москвы положение нарушилось. В Швеции свержение Эрика XIV (1568) и вступление его брата, Юхана III, женатого на Ягеллонке, сестре Сигизмунда II, наметило союз скандинавского государства с Польшей. Вместе с тем окончилась Семилетняя война, сковывавшая Швецию. С Юхана III (1568—1592) начинается ряд предприимчивых шведских королей, которые сумели использовать воинственный пыл шведского дворянства и поднять незначительное государство на степень первоклассной европейской державы. Так, на севере вырастает неожиданно противник, запирающий Москве морские выходы, противник странный, который не мог воспользоваться сам промышленной и торговой выгодой, ибо не имел собственной индустрии и не занимался транзитом, но который с успехом исполнял роль тормоза в отношении Москвы, задерживая столь опасное в глазах Польши и Германии усиление многочисленного русского народа.

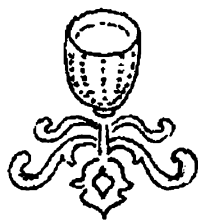
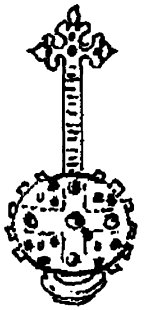
Другой ряд неудач для Москвы наметился благодаря искусной политике последнего Ягеллона. Сигизмунду II удалось победить предубеждения литовского и западнорусского шляхетства против унии с Польшей, и решение Люблинского сейма 1569 года предотвратило опасность отторжения Литвы от Польши. Затем Сигизмунд сумел расстроить в Крыму московское влияние и направить хана на поход к Москве в 1571 году, который, оказавшись полной неожиданностью для Ивана IV, закончился сожжением Москвы и жестоким разорением Замосковного края.

Тяжелые внешние удары отражаются на внутренних отношениях в Московском государстве, вызывают кризис в правительственных кругах. Годы 1568—1572-й — эпоха казней, опал и конфискаций; по своим размерам и интенсивности террор этого времени далеко превосходит первый кризис 1563—1564 годов. В эту пору погибают ближайшие родственники царя: его шурин, князь Михаил Темрюкович Черкасский, брат его второй жены Марии Темрюковны, кабардинской княжны; подвергается казни двоюродный брат Грозного Владимир Андреевич Старицкий, последний представитель боковой линии московских великих князей; погибает митрополит Филипп, заступавшийся за гони-

мых вельмож, сам из старобоярского рода; погибают во множестве представители старой аристократии, давно находившиеся под подозрением, а также и многие видные опричники, вчерашние любимцы царя. Смертные приговоры, опалы и убийства помимо суда совершаются над изменниками. Открываются все новые и новые предатели, которые подготавливали передачу Новгорода и Пскова Литве, и другие изменники, которые помогали крымцам подойти незаметно к Москве.

Те историки, которые склонны видеть в Иване IV прежде всего нервно-истерическую натуру, считают эту погоню за изменниками преувеличением, внушением воспаленного воображения Грозного, задержанного тяжелыми обстоятельствами жизни и потерявшего душевное равновесие. Нельзя не признать, что в казнях и опалах 1568–1572 годов много неясного, есть трудно разрешимые загадки. Так например, недоумение вызывает гибель дьяка И. М. Висковатого, человека высокоталантливого, который пользовался неограниченным доверием Ивана Грозного и чуть ли не единственный из времени «избранной рады» уцелел при первом правительственном кризисе 1563–1564 годов. В чем мог провиниться Висковатый? Судя по тому мнению, которое он подал на соборе 1566 года, он был против продолжения войны за Ливонию и, может быть, работал в пользу заключения мира с Польшей. Борьба за Ливонию, ускользавшую, несмотря на величайшие усилия завершить так удачно начатое дело, становилась для Грозного настолько большим вопросом, что уже всякое возражение в этой области он готов был принять за измену. С гибелью Висковатого уходит последний из советников ранней поры Ивана IV. Выдвигаются совершенно новые люди: братья Щелкаловы, Годунов, Богдан Бельский.

Но как ни велика была подозрительность и несправедливость Грозного, нельзя все измены сводить к игре его воспаленного воображения. Если крымский хан был подкуплен подарками Польши, превысившими московские поминки, то можно предположить, что и московские бояре, допустившие нашествие татар, не остались чужды воздействию польской дипломатии. С тем большим основанием мы можем думать, что и в Новгороде, где еще не исчезли предания независимости, завелась настоящая литовская партия.



У нас нет цельного описания того тяжкого кризиса, который испытало Московское государство в 1570–1571 годах, но имеются чрезвычайно выразительные документы, рисующие душевные переживания людей того времени в свете глубоко трагическом. Это рассказ о разгроме Новгорода, произведенном самим Грозным с опричниками, переписка Ивана IV с Девлет-Гиреем, исполненная глубокого унижения для московского царя, и наконец изумительное по силе нравственно-политического подъема единственное в своем роде завещание 1572 года.

О бедствиях Новгорода рассказывает местный летописец, проникнутый глубокой симпатией к своей родине, считающий ее невинной жертвой, а царя виновником ненужной жестокости. Грозный тоже свободен, не имея критика или возражателя, в преувеличении или утаивании своих чувств. Вместе они дополняют друг друга, как в драме, где излагающий действие автор скрыт за сценой и предоставляет нам выводить заключения из речей действующих лиц.

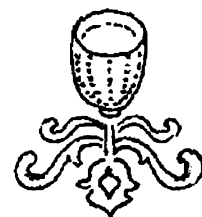
Нечего и говорить, что в расправе над Новгородом в 1570 году Грозный далеко превзошел меру исправительных наказаний, если только они вообще были нужны. Но даже если допустить полную невинность новгородцев, важен момент возникновения страшного суда над ними. Оно показывает, каким проклятием тяготела над московским обществом эта война, тянувшаяся двенадцать лет, не обещавшая конца и выхода и все-таки неизбежная для государства. Правительство напрягало все средства, требовало нечеловеческих усилий от подданных. То, что оно называло изменой, может быть, иногда составляло только нерадение, вялость службы, но при данном положении и этого было достаточно, чтобы вызвать гнев высшего командования.

Как ни жестока была экзекуция над Новгородом, нельзя признать поход Ивана IV с большим войском лишь взрывом беспричинной злости. Грозный не только дал выход своему необузданному темпераменту, расправившись с действительными или мнимыми изменниками и мятежниками; он старался также исправить поколебленное военное положение. К западной окраине он применил ряд мер в духе обычной московской политики: множество землевладельцев новгородского края было сдвинуто с мест и переведено на другую Украину, а земли переселенных отданы верным опричникам.

Около времени расправы с Новгородом есть обрывки признаний Грозного, которые показывают, что он переживал очень тяжелый период своей жизни, что он страдал от сознания своего одиночества, покинутости, окружения врагами и изменниками, от отсутствия верных и надежных приверженцев. Особенно сильно такие ноты звучат в знаменитом вступлении к завещанию 1572 года: «Ум острупися, тело изнеможе, болезнует дух; струпы телесны умножишася, а не суще врачу, исцеляющему мя; ждах, иже со мной поскорбит, и не бе, утешающих не обретох; воздаша ми злая возблагая, и ненависть за возлюбление мое». Дальше в этом наставлении сыновьям, как будто в ожидании того, что его будут обвинять в совершении несправедливых расправ, что будут нападать на любимое его детище — его избранное воинство, Грозный пишет: «А сами живите в любви, а *воинству поелику возможно навыкните*. А как людей держати и жаловати, и от них беречися и во всем их умети себе присвоивати, вы б к тому навыкли же; а людей бы есте, которые вам прямо служат, жаловали и любили их, ото всех берегли, чтобы им изгони ни от кого не было, и они прямее служили, а которые лихи, *и вы на тех опалы клали не вскоре, по рассуждению, не яростно*» (курсив мой. — Р. В.).

Завещание 1572 года интересно также своим обстоятельным, тщательно продуманным обозрением провинций державы, большую часть которой сложил своими руками сам завещатель. Любопытны выражения, которыми описывает Грозный свои личные завоевания. Казанское и Астраханское царства он приобрел «Божией помощью». Ливонскую землю, тоже взятую «Божией помощью», царь называет «своей отчиной»; подробно перечисляет он 26 здешних городов. О завоевании 1563 года Иван IV говорит: «...По Божией воле взял есми у брата моего Жигимонта Августа короля свою отчину город Полоцк».

В политико-географических и хронологических определениях Грозный таков всегда. Он дорожит всеми достижениями своего царствования, любит вспоминать моменты строения великой державы. Второе письмо Курбскому заканчивается словами: «Писано в нашей отчине Лифлянские земли во граде Волмере, лета 7086 года, государствия нашего 43-го, а царств наших: Российского 31-го, Казанского 25-го, Астороханского 24-го».



V. Борьба с изменой

В русской исторической науке XIX века вопрос о политическом, военном и социальном значении опричнины и в связи с этим вопросом суждение о личной роли Ивана Грозного были одним из не сходящих с очереди предметов ученого спора. Была ли опричнина только результатом преувеличенного страха Ивана IV перед окружающими его опасностями и многочисленными недругами, орудием преследования главным образом личных его врагов, нашел ли в этой политической форме свое выражение каприз испорченной тиранической природы, или же опричнина была обдуманной военно-стратегической и административно-финансовой мерой, а по своему внутреннему строению — орудием борьбы с изменой, с упорной оппозицией? Была ли опричнина соединением больших злодейств и мелких дрызг, или же она представляла собой крупный политический сдвиг, учреждение прогрессивное, хотя бы и в сопровождении известных крайностей и преувеличений? Был ли Иван Грозный узко мыслящим, слабовольным человеком, метавшимся из стороны в сторону под влиянием случайных советчиков и фаворитов, подозрительным до крайности, переменчивым в настроениях тираном, или же он был даровитым, проницательным, лихорадочно деятельным, властным, упорно проводившим свои цели правителем?

Так приблизительно можно формулировать противоположные мнения, выставившиеся в ученом споре. Для решения вопроса в ту или другую сторону не хватало документальных данных, и главным образом потому, что оставалась скрытой внутренняя жизнь опричнины, порядок и развитие ее учреждений, а также не было свидетельских показаний участников опричнины.

Публикации 1924—1942 годов в значительной мере восполняют этот недостаток и дают возможность разрешить некоторые из загадок, стоящих перед исследователем эпохи «террора» 1568—1572 годов.

1

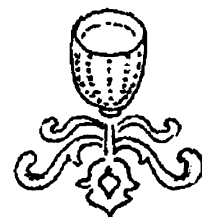
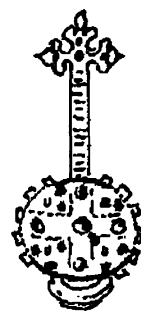
Много подвинуло нас вперед в понимании событий тяжелой эпохи правительственного кризиса опубликование трех документов: 1) изданной П.А. Садиковым переписки Ивана Гроз-

ного с Василием Грязным, составляющей приложение к статье «Царь и опричник» (1924), 2) переведенных И. И. Полосиным¹⁷ «Записок о Московии немца-опричника Генриха Штадена», в сопровождении вступительной статьи переводчика (1925) и 3) переведенного и комментированного А. И. Малеиным¹⁸ «Сказания Альберта Шлихтинга» (1934). Первое из этих произведений, состоящее из одного письма Грозного от 1574 года и двух писем В. Грозного от 1576 года, целиком принадлежит московской правительственной среде и отражает интимные настроения царя и его опричников. Два последних составлены иностранцами, временно служившими в Москве, удачно ускользнувшими оттуда, написаны за границей и выражают взгляды, высказанные независимо от какого-либо давления со стороны Москвы; несмотря на тенденциозность, они в то же время в высокой мере ценны, поскольку их авторы были непосредственными участниками или очевидцами многих деяний и переживаний эпохи господства опричнины.

Переписка царя Ивана IV с опричником В. Грязным дает весьма яркое представление о том, как сам Грозный оценивал значение опричнины, далее — каковы были отношения между царем и опричниками, на какой дистанции от себя и в какой железной дисциплине держал он ближайших своих слуг и вернейших, как ему казалось, помощников в страшной для него борьбе с врагами внутренними и внешними.

В 1573 году опричник В. Грязной, имевший поручение по разведке на южном фронте близ «Молочных вод», по своей ли неосторожности или вследствие измены подчиненного ему отряда, попал в плен к крымскому хану. Из своего заключения он пишет (не дошедшее до нас) письмо к царю, где умоляет выкупить его, указывая на равноценного ему при обмене знатного Дивея-мурзу, находящегося в московском плену. Царь отвечает на эту просьбу отказом в том замечательном письме 1574 года, которое дошло до нас.

Письмо выдержано в той саркастической манере, которая так знакома нам по переписке с Курбским, но здесь, в непридуманной беседе с бывшим фаворитом своим, Грозный берет еще более резкий и пренебрежительный тон. Начинается оно с насмешки над легкомыслием и нерасторопностью Грязного: «Писал ты, что за грехи взяли тебя в плен; так надо было,



Васюшка, без пути средь крымских улусов не разъезжать, а уж как заехал, не надо было спать, как при охотничьей поездке; ты думал, что в окольные места приехал с собаками за зайцами, а крымцы самого тебя к седлу и приторочили. Или ты думал, что и в Крыму можно так же шутить, как у меня, стоя за кушаньем? Крымцы так не спят, как вы, да вас, неженок, умеют ловить; они не говорят, дойдя до чужой земли: пора домой! Если бы крымцы были такими бабами, как вы, то им бы и за рекой не бывать, не только что в Москве»¹⁹.

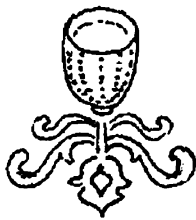
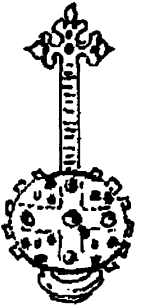
Итак, по мнению Грозного, опричники сами виноваты, они — «бабы» и «неженки». Но царь хочет выбрать попавшего в плен опричника еще и за другое — за присвоение себе неподобающей цены: «Ты объявил себя великим человеком, — и вдруг со свойственной ему непоследовательностью срывается на тему, которая вечно терзает его, — так ведь это за грехи мои случилось (и нам это как утаить?), что князья и бояре наши и отца нашего стали нам изменять, и мы вас, холопов, приближали, желая от вас службы и правды». Вслед за этой гневной выходкой Грозный продолжает в тоне едкой насмешки: «Тебе, выйдя из плена, столько не привести татар и не захватить, сколько Дивей христиан пленит. И тебя ведь на Дивея выменять не на пользу христианству — во вред христианству: ты один свободен будешь, да, приехав, лежать станешь из-за своего увечия, а Дивей, приехав, станет воевать да несколько сот христиан получше тебя пленит. Какая в том будет польза?»

Беспощадный приговор Грозного в данном случае тем более замечателен, что Грязной вовсе не был заурядным опричником, хундордным «мужиком-страдником». Он происходил (подобно Адашеву) из старинного, хотя и не знатного дворянского рода, во всяком случае давно служившего великим князьям, и выдвинулся он благодаря своему деятельному участию в борьбе с оппозиционным боярством, затем в расправе 1570 года с новгородской изменой, наконец участвовал в походе 1572 года на Ливонию, где одно время был воеводой в Нарве. На допросе в Крыму выяснилось, что он — человек «временный» (то есть временщик, фаворит царя), отчего татары и заломили за выкуп его очень высокую цену. В свое время Грязной воспользовался своим влиятельным положением и в отсутствие царя, ходившего на «свейские (шведские) немцы», приобрел себе путем обмена

очень хорошее имение. Ко всему этому надо прибавить еще, что он был желанным участником шумных царских пирушек, живым собеседником, шутником, умевшим тешить царя. Но в известный момент доверие царя к нему пошатнулось: всего вероятнее, это случилось после набега Девлет-Гирея в 1571 году, когда Грозный убедился в военной непригодности тех опричных полков, которым была поручена оборона Москвы, и заподозрил в самой опричнине распространение измены. Грязного, правда, еще не постигла прямая опала; но он потерял недавно приобретенное поместье; да и отправка его на южный фронт была похожа на почетную ссылку.

После отказа царя выкупить Грязного прошло полтора года. Изнывая в плену, опричник отправил в Москву два новых письма, одно за другим. Горячая мольба изливается тут вместе с воспоминаниями о счастливом прошлом, с уверениями в великой преданности царю и царевичам. Грязной старается тронуть царя напоминанием, что он пострадал исключительно за свое усердие в службе, что он готов принять смерть за царя как искупление совершенных им грехов, клянется в том, что никто не может помочь ему, кроме «Бога и государя», позволяет себе в экстазе воскликнуть: «Ты, государь, аки Бог, и мала, и велика чинишь!» Он пытается взять Грозного еще выхвалением своих заслуг: здесь в Крыму он борется с изменой, распространенной среди других русских пленников, которые, благодаря его обличениям, почти все «перепропали», — остался только известнейший из изменников, Кудеяр, да и того он скоро уничтожит. Наконец он предлагает сообщать новости из Крыма в Москву и вести дипломатические переговоры с крымским правительством.

Все напрасно! Грозный остался непреклонен и даже, может быть, пришел в раздражение от назойливости Грязного, с которою тот вмешивается не в свое дело: Кудеяра он сам простил; обещание Грязного вести переговоры с крымским правительством должно было показаться прямо дерзостью, раз вся иностранная дипломатия Москвы направлялась по строгим и точным инструкциям царя, по особому уполномочию с его стороны. Помимо того, долгое пребывание Грязного в Крыму и его суетливое усердие вызывало подозрение относительно его собственной верности.



П.А. Садиков, давший нам интересный комментарий к переписке царя Ивана IV с Грязным, приходит к тому заключению, что Грозный очень высоко оценивал назначение опричнины как орудия обороны государства и борьбы с его врагами; что привлечение людей в состав опричников царь считал выражением великого своего доверия и милости; что заслуги отдельных опричников он определял в меру их полезности для государства; наконец, что выслеживание повсюду сказывавшейся в стране и на фронтах измены стало для Ивана IV большим вопросом, который и беспокоил и раздражал царя до последней степени.

Если согласиться с этим мнением исследователя, то становится понятна и суровость царя в отношении попавшего в крымский плен Грязного. Иван Грозный очень любил изобретенную им организацию и распалялся гневом, когда находил ошибки, недосмотры и злоупотребления подчиненных. Но в глазах историка суждения самого инициатора и руководителя учреждения, разумеется, недостаточны для того, чтобы составить объективную оценку опричнины по существу. Одно дело — цели и намерения организатора, другое — тот пестрый состав людей, который поступал в его распоряжение. В этом отношении очень интересно прислушаться к показаниям служивших в опричнине иностранцев, тем более что и сами они являются живыми образчиками той толпы авантюристов, которая теснилась ко двору Ивана IV.

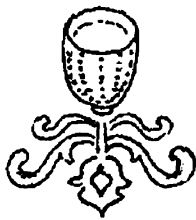
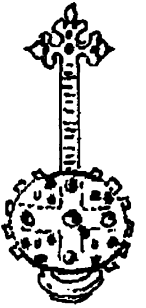
2

Записки о Московии двух немцев, вестфальца Штадена и поморанина Шлихтинга, принадлежат к так называемым сказаниям иностранцев, но резко отличаются от всех других мемуаров и описаний, подходящих под это название, — от Герберштейна, Ченслора, Флетчера, Поссевино и т. п. Те все написаны лицами, приезжавшими с официальной миссией, на короткий срок; их наблюдения не могли не быть поверхностными, тем более что за ними самими следили и многое от них старательно скрывали. Эти, напротив, составлены людьми, которые по долгу оставались в Московском государстве (Штаден прожил на Руси двенадцать лет, от 1564 до 1576 года, из них шесть лет был на службе в опричнине), вмешивались в самую гущу жизни,

наблюдали втихомолку, никем не замеченные, свободно проникали в самую интимную среду высшего общества, в обстановку, близкую ко двору и особе государя, вращаясь в то же время и в широких народных кругах. К сожалению, преимущества, которыми пользовались эти тайные свидетели событий и нравов, обращаются у них почти исключительно во зло, и показания их утрачивают поэтому значительную долю своей цены и достоинства. Оба они — натуры низкие, неблагородные, лишенные всякого сознания чести и совести. Наживши и награвивши в Москве много добра, не только очевидцы, но и участники ужасов и злодейств, которые они описывают, они не питают к народу и государю, их приютившим, иных чувств, кроме презрения и ненависти.

Благополучно ускользнув за границу, они пишут злые памфлеты на Москву и ее царя, каждый с определенной целью и по определенному заказу. Когда в 1570 году папа Пий V задумал отправить в Москву своего польского нунция, Портико, для ведения переговоров о примирении Москвы с Польшей, Сигизмунд II Август, который боялся, как бы не завязалась между Москвой и папской курией дружба, вредная для интересов Польши, поручил беглецу из Москвы Шлихтингу написать обличительный трактат о злодействах «московского тирана»; документ этот король передал нунцию для доклада в Ватикане, где он произвел сильное впечатление. В результате Портико получил от папы следующую инструкцию: «Мы ознакомились с тем, что вы сообщали нам о московском государе; не хлопочите более и прекратите сборы. Если бы сам король польский стал теперь одобрять нашу поездку в Москву и содействовать ей, даже и в этом случае мы не хотим вступать в общение с такими варварами и дикарями».

Штаден, так же как Шлихтинг, пишет обвинительный акт против московского царя, с той только разницей, что, как ум крупный и самостоятельный, он ставит собственную цель в грандиозном плане: в его большой рукописи наиболее важное место занимает проект военной оккупации Москвы, который он, беглец, в 1578 году решил представить через посредство пфальцграфа Георга Ганса императору Рудольфу II Габсбургскому; остальные две части, содержащие «Описание страны и правления московитов» и автобиографию Штадена, составля-



ют как бы приложение к военно-политическому плану и предназначены для того, чтобы осветить слабые пункты московской политики и доказать негодность строя, основанного якобы на голой жестокости и на ограблении правителем своих собственных подданных.

Оба автора, избегая называть Ивана IV царем и применяя к нему только прежний титул великого князя, стараются возбудить против него общественное мнение в Западной Европе, подстрекнуть государей к борьбе против восточных «нехристей». Донесения Шлихтинга и Штадена вполне достигли цели. Они много содействовали тому, что в дипломатии, публицистике и литературе Запада за Иваном IV утвердилась невыгодная репутация... Попутно «обличители» бросили мрачную тень на весь русский народ: московиты, благодаря их характеристикам, прослыли невеждами, которых ничего не стоит обманывать и водить за нос, толпой дикарей, склонных к грабежу и насилиям.

На этом кончается сходство между двумя авторами. Гораздо более значительна разница между ними, не одинакова степень ценности их показаний, находящихся в зависимости от их личных свойств и дарований, от их поведения и круга их деятельности. Различие их карьеры начинается уже с того, что Шлихтинг попал в Москву не по своей воле, а как пленник, взятый при падении литовской крепости Озерище в 1564 году, тогда как Штаден последовал сознательно за военным счастьем, перебравшись, после взятия Полоцка Иваном Грозным, с польской службы на русскую.

В Москве Шлихтинг, знавший русский и латинский языки, занял место слуги и переводчика у придворного врача Альберта (которого он ошибочно называет итальянцем, тогда как это был бельгиец); в этой малозаметной должности он оставался в течение всех семи лет (1564–1571) своего пребывания в Московском государстве. Шлихтинг называет себя военным: его дворянское происхождение заставляет его горячо сочувствовать боярству, преследуемому Грозным. Его мировоззрение весьма примитивно. Свирепствование «тирана» и его опричников находит себе, по его мнению, объяснение в дурном нраве русских. «Московитам врождено какое-то зложелательство, в силу которого у них вошло в обычай взаимно обвинять и клеветать друг на друга перед тираном и пылать ненавистью один к другому, так

что они убивают себя взаимной клеветой. А тирану все это любо, и он никого не слушает охотнее, как доносчиков и клеветников, не заботясь, лживы они или правдивы, лишь бы только иметь удобный случай для гибели людей, хотя бы многим и в голову не приходило о взведенных на них обвинениях».

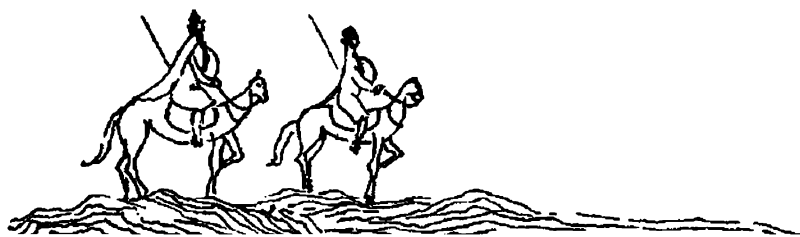
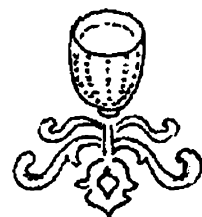
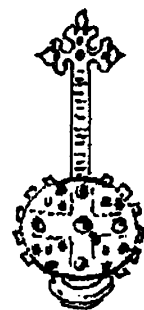
В рассказе Шлихтинга нет исторической последовательности, отсутствует хронология. Все его внимание направлено на то, чтобы нагромоздить побольше отвратительных сцен жестоких истязаний, которыми тешился «кровавый деспот» и его клеветы. Показательны заголовки его рассказа: «Краткое сказание о характере и жестоком правлении московского тирана Васильевича», «Горжок и Тверь», «Тиранство его над женщинами», «Тиран — толкователь сновидений», «Тиранство над боярами», «Предчувствие тирана или предзнаменование». Мы не узнаём никакой мотивации повсеместных и беспредельных злодейств, а читаем лишь однообразный материал для уголовного романа.

Что у Шлихтинга множество грубых преувеличений и прямых выдумок, можно судить из следующего обстоятельства: когда известный географ и публицист Гваньини воспроизвел в своем «Описании всех стран Московии» рассказы Шлихтинга, хотя и в весьма смягченном виде, он все-таки подвергся резкой критике своего соотечественника, итальянского купца Тедальди: «О тех фактах, что написал против Московита и поныне еще живущий веронец Гваньини, он, Тедальди, во время пребывания своего в Московии ничего не видел и не слышал, что им своевременно и было поставлено на вид названному писателю».

Но при всех своих недостатках памфлет Шлихтинга заключает несколько важных фактических сведений и совсем пренебречь им нельзя; наиболее существенны его показания, относящиеся к заговору 1567 года.

3

Совершенно иной характер носит произведение Генриха Штадена, которое смело можно назвать первоклассным документом истории Москвы и Московской державы 60 и 70-х годов XVI века. Надо только приспособиться к изучению этого своеобразного памятника, в котором глубокие наблюдения, остроумные замечания, яркие и наглядные описания сплетаются с цинич-



ными признаниями автора в своих собственных подлейших поступках. Штаден вообще производит на нас жуткое впечатление личности, одаренной блистательными талантами и в то же время откровенно порочной и преступной.

Из какой социальной среды он происходил? То, что он родился в бюргерской семье в глухом провинциальном городке, — говорит нам слишком мало; размах его карьеры был очень широкий и разнообразный. Важнее данная им самим характеристика того слоя бродячего военного люда, к которому он рано примкнул, вынужденный покинуть родину из-за уголовного преследования. В своем проекте завоевания Московии он говорит: «Потребная для того первоначальная сумма равна 100 000 талерам. И воинские люди должны быть снаряжены так, что, когда они придут в страну (великого князя), они могли бы служить и в коннице. Это должны быть такие воинские люди, которые *ничего не оставляли бы в христианском мире: ни кола, ни двора*. Таких ведь много найдется в христианском мире. Я видел, что такое великое множество воинских людей побиралось, что с ними можно было бы взять и не одну страну. И если бы великий князь имел в своей стране всех побирох из военных, которые шатаются по христианскому миру — причем *некоторые из них поворовывают, за что кое-кого вешают*, — то он захватил бы все окрестные страны, у которых нет государей и которые стоят пустыми, и овладел бы ими» (курсив мой. — *P. V.*).

Генрих Штаден был, может быть, гениальнейшим из «побирох», но он не был великим человеком: его цели никогда не поднимались выше «поворовывания, за которое вешают».

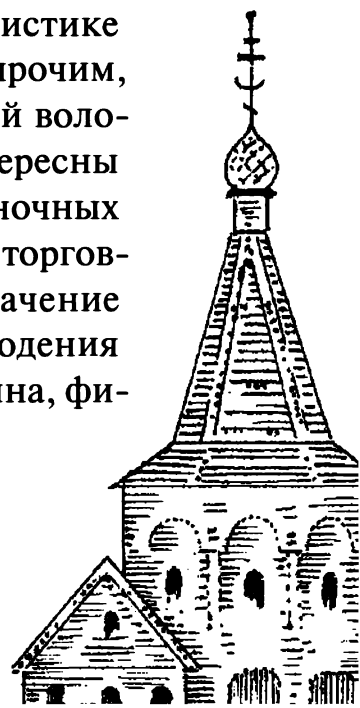
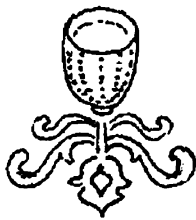
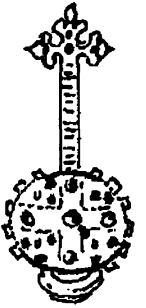
В самом деле, что за удивительные таланты обнаруживает Штаден, и какое жалкое, отталкивающее применение дает он им! После блуждания по лифляндским мызам и службы в вольном отряде дольского коменданта Феллина, Полубенского, 22-летний юноша решает бежать «под страхом виселицы», как он говорит. Выдавая себя за писателя или подьячего, проявляя невероятную дерзость, он посылает с границы русскому наместнику в Дерпте Мих. Морозову запрос: «Если великий князь даст мне содержание, то я готов ему служить, а коли нет, то я иду в Швецию; ответ я должен получить тотчас же». Наместник верит наглцу и, предполагая в этом иностранце очень нужного для войны специалиста, отправляет за ним

эскорт всадников: «Великий князь даст тебе все, что ты ни попросишь».

Штаден при своем первом появлении очаровал Морозова. Тот предложил ему остаться в Ливонии, ввиду того, что Штаден близко знаком с делами и людьми в этой стране. Но Штаден, еще более подняв цену на особу свою, потребовал аудиенции у самого государя московского, и Морозов отправил его немедленно на ямских лошадях в столицу: расстояние в 200 миль (1400 километров) он проехал в шесть дней. В Москве он был доставлен в Посольский приказ: «Дьяк Андрей Васильевич расспрашивал меня о разных делах. И все это тотчас же записывалось для великого князя. Тогда же мне немедленно выдали память или памятную записку: на основании ее каждый день я мог требовать и получать auf der Jammen 1½ ведра меда и 4 деньги кормовых денег. Тогда же мне выдали в подарок шелковый кафтан, сукно на платье, а также золотой».

По возвращении великого князя в Москву я был ему представлен, когда он шел из церкви в палату. Великий князь улыбнулся и сказал: «хлеба есть», — этими словами приглашая меня ко столу. Тогда же мне была дана память, или памятная записка, в Поместный приказ, и я получил село Тесмино со всеми приписными к нему деревнями... Итак я делал большую карьеру: великий князь знал меня, а я его. Тогда я принялся за учение; русский язык я знал уже изрядно».

Вкрадчивость, умение держаться в обществе открывают Штадену доступ в дома лиц, самых влиятельных при дворе и в управлении, что оказывается потом очень полезным в разных опасных случаях его жизни. Он обнаруживает и другие таланты. Острый глаз на окружающую жизнь знакомит его с московским бытом, с порядками и обычаями деревни, что и отражается в его замечательных картинках Москвы 60-х годов, его характеристике отношений между помещиками и крестьянами (между прочим, он отметил обычай «Юрьева дня»), его сценах судебной волокиты и т. д.: бытописатель он удивительный. Крайне интересны его заметки по экономической жизни, его таблицы рыночных цен, его тонкое понимание ювелирного дела и пушной торговли. Он прекрасно понял торговое и стратегическое значение Поморья. Но если спросить, чему служат все эти наблюдения географа, этнографа, военного техника, сельского хозяина, фи-



нансиста, литератора, — придется дать ответ, невыгодный для автора «Записок»: они обращаются исключительно на интриги, вымогательства, самовольный захват чужих дворов, грубую наживу, спекуляции, ростовщичество, обкрадывание и вытеснение соседей и конкурентов, присвоение чужой добычи, подкуп судей. Присоединив к основному имени еще несколько других, Штаден заводит всюду кабаки (пользуясь в данном случае привилегией иностранцев, тогда как русским помещикам винокурение было строго воспрещено). Корчемство давало ему громадные доходы; всегда у него были в распоряжении также неограниченные запасы золота и драгоценностей.

У Штадена много завистников: среди них есть и немцы, служащие в опричнине. По этому поводу мы узнаем кое-что интересное о внутренней жизни немецкой колонии в Москве. У сынов Германии нет ни малейшего подобия товарищества, нет и понятия о каком-либо общем отечестве. Два лифлянца, Таубе и Крузе, держатся польской ориентации (конечно, тайно готовые в любую минуту изменить Москве), двое других, Штаден и Конрад Эльферфельд, — имперской, то есть мечтают перекинуться к Габсбургам. Но эти двое смертельно ненавидят друг друга; в затеянной ими чисто феодальной усобице, сопровождаемой обманом, подкупом слуг, наездами друг к другу, сутяжничеством, побеждает Штаден, как всегда высыпая судьям пригоршни золота и самоцветов. Запрятаный им в тюрьму Эльферфельд пал духом, признался в своих прегрешениях и униженно молил продать все его имущество и выдавать ему только немного на пропитание в тюрьме. «В этом я ему отказал» — так цинически заканчивает Штаден свой рассказ об этом эпизоде.

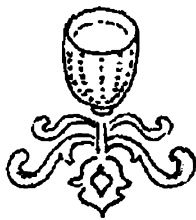
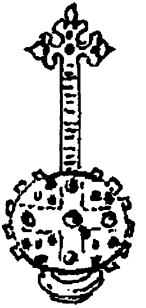
За все время службы Штадена в опричнине мы не слышим о выполнении им крупных поручений военного или административного характера. Зато Штаден, уверенный в своей безнаказанности, как привилегированный гвардеец, участвует в наиболее «лихих» делах, совершаемых опричниками по способу частных предприятий. Сам он рассказывает об этом в связи с походом Ивана IV на Новгород: «Тут начал я брать к себе всякого рода слуг, особенно же тех, которые были наги и босы; одел их. Им это пришлось по вкусу. А дальше я начал свои собственные походы и повел своих людей назад внутрь страны по

другой дороге. За это мои люди оставались верны мне. Всякий раз, когда они забирали кого-нибудь в полон, то расспрашивали чстью, где — по монастырям, церквам или подворьям — можно было бы забрать денег и добра, и особенно добрых коней. Если же взятый в плен не хотел добром отвечать, то они пытали его, пока он не признавался. Так добывали они мне деньги и добро».

Среди этих разбойничьих набегов есть и такой случай: «Из окон женской половины на нас посыпались камни. Кликнув с собою моего слугу Тешату, я быстро взбежал вверх по лестнице с топором в руке. Наверху меня встретила княгиня, хотевшая броситься мне в ноги. Но испугавшись моего грозного вида, она бросилась назад в палаты. Я же всадил ей топор в спину, и она упала на порог. А я перешагнул через труп и познакомился с их девичьей».

После сожжений в 1571 году Москвы, которую не сумели сберечь и спасти опричные войска, и нового нападения Девлет-Гирея в 1572 году, которое было отбито земскими воеводами, доверие царя к опричнине пошатнулось; начался новый «перебор людишек», по выражению Грозного, то есть пересмотр военных списков, а в связи с этим отобрание у опальных опричников поместий и возвращение их согнанным со своих мест, при учреждении опричнины, вотчинникам. Штаден не был принят ни в один из новых списков, лишился всех своих владений, но благодаря своей изворотливости избежал прямой опалы. Он бросил все московские дела и предприятия и перебрался на север; сначала построил в Рыбной слободе (Рыбинске) мельницу, потом, обдумывая, «как бы уйти из этой страны», двинулся дальше на Поморье, где занялся торговлей мехами. Устроению побега помогли его связи с сильными людьми, его актерские дарования, его опыт в торговом деле: «Я был хорошо знаком с Давидом Кондиным, который собирает дань с Лапландии. Когда я пришел туда, то я заявил, что я жду купца, который должен мне некоторую сумму денег. Здесь я встретил голландцев. Я держался как знатный купец и был посредником между голландцами, англичанами, бергенцами из Норвегии и русскими».

В 1576 году в Коле он сел на голландский корабль, который вез 500 центнеров каменных ядер для артиллерии инсургентов, боровшихся в Нидерландах против Испании; сам он увозил с собой большой груз мехов, которыми вместе с одним из рус-



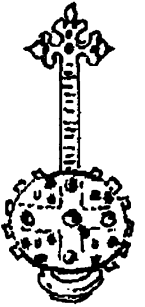
ских купцов удачно расторговался на Лейпцигской ярмарке. Он и не думал покидать совсем и навсегда русскую землю.

Неистошимый на фантазии, он придумывает все новые и новые способы, чтобы вернуться в Московию, хотя бы и другим манером, чем раньше. Первый план состоял в том, чтобы поступить на службу к врагу Москвы — Швеции: «Я предпринял свою поездку к королю шведскому и просил его о пропуске, чтобы на описанном Поморье получить мне долг с великого князя». Но рядом с таким расчетом на мирные сделки с московским правительством он принимает поручение от брата короля герцога Карла Зюдерманландского разузнать, есть ли в Голландии русские торговые люди, караван которых герцог мог бы перехватить на своих пиратских судах по дороге к Балтике. Разыскивая по Германии шведского принца, Штаден попадает к его родственнику пфальцграфу Георгу Гансу, безземельному князю империи, своего рода бездомному авантюристу, мечтающему о создании подобного шведскому германского флота для борьбы с «нехристями-московитами». Штаден крайне заинтересовал пфальцграфа своими рассказами о Московии. Оба искателя приключений, отлично спелись между собой: сначала через пфальцграфа, потом лично Штаден представил императору Рудольфу II ни более ни менее как план завоевания Московской державы с севера: объехав вокруг Норвегии и высадившись в Коле и Онеге, предполагалось направить десант через Поморье, которое в предшествующие годы Штаден успел так основательно изучить.

Этот план есть новое доказательство удивительной изобретательности и основательнейших географических и стратегических исследований и познаний Штадена: в нем предусмотрена и новая дипломатическая комбинация — союз Германской империи, выставляющей большое наемное войско, с королями шведским и польским; имеется в виду подчинение Московии императору. Ивана IV предполагалось взять в плен и отвезти в Германию, где держать под строгим надзором. Штаден — бродяга, спекулянт и прожигатель жизни не претендует на важную роль в грандиозном предприятии. Свою автобиографию он кончает очень скромным пожеланием: «Сильно и неоднократно тянуло меня при этом (то есть во время дипломатических поездок по организации коалиции) в Русскую землю, в Москву,

ко двору великого князя (курсив мой. — Р. В.). Благодарение вседержителю Богу, удостоившему меня пережить столь великое!»

Такова личность этого оборотня, который соединял в себе поразительные таланты с мелочностью и низостью поведения. Однако забывая об отрицательных моральных качествах немца-опричника, историк должен удержать в памяти суждение об Иване Грозном одного из умнейших его современников, а у Штадена, как он ни враждебен царю, вырывается такое невольное признание величия Ивана IV: «Хотя всемогущий Бог и наказал русскую землю так тяжко и жестоко, что никто и описать не сумеет, все же нынешний великий князь достиг того, что по всей русской земле, по всей его державе — одна вера, один вес, одна мера! Только он один и правит! Все, что ни прикажет он, — все исполняется, и все, что запретит, — действительно остается под запретом. Никто ему не перечит: ни духовные, ни миряне. И как долго продержится это правление — ведомо Богу Вседержителю!»

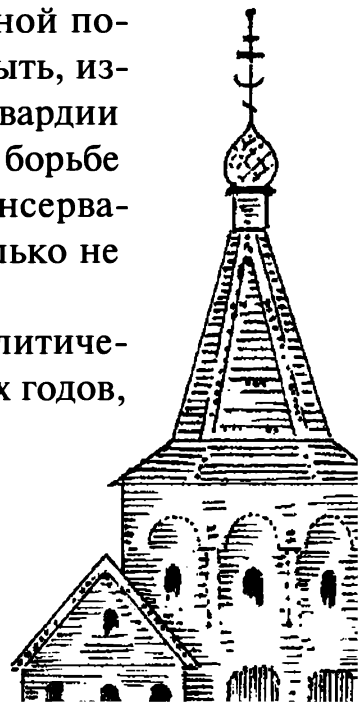
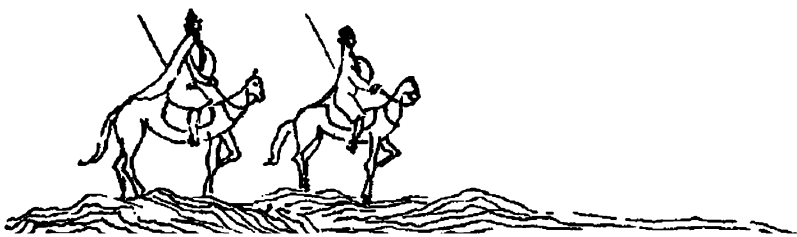
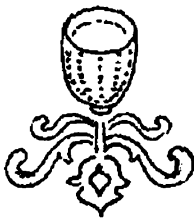


4

Если Штаден и Шлихтинг произвели сильное впечатление на современников своими обвинениями Ивана Грозного в беспощадной, часто бессмысленной жестокости, то историка наших дней их свидетельства убеждают в противоположном: приводимые ими факты объясняют «террор» критической эпохи 1568–1572 годов и показывают, что опасности, окружавшие личность и дело Ивана Грозного, были еще страшнее, политическая атмосфера еще более насыщена изменой, чем это могло казаться по данным ранее известных враждебных московскому царю источников.

Ивана Грозного не приходится обвинять в чрезмерной подозрительности; напротив, его ошибкой была, может быть, излишняя доверчивость по отношению к созданной им гвардии и администрации и недостаточная последовательность в борьбе с той опасностью, которая грозила ему со стороны консервативной и реакционной оппозиции и которую он не только не преувеличивал, а скорее недооценивал.

Два факта, чрезвычайно важных для понимания политических настроений в Москве конца 1560-х и начала 1570-х годов,



выступают перед нами с достаточной ясностью: 1) крупнейший заговор московского боярства и новгородского духовенства на жизнь Ивана IV, готовившийся в конце 1567 года, и 2) завоевательная кампания крымского хана Девлет-Гирея, которая по широте замысла выходила за пределы только случайно удавшегося грабительского налета ордынской конницы.

В свое время сыскное дело по заговору 1567 года пропало, может быть, не без участия боярства, сочувствовавшего казненным заговорщикам, и не сохранилось в летописной традиции, усердно скрывавшей этот крайне невыгодный для оппозиции факт. Его старалось, с другой стороны, скрыть также и правительство от иностранной дипломатии и европейского общественного мнения, чтобы не уронить авторитета царя.

Только разрозненные указания на это дело имеются у заграничных, польских и ливонских историков: теперь они подтверждаются рассказом Штадена и намеками Шлихтинга, хотя у этих писателей есть неясности и ошибки.

У Штадена находим следующие сведения: «... (Челяднин) был вызван в Москву; (здесь) в Москве он был убит и брошен у речки Неглинной в навозную яму. А великий князь вместе со своими опричниками поехал и пожег по всей стране все вотчины, принадлежавшие упомянутому Ивану Петровичу...

Великое горе сотворили они по всей земле! И многие из них (то есть опричников?) были тайно убиты. У земских лопнуло терпение! Они начали совещаться, чтобы избрать великим князем князя Володимира Андреевича, на дочери которого был женат герцог Магнус; а великого князя с его опричниками убить и извести. *Договор был уже подписан* (курсив мой. — Р. В.).

Первыми (боярами) и князьями в земщине были следующие: князь Володимир Андреевич, князь Иван Дмитриевич Бельский, Микита Романович, митрополит Филипп с его епископами — Казанским и Астраханским, Рязанским, Владимирским, Вологодским, Ростовским, (и) Суздальским, Тверским, Полоцким, Новгородским, Нижегородским, Псковским и в Лифляндии Дерптским. Надо думать, что и в Ригу думали посадить епископа... При великом князе в опричнине, говоря коротко, были: князь Афанасий Вяземский, Малюта Скуратов, Алексей Басманов и его сын Федор. Великий князь ушел с большим нарядом; он не знал ничего об этом сговоре и шел к литовской

границе в Порхов. План его был таков: забрать Вильну в Литве, а если нет, так Ригу в Лифляндии...

Князь Володимир Андреевич открыл великому князю заговор и все, что замыслили и готовили земские. Тогда великий князь распустил слух, что он вовсе не хотел идти в Литву или под Ригу, а что он ездил «прохладиться» и осмотреть прародительскую вотчину. На ямских вернулся он обратно в Александрову слободу и приказал переписать земских бояр, которых он хотел убить и истребить при первой же казни... А великий князь продолжал: приказывал приводить к нему бояр одного за другим и убивал их так, как ему вздумается — одного так, другого иначе.

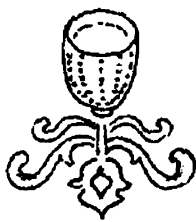
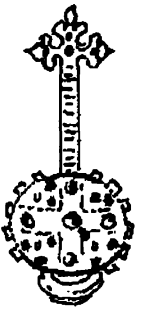
Митрополит Филипп не мог долее молчать ввиду этого... И благодаря этим речам добрый митрополит попал в опалу и до самой смерти должен был сидеть в железных, очень тяжелых цепях...

Затем великий князь отправился из Александровской слободы вместе со всеми опричниками. Все города, большие дороги и монастыри от Слободы до Лифляндии были заняты опричными заставами, как будто бы из-за чумы; так что один город или монастырь ничего не знал о другом».

Нам дана тут картина в высшей степени выразительная. Готовится гражданская война в стране: во главе земщины становится мятежная московская аристократия с княжескими фамилиями впереди и при участии высшего духовенства: «доброму митрополиту Филиппу» все известно, а может быть, даже он сообщник заговора.

Какое характерное противоположение внушительного списка заговорщиков из земщины незначительной группе деятелей опричнины, охраняющих царя!

Но в рассказе Штадена есть все же недомолвки, неточности, есть одно очень важное упущение. Он рассказывает об убийстве Федорова-Челяднина, не приводя никакой мотивации и без всякой связи с заговором, к изображению которого он приступает дальше; между тем по иностранным источникам видно, что этот богатейший вотчинник, располагавший большим количеством вассалов и слуг, стоял *во главе заговора* и был убит по раскрытии заговора слабодушным Владимиром Андреевичем Старицким. Но главное — Штаден ничего не говорит о том, что польский король Сигизмунд II Август через некоего Козлова сговорился



с московскими боярами о выдаче в его руки царя. Как только известие о заговоре дошло до Ивана Грозного, он поспешил вернуться домой, а Сигизмунд должен был распустить свое войско, стоявшее в Радошковицах.

В этом пункте Штадена можно дополнить Шлихтингом, который знает о сговоре польского короля с московскими боярами, но остерегается упоминать о нем, чтобы выдержать свою линию изображения оппозиционного боярства в виде «невинных жертв безумного тиранства», и все-таки в одном месте неожиданно проговаривается: «Если бы польский король не вернулся из Радошковиц и не прекратил войны, то с жизнью и властью тирана все было бы покончено, потому что все его подданные (читай «заговорщики». — *Р. В.*) были в сильной степени преданы польскому королю».

Наконец, к изображению Штадена надо сделать еще одно дополнение: партия московских бояр, духовенства и приказных располагала сторонниками среди высшего духовенства, дьячества и торговцев Новгорода и Пскова, городов, лежавших у литовской границы, ближайших к театру войны. Из случайно сохранившейся Переписной книги Посольского приказа мы узнаем следующее: «Столп, а в нем статейный список из сыского из *изменного* (курсив мой. — *Р. В.*) дела 78-го (1570) году на ноугородцкого архиепискупа на Пимина, и на ноугородцких дьяков, и на подьячих, и на гостей, и на владычных приказных, и на детей боярских, и на подьячих, как они ссылалися к Москве з бояры с Олексеем Басмановым и с сыном ево с Федором, и с казначеем с Микитою с Фуниковым, и с печатником с Иваном Михайловым Висковатого, и с Семеном Васильевым сыном Яковля, да з дьяком с Васильем Степановым, да с Ондреем Васильевым, да со князем Офонасьем Вяземским о здаче Великого Новагорода и Пскова, что архиепископ Пимин хотел с ними Новгород и Псков отдати литовскому королю...»

В последнюю минуту вельможные заговорщики растерялись и стали выдавать друг друга; Владимир Андреевич обманом вытянул список их у Челяднина и отправился с этой бумагой к царю, но это новое предательство не спасло его. Розыск показал, что затевалась измена грандиозная, государственная. Можно ли после этого говорить о капризах Ивана Грозного, подсмеиваться над тем, что он, движимый якобы трусливым

страхом, нагрянул на «мирное население» Новгорода с целым корпусом опричников? Конечно, он должен был проявить величайшую осторожность. Ведь дело шло о крайне опасной для Московской державы, крупнейшей за все царствование Ивана IV измене. И в какой момент она угрожала разразиться? Среди трудностей войны, для которой правительство напрягало все государственные средства, собирало все военные и финансовые силы, требовало от населения наибольшего патриотического одушевления.

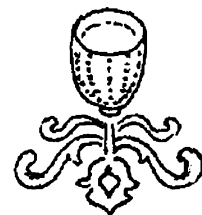
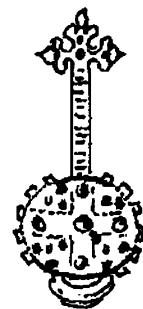
Те историки нашего времени, которые в один голос с оппозицией XVI века стали бы настаивать на беспредметной ярости Ивана Грозного в 1568—1572 годах, должны были бы задуматься над тем, насколько антипатриотично и антигосударственно были в это время настроены высшие классы, значительная часть боярства, духовенства и приказного дьячества: замысел на жизнь царя ведь был теснейше связан с отдачей врагу не только вновь завоеванной территории, но и старых русских земель, больших пространств и ценнейших богатств Московской державы; дело шло о внутреннем подрыве, об интервенции, о разделе великого государства!

Борьба с изменой, гнездившейся преимущественно на северо-западной окраине, длилась три года (1568—1570). Не успел Иван Грозный избавиться от этой опасности, как ему пришлось испытать страшный удар с юга, от крымских татар, и опять тут можно и следует подозревать участие измены: крымский хан действовал по соглашению с Сигизмундом, об этом знали в Москве сторонники польской интервенции, которые все еще не перевелись, несмотря на казни предшествующего трехлетия; они «не доглядели» приближения татар, не сумели, или, лучше сказать, не захотели организовать оборону столицы.

5

Что касается нападений Девлет-Гирея в 1571 и 1572 годах, Штаден сообщает любопытные факты и заставляет нас более серьезно взглянуть на крымский эпизод, прерывающий великую Ливонскую войну как раз посередине.

Прежде всего заслуживает внимания один субъективный мотив в изложении Штадена. Он нигде не называет Ивана



Грозного царем, а упорно зовет московского правителя «великим князем». У Штадена это памфлетная грубость, подчеркнутая тем, что крымский хан последовательно именуется у него «царем». Однако в данном случае тенденция автора, побуждающая его принижать одного и возвышать другого, оказывает нам полезную услугу: она помогает установить равновесие между борющимися силами. Если последующие поколения почти вплоть до наших дней были склонны рассматривать московского властителя как настоящего государя, а крымского хана как представителя разбойничьих полчищ, то Штаден вносит поправку, трактуя обоих соперников как равных по достоинству, одинаковых по сознанию своей власти державцев, как бы «императоров». Вследствие этого приводимые им данные о личности и политике Девлет-Гирея получают особый интерес.

Это был незаурядный правитель, и его «набеги» не были только грабительскими наездами. У него были широкие планы *завоевания всей Московской державы*.

Штаден передает о двух походах Девлет-Гирея в 1571 и 1572 года такие сведения, которых не найдешь у других современных писателей и которые рисуют предприятие Девлет-Гирея как вооружение всего татарского мира против Москвы при поддержке турецкого султана.

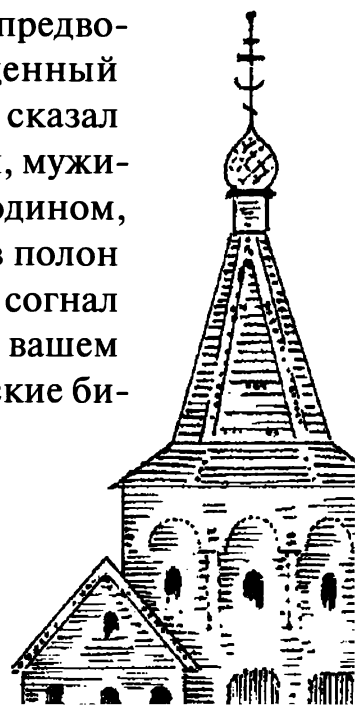
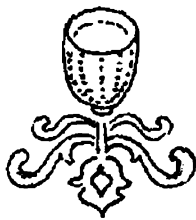
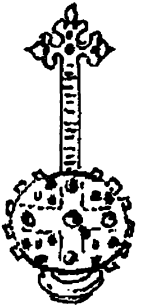
Очень важно то обстоятельство, что в завоеванных в 1552—1556 годах Казани и Астрахани татары далеко не были покорены. В 1571 году «поднялся народ из обоих царств и отправился в страну великого князя, пожег много незащищенных городов и увел с собой великое множество русских полоняников, не считая тех, которые были убиты насмерть. Думают, что это удалось им только потому, что крымский хан спалил великому князю Москву». Присоединившиеся к Девлет-Гирею в том же году ногайские татары были так многочисленны и сильны, что требовали себе при разделе московской добычи равной доли с крымцами.

Сожжение Москвы в результате первого налета Девлет-Гирей считал только подготовкой к новому большому наступлению. О дальнейших намерениях и расчетах хана Штаден рассказывает следующее. Во время похода 1572 года «города и уезды Русской земли — все уже были расписаны и разделены между мурзами,

бывшими при крымском царе; (было определено) — какую кто должен держать. При крымском царе было несколько знатных турок, которые должны были наблюдать за этим: они были посланы турецким султаном по желанию крымского царя. Крымский царь похвалялся перед турецким султаном, что он возьмет всю Русскую землю в течение года, великого князя пленником уведет в Крым и своими мурзами займет Русскую землю». Девлет-Гирей собирался в будущей своей державе, которая должна была включить восстановленные Казань и Астрахань, организовать новую торговую систему. «Он дал своим купцам и многим другим грамоту, чтобы ездили они со своими товарами в Казань и Астрахань и торговали там беспошлинно, ибо *он царь и государь вся Руси*» (курсив мой. — *Р. В.* В немецком подлиннике мы находим слова: *Keiser und Herr über ganz Russland*).

В кампании 1572 года войско, оборонявшее подходы к Москве, было на волосок от гибели. Штаден дает нам по этому поводу весьма драматический рассказ. «Крымский царь держался против нас на другом берегу Оки. Главный же военачальник крымского царя, Дивей-мурза, с большим отрядом переправился далеко от нас через реку, так что все укрепления оказались напрасными. Он подошел к нам с тыла от Серпухова. Тут пошла потеха. И продолжалась она 14 дней и ночей. Один воевода за другим непрерывно бились с ханскими людьми. Если бы у русских не было гуляй-города (подвижной крепости из повозок, запряженных лошадьми. — *Р. В.*), то крымский царь побил бы нас, взял бы в плен и связанными увел бы всех в Крым, а Русская земля была бы его землей».

Положение, однако, продолжало быть очень критическим. По счастливой для русских случайности именно Дивей-мурза попадает в плен. Он держит себя гордо и высокомерно, и в этой повадке отражается уверенность тогдашних татарских предводителей в своем превосходстве над русскими. Приведенный в ставку главнокомандующего, он «дерзко и нахально сказал князю Михаилу Воротынскому и всем воеводам: “Эх, вы, мужичье! Как вы, жалкие, осмелились тягаться с вашим господином, с крымским царем!.. Если бы крымский царь был взят в полон вместо меня, я освободил бы его, а (вас), мужиков, всех согнал бы полоняниками в Крым!.. Я выморил бы вас голодом в вашем гуляй-городе в 5—6 дней”. Ибо он хорошо знал, что русские би-



ли и ели своих лошадей, на которых они должны были выезжать против врага. Русские пали тогда духом».

Как известно, в боях на Оке князь Воротынский в конце концов отразил нападение Девлет-Гирея и прервал этим так удачно начавшуюся для татарского хана кампанию. Но эта победа не могла бы ликвидировать крымскую опасность, если бы не произошли большие неожиданные события начала 1570-х годов. В 1571 году Дон Хуан Австрийский, во главе испанско-венецанского флота, уничтожил при Лепанто флот турецкий; туркам пришлось оберегать свои западно-африканские владения и защищать свое положение на Средиземном море; им было не до того, чтобы заниматься еще Востоком и поддерживать предприятия крымского хана, а без их помощи и руководства восточно-мусульманский мир не способен был к организованному натиску на Москву.

Штаден дает нам материал, чтобы мы могли оценить по-настоящему важность событий, заполняющих 1571–1572 годы, — эпоху крымской опасности. К данным, заключающимся в его рассказе, мы прибавим еще один уже раньше бывший известным факт: на сторону крымского хана перешел кабардинский князь Темрюк, тесть царя, отец умершей в 1569 году царицы Марьи Темрюковны. Очевидно, это был момент, когда международное положение московского правительства пошатнулось, союзники его и вассалы стали от него отступать.

Понятным становится возникновение в Москве новой паники, новый прилив розысков по делам измены, новое усиление опал и казней; между прочим разъясняется и загадочная гибель Михаила Темрюковича, брата царицы Марьи, одно время находившегося в большой милости у Ивана IV.

6

В освещении наиболее темного периода эпохи Ивана Грозного — конца 60-х и начала 70-х годов XVI века — выдаются работы таких ученых, как С. Б. Веселовский²⁰, Б. Д. Греков, И. И. Полосин, П. А. Садилов²¹. В моем кратком очерке я позволю себе сослаться только на главнейшие данные и выводы в работах названных исследователей.

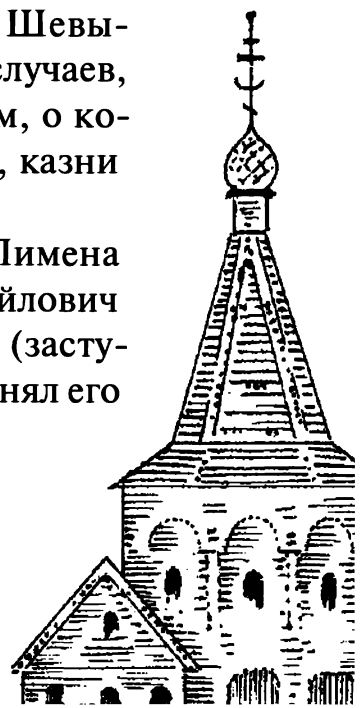
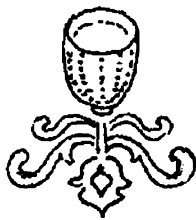
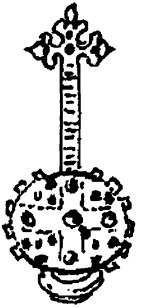
С. Б. Веселовский дал нам в своей работе «Синодик опальных царя Ивана, как исторический источник» ценнейшее исследо-

вание по истории внутреннего порядка в Московской державе середины XVI века. Перед нами проходит пестрая вереница служилых людей всех разрядов от княжеских фамилий до простых детей боярских и представителей еще более низкого звания; мы узнаем служебную карьеру множества лиц, которые участвовали в походах и администрации 50-х, 60-х и начала 70-х годов, и которых так или иначе постигла опала царя Ивана IV. Исследователь прибавил к именам, упомянутым в списках синодика, разосланного Иваном IV по монастырям под конец царствования, еще имена тех, кто назван в «Сказаниях» Курбского, в записках Шлихтинга, в летописях и книгах приказов. Далее он проделал огромную работу генеалогического характера, извлекая, где только возможно было, сведения о служебной карьере казненного или убитого и его родственников и объясняя судьбу очень большой части военослужащих в Московской державе от начала XVI века до середины 70-х годов. Таким образом, в его исследовании о синодиках мы имеем как бы новый документ — приведенный в систему справочника сборник данных по истории военной и гражданской администрации Московской державы.

По вопросу, который нас особенно занимает в данную минуту, а именно, каковы были размеры опал и казней в течение 1565—1572 годов и по каким мотивам совершались эти расправы, исследователь дает нам очень ценные сведения.

Мы читаем у него следующую выписку из так называемой Александро-Невской летописи в рассказе об учреждении опричнины: «Тое же зимы 1565 г. февраля месяца, повеле царь и великий князь казнить смертною казнью за великие и изменные (курсив мой. — Р. В.) дела боярина князя Александра Борисовича Горбатова да сына его князя Петра, да окольного Петра Петрова сына Головина, да князя Ивана княж Иванова сына Сухова Кашина, да кн. Дмитрия княж Андреева сына Шевырева». Обвинение в «измене» типично для целого ряда случаев, собственно говоря, оно относится почти ко всем лицам, о которых исследователь мог найти указание мотива ареста, казни или убийства.

По «изменному делу» новгородского архиепископа Пимена и других обвиняется знаменитый дипломат Иван Михайлович Висковатый; по рассказу Шлихтинга, дьяк Щелкалов (заступивший место Висковатого в Посольском приказе) обвинял его



в «вероломстве и обмане», ссылаясь на его тайную переписку с королем польским, турецким султаном и крымским ханом. Но если в случае с Висковатым обвинение было основано на подозрениях и, может быть, на доносах, то вот реальный поступок — когда обвиняемый в измене арестован с поличным на месте преступления: по рассказу того же Шлихтинга, князь Горинский был схвачен на пути в пределы Литвы и посажен на кол; вместе с ним погибло (было повешено) около 50 человек (надо думать, что это была свита князя, его слуги и холопы).

Далее в исследовании о синодиках мы находим указание на ряд случаев, когда подвергаются казни очень видные и заслуженные люди или за попытку бежать, или за бегство кого-либо из родственников.

Все к той же категории сообщников побега или приготовления к таковому принадлежат те лица (их довольно много), которые дали в свое время поруку за вельможных князей Мстиславских, Пронских, Прозоровских и др., нарушивших свое обещание «служить верой и правдой московскому государю».

Весьма естественно, что в числе изменников оказывается уличенный во взятках администратор по военному транспорту. Шлихтинг рассказывает: «Вернувшись из Великих Лук, тиран приказал своим убийцам из опричнины рассечь на куски канцлера Казарина Дубровского. Те, вторгшись в его дом, рассекли его, сидевшего совершенно безбоязненно с двумя сыновьями, как самого, так и сыновей, и куски трупов бросили в находившийся при доме колодезь. Причиной же столь свирепого и жестокого убийства было не что иное, как обвинение Казарина обозниками и подводчиками в том, что он обычно брал подарки и равным образом устраивал так, что перевозка пушек выпадала на долю возчиков самого великого князя, а не воинов или графов». Здесь С. Б. Веселовский опорочивает достоверность искателя ужасов Шлихтинга: изобличенного в злоупотреблениях по военному транспорту Казарина Дубровского исполнители казни застали вовсе не мирно сидящим в семье своей за столом, а во главе пришедших к нему «на пособь», то есть на помощь, вооруженных слуг и родственников, которые оказали опричникам сопротивление; вину Казарина исследователь синодика считает более серьезной, чем злоупотребления в расплате с перевозчиками пушек.

Бегство в Литву, и одиночное, и целыми группами, не только обыкновенных служилых людей, но и знатных лиц, командиров и администраторов, и притом во время войны — это ли не было тяжкое государственное преступление, с которым приходилось бороться Ивану Грозному, зияющая рана в народном организме, стихийная беда, на которую царь реагировал опалами и казнями, новым и новым «перебором людишек», отставкой одних слуг, приближением других!

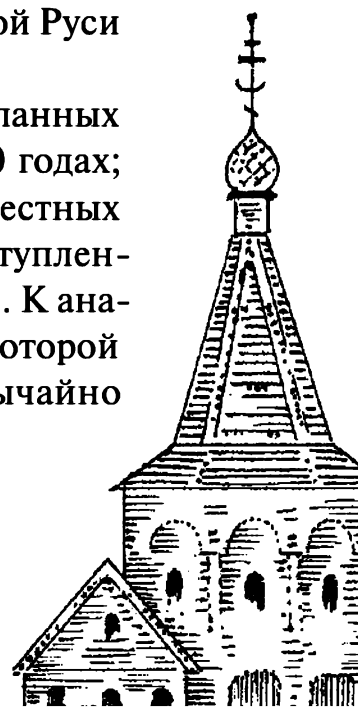
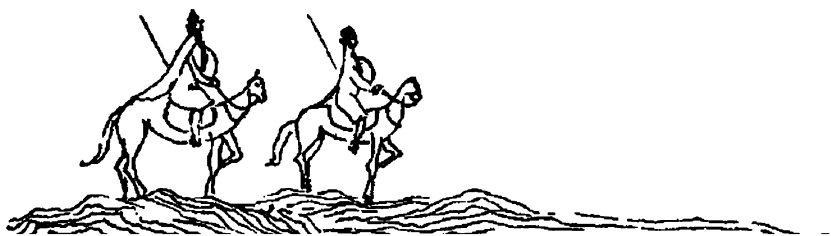
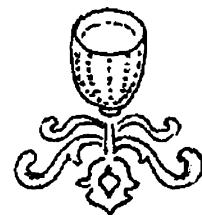
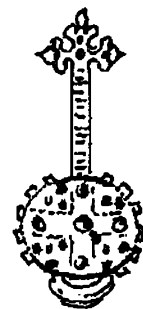
Здесь были, может быть, преувеличения, была погоня за изменниками мнимыми, были допущены личные интриги конкурентов, как, например, в деле Висковатого, которого, по-видимому, вытеснил его соперник по службе Щелкалов, сразу выступивший его обвинителем.

С другой стороны, однако, надо признать, что в борьбе с изменой Иван Грозный недооценивал грозившей ему опасности, не замечал в своем окружении подлинных предателей. Он не подозревал, сколько у него осталось слуг, подобных Штадену, у которого в голове уже слагались не только мысли о бегстве за границу, но и более широкие планы интервенции, коалиционного нападения на Московию, для осуществления чего он втихомолку собирал нужные сведения.

7

Помимо нагляднейших фактов реальной измены были еще другие явления скрытого неуловимого ухода от государственной службы, уклонения от работы на свою страну и свой народ. Об одном из видов такого «внутреннего бегства» мы получаем яркое представление из замечательного исследования С.Б. Веселовского «О монастырском землевладении Московской Руси во второй половине XVI века».

Исследователь анализировал 657 случаев вкладов, сделанных в большие монастыри Замосковного края в 1552—1590 годах; вклады представляют пожертвования вотчинных и поместных земель со стороны военнослужащих; большая часть уступленных владений — среднего размера, от 200 до 500 десятин. К анализу приложена искусно составленная диаграмма, из которой видно, что кривая монастырских приобретений необычайно



поднялась в 1569–1578 годы и что рекордным моментом в этом отношении является 1571 год.

Какие можно предположить мотивы этого бегства служилых землевладельцев под покровительство монастырей?

Известную роль мог сыграть религиозный расчет. Вклад в монастырь какого бы то ни было имущества, движимого или недвижимого, обуславливался со стороны монахов обязательством отслуживать поминание за упокой души, а часто и давать место для погребения вкладчика и членов его семьи. В годы опал и казней, внезапных роковых оборотов судьбы среди служащих людей могла усилиться потребность обеспечить себе за стенами монастыря могилу и сопроводительные средства в далекий путь за гробом.

Но, конечно, главные основания для лихорадочной поспешности и усердия в деле одаривания монастырей были практического характера.

Под сень богатейших привилегированных обитателей, пользовавшихся иммунитетом, прибегали или разоренные владельцы, или такие вотчинники, которые находились под угрозой полной утраты своих владений и старались, путем уступки монастырю, спасти хотя бы часть своего имущества.

В значительном числе случаев дарение было полупродажей: монастырь давал вкладчику «сдачу» деньгами, а суммы эти шли часто на уплату долгов вкладчика, на приданое его дочерям и т. п. Во многих случаях вкладчик обуславливал свое дарение правом сохранить пожизненное пользование подаренной землей для себя и для своей семьи.

Замечателен случай с богатейшим боярином Иваном Петровичем Федоровым-Челядниным, главою заговора 1567 года. Задолго до катастрофы, учитывая возрастающее недоверие и вражду к нему царя, он роздал значительную часть своих вотчин по большим монастырям с очевидною целью сохранить известную связь с большими долями своего имущества, раскинутого в разных областях державы. Правда, он не достиг своей цели; в пылу гнева Грозный, после убийства Челяднина, отобрал все его владения, однако через пять лет вернул часть конфискованных вотчин семье казненного.

Различные мотивы заставляли служилых землевладельцев прибегать к операции вкладов в монастыри, но с точки зрения

государственных интересов это было дело антипатриотическое, это была попытка спрятать землю от государственного аппарата, что означало сокращение оборонительных военных и финансовых средств страны: землевладение монастырей, которые благодаря своим привилегиям лишь в слабой мере принимали участие в военной организации, возрастало за счет землевладельческого военнообязанного класса.

8

Среди казненных за измену и по другим причинам было много опричников, и притом людей видных. По рассказу Штадена выходит, что Иван Грозный обратил свой гнев на недавних фаворитов и вернул свое расположение тем, кто был раньше под его опалой. В «Записках о Московии» рассказывается: «Великий князь принялся расправляться с начальными людьми из опричнины. Князь Афанасий Вяземский умер в посаде Городецком в железных оковах, Алексей (Басманов) и его сын (Федор), с которым великий князь предавался разврату, были убиты. Малюта Скуратов был убит в Лифляндии под Вейсенштейном: этот был первым в курятнике! По указу великого князя его поминают в церквах и до днесь. Князь Михаил сын (Темрюка) из Черкасской земли, шурин великого князя, стрельцами был насмерть зарублен топорами и алебардами. Князь Василий Темкин был утоплен. Иван Зобатый был убит. Петр Suisse (может быть, Щенятев?) — повешен на собственных воротах... Князь Андрей Овцын — повешен в опричнине на Арбатской улице; вместе с ним была повешена живая овца. Маршалк Булат хотел сосватать свою сестру за великого князя и был убит, а сестра его изнасилована 500 стрельцами. Стрелецкий голова Курака Унковский был убит и спущен под лед...»

Рассказав о сожжении Москвы в 1571 году, когда сгорел и опричный двор, Штаден добавляет: «С этим пришел опричнине конец и никто не смел поминать опричнину под следующей угрозой: (виновного) обнажали по пояс и били кнутом на торгу. Опричники должны были возратить земским их вотчины. И все земские, кто (только) оставался еще в живых, получили свои вотчины, ограбленные и запустошенные опричниками».



Те историки, которые считают опричнину капризной выдумкой Грозного, согласны принять объяснение, данное Штаденом, в буквальном смысле слова. Они думают, что благоволение Грозного к опричнине, его любимому детищу, пошатнулось с конца 1570 года в связи с новгородским делом, когда обнаружилась измена иных из очень видных опричников; что недовольство Грозного опричниной усилилось после нашествия крымского хана в 1571 году, которого не сумела отбить опричная армия. Они приходят к тому заключению, что Грозный не только разочаровался, но и раскаялся в создании опричнины, что, вслед за устранением ее наиболее ненавистных форм, он заменил ее в 1572 году совершенно иным, новым учреждением под названием «двора».

Можно ли последовать за учеными, которые высказывают столь решительное суждение и опорочивают, таким образом, во-первых, реформу 1565 года, создавшую разделение державы на опричнину и земщину, а во-вторых, политику Грозного в целом, представляя ее в виде резких, судорожных порывов, совершаемых под давлением «распаленного гнева» и тому подобных мотивов?

Тут все зависит от того, как понимать «опричнину». Если разуметь под этим термином разнузданные бесчинства опричников, то, без сомнения, в течение 1570–1572 годов ей был положен конец; таким людям, как ловкий иностранец, бандит и спекулянт Штаден, не стало места на службе в «государевом уделе». Произошли массовые отставки, и этот возобновленный «перебор людишек» дал совсем иные результаты, чем в 1565 году. Но именно только в пересмотре личного состава и заключалась вся перемена. Никакой реформы, ни стратегической, ни административной, ни земельной, не произошло в 1572 году. Учреждение, созданное в 1565 году, развившее дальше военную реформу 1550 года, продолжало существовать и после 1572 года, развивая намеченные раньше преобразования.

Эту непрерывность развития превосходно показал П.А. Садиков в своем исследовании «Московские приказы-«четверти» во времена опричнины». Если с легкой руки представителей княжеской и боярской оппозиции историки XIX века любили говорить о беспорядочном ограблении Иваном Грозным и его опричниками всего Замосковского края, то историк нашего вре-

мени противопоставляет этим голословным утверждениям документально обоснованные факты, которые показывают, что в администрации опричнины вырабатывалась все время обдуманная финансовая и аграрная система. П.А. Садиков весьма высоко оценивает *конструктивную* работу, совершавшуюся в пределах опричной территории. Он говорит по этому поводу: «Врезавшись клином в толщу московской территории, “государев удел” должен был, по мысли Грозного, не только явиться средством для решительной борьбы с феодальными князьями и боярством путем перетасовки их земельных владений, но и организующим ядром в создании возможностей для серьезной борьбы против врагов на внешнем фронте».

Из богатого содержания этого исследования я позволю себе привести одну деталь. Мы узнаем, что разделению всей территории страны на опричную и земскую части предшествовали тщательные хозяйственно-географические обследования, предпринимавшиеся царем лично. «Начиная с 1563 г. Иван усердно знакомится с жизнью и бытом провинции. В мае этого года он объехал Оболенск, Калугу, Перемышль, Одоев старый, Белев, Козельск, Воротынский — все старые “удельные” гнезда князей Одоевских, Оболенских, Белевских, Воротынских, Перемышльских, Козельских. В этих уездах Грозный сам наблюдал и “великие отчины” княжат, и свои дворцовые села. Осенью того же года, с 21 сентября по 1 ноября, он побывал в гостях у кн. Владимира Андреевича — в Можайске и Старице, причем объехал и дворцовые села князя Владимира; вместе с последним Иван затем переехал в другие его вотчины, Верею и Вышгород, и здесь также осмотрел княжеские дворцовые села». Вернувшись в Москву, царь сейчас же «выменивает» у Владимира Андреевича особенно ему понравившийся Вышгород с уездом и в Можайском уезде несколько волостей. «На следующий год, 7 мая, царь вновь с семьей отправился к Троице... В этот свой “объезд”, длившийся до 8 июня, он побывал также в Переяславле и “в селах своих, в Слободе, в Озерецком, да в Можайску и в Можайском уезде в новых селах и в Вяземском уезде в Круговых селах, в Верее, в Вышгороде”. Наконец, осенью 1564 г. Грозный довольно долго прожил в Суздале, откуда вернулся “на спех”, получив тревожные сведения о набеге татар на Рязань».



Подводя итог этим поездкам, П.А. Садиков говорит: «Когда вслед затем внешние и внутренние политические обстоятельства сложились так, что спешно пришлось выделять для помещения образуемого “опричного” войска новую территорию, то в “государев удел” в первую же очередь поступили и почти все осмотренные Грозным в 1563–1564 гг. местности...»

Публикации записок о Московии Штадена и Шлихтинга лишь на немногих русских историков произвели впечатление нового материала для осуждения Грозного как нервического капризного тирана, а опричнины как системы террора и ограбления большей части государства. Большинство ученых реагировало на эти старые обвинения, выплывшие наружу лишь через три с половиной столетия, новыми исследованиями, которые показали *реформаторский*, конструктивный характер учреждений, называвшихся опричниной в течение семи лет (1565–1572) и нисколько не оборвавшихся в 1572 году, когда произошла лишь перемена их наименования.

В 1570–1572 годах происходила чистка личного состава учрежденного в 1565 году «государева удела», и в связи с этим устранено было ставшее непопулярным название его опричниной. Борьба с внутренним врагом оказалась успешной; оттого ослабели казни и опалы. Территории учрежденного в 1565 году «государева удела» предстояло в дальнейшем расширяться, а его администрации разрастаться, ввиду того, что увеличивались трудности внешней войны.

П.А. Садиков в статьях «Из истории опричнины XVI века» (1940) и «Московские приказы-“четверти” во времена опричнины» и И.И. Полосин в сочинении «Что такое опричнина?» (1942) показали наглядно эту эволюцию: по мнению названных исследователей, создание «государева удела» вовсе не было изоляцией царского двора от остального государства, а составляло выделение из державы важнейшей группы земель для того, чтобы здесь глава государства, не стесняясь традиционными приемами администрации, мог развить на просторе новые, более гибкие и широкие формы управления, применить новые способы организации военной и финансовой системы; выработывавшееся в «государевом уделе» устройство должно было, по мысли реформатора, служить образцом и школой для земщины, которая только таким обходным путем могла быть втянута в новое государственное хозяйство.

VI. Дипломатия Ивана Грозного

В одном из писем к английской королеве Сигизмунд II, считавший себя особенным мастером дипломатического дела, говорит об опасности проникновения в Москву инженеров, орудий и технических сведений: «Ясно, что мы до сих пор побеждали царя только потому, что ему было неизвестно военное искусство, дипломатические приемы и уловки».

В этих словах заключалось большое незнание Москвы и сильное преувеличение ее некультурности.

1

Европейские наблюдатели любят посмеяться над устарелыми, наивно «восточными» формами московского церемониала. Например, Герберштейн описывает встречи иностранных послов с московскими уполномоченными, в которых вся суть заключалась в том, чтобы не поклониться раньше и не умалить этим достоинства своего государя. Не надо забывать, однако, что и на Западе очень долго придавали значение подобным символическим состязаниям в области этикета. Еще в 1697 году при заключении мира между Людовиком XIV и австро-английской коалицией послы старались одновременно вскочить на мосты, ведущие с разных сторон к замку Рейсвейку, для того, чтобы малейшим опозданием не признать своего поражения и не нанести ущерба достоинству своей страны и правительства.

На первый взгляд может казаться одной из «азиатских» или «византийских» вычурностей Москвы таблица распределения держав на равные Московскому царству и ниже его стоящие. В Москве очень строго различали, кому царь может позволить считаться «братом» и кому должен в этом почете отказать. В середине XVI века «государями-братьями» считались турецкий султан, цесарь германский, король польский и крымский хан. За шведским королем Москва не признает равного с собою положения, тем более что до 1523 года, когда воцарилась династия Ваза, в Швеции, по московской терминологии, были не настоящие монархи, а «обдержатели» (то есть регенты). При появлении в кругу сношений Москвы какой-либо новой держа-



вы производилось внимательное исследование данного случая и особая оценка власти иностранного государя в меру его достоинства. Когда при Василии III пришло из Индии посольство от Бабура, в Москве не решились приветствовать султана далекой земли «братом государя», потому что неизвестно, кто он — государь или «урядник».

Мы будем, однако, неправы, если увидим во всех этих различиях пустую придирчивость московского правительства: перед нами, в сущности, то же понятие, что на конгрессах XIX века — разделение держав на первостепенные и второстепенные; Москва XVI века лишь отметила эту разницу своеобразными терминами эпохи. Московские дипломаты во всяком случае не чувствовали смущения перед европейцами, — напротив, любили брать на себя роль критиков по отношению к иностранным державам, забывая приезжавших в Москву послов текстами договоров и ссылками на исторические хроники, наконец принимать иронический тон и ловить противника на противоречиях.

В этом отношении характерны речи и выступления Висковатого, дьяка-печатника (канцлера, как его зовут иностранцы), получившего широкую популярность за границей. Руссов, составитель ливонской хроники, вообще очень враждебный русским, говорит о нем: «Иван Михайлович Висковатый — отличнейший человек, подобного которому не было в то время в Москве: его уму и искусству, как московита, ничему не учившегося, очень удивлялись иностранные послы». В 1559 году Висковатый поучает датское посольство, представившее Москве ряд предложений по делам Ливонского ордена: Дания не должна была принимать жалобы ливонцев, подданных московского государя, поскольку, обратившись к иностранным государствам, ливонцы уподобились неверным слугам, которые, укравши ночью у своего господина часть его имущества, продают ее другому. Московские государи, говорил далее дьяк, не привыкли уступать кому бы то ни было покоренные ими земли; они готовы на союз, но только не для того, чтобы жертвовать своими приобретениями.

Не менее своеобразно отвечают в 1562 году московские бояре литовским послам, связывая теорию единства Русской земли и право московских государей на всю отчину с учением об их неограниченной власти. «Только вспомнить старину, как

гетманы литовские Рогволодовичей, Давида да Мовколда, на литовское княжество взяли и как великому князю Мстиславу Владимировичу, сыну Мономаха, к Киеву дань давали, то не только что *русская, земля вся, но и литовская земля вся* — вотчины государя нашего; потому что, начиная от великого государя Владимира, просветившего русскую землю святым крещением, до нынешнего великого государя нашего, наши государи — самодержцы, никем не посажены на своих государствах; а ваши государи — посаженные государи; так который крепче — вотчинный ли государь, или посаженный — сами рассудите!» (курсив мой. — *Р. В.*).

Бояре не ограничиваются летописной справкой о старинных русских князьях; они предлагают литовским послам поглядеть в *литовские хроники* и приводят оттуда очень подробные и малопочетные для литовцев сведения о ссорах Ягайла и Витовта, о том, как эти князья в своих усобицах обращались к вмешательству немцев.

При Иване IV, опять как во времена его деда, основателя державы, Москва поражает иностранные дворы своим дипломатическим мастерством, своими несокрушимо настойчивыми, наблюдательными, изворотливыми дельцами. Первый из послов, отправленных в Англию для заключения договора, Иван Непея, показался англичанам до известной степени типом хитрого, неуловимого, себе на уме русского человека. Члены торговой компании, образовавшейся после возвращения Ченслора для промышленных сношений с вновь открытым краем, предупреждали агентов, отправившихся в Россию, что московский посол крайне недоверчив, все время настороже, ожидая от всех обмана, а потому они советуют быть осторожными в обращении с ним и другими русскими, «устанавливать точно торги и делать писанные документы, ибо они — тонкий народ, не всегда говорят правду и думают, что другие люди им подобны».

Большую гибкость и ловкость проявляли те послы Москвы, которым приходилось вести дела при мусульманских дворах. Таков Афанасий Нагой, находившийся в Крыму в 1560-х годах, когда так важно было, среди разгара Ливонской войны, сдерживать воинственный пыл татар, готовых то поддаться подкупу со стороны Литвы и броситься на Москву, то идти вместе с вой-



сками султана на Астрахань. Таковы послы, отправлявшиеся в Константинополь: Новосильцев, посланный в 1571 году, чтобы, под предлогом поздравления Селима II с восшествием на престол, уверить султана в том, что московский царь не притесняет мусульман в своем государстве, и таким образом удержать турок от совместных действий с крымскими татарами на Нижней Волге; Кузьминский, преемник Новосильцева, на долю которого выпала еще более трудная миссия предложить султану дружбу и тесный союз с московским государем для того, чтобы идти заодно против цесаря римского, короля польского и (чешского) и французского и всех государей «италийских» (то есть вообще западноевропейских).

2

Среди московской дипломатической школы в качестве первоклассного таланта выделяется сам Иван IV. Международные дела он считал своей настоящей сферой; в этой области он чувствовал себя выше всех соперников. Недаром Грозный любил выступать лично в дипломатических переговорах, давать иностранным послам длиннейшие аудиенции, засыпать их учеными ссылками, завязывать с ними споры, задавать им трудные или неожиданные вопросы; он чувствовал себя в таких случаях настоящим артистом по призванию. В смысле непосредственного ведения иностранной политики вплоть до выступления в качестве оратора и полемиста, Иван IV занимает единственное место среди государей того времени.

В политическом таланте Грозного сказывается его бурная, крутая натура, легко увлекающая его к резкостям, к заносчивости. Он никогда не может отказать себе в удовольствии посмеяться над противником, отметить злым словечком какую-нибудь слабую сторону его. Ирония московских дипломатов обращается у него в дерзкие нападки. Отсюда совсем уже не дипломатичные, а иногда бестактные его выходки по отношению к государям второстепенным или пользовавшимся ограниченной властью.

Ему представляется «удивительным», что Сигизмунд II назвал шведского короля «братом»: разве не известно, что дом Ваза, правящий в Швеции, происходит от водовоза? Обращаясь

непосредственно к королю Юхану III, он выискивает всевозможные доводы для умаления шведской короны, между прочим, упирает в одно место, вычитанное им в договорной грамоте Густава Ваза, отца Юхана: «Архиепископу упсальскому в том руку дать за все королевство шведское». По этому поводу Грозный пишет: «Если бы у вас совершенное королевство было, то отцу твоему архиепископ и советники и вся земля в товарищах не были бы; землю к великим государям не приписывают; послы не от одного отца твоего, но от всего королевства шведского, а отец твой в головах, точно староста в волости».

Этот беспокойно-назойливый тон выдерживается не только в отношении Швеции, которую в Москве вообще не принято было щадить. К дружественным дворам Грозный нередко применял те же приемы насмешливого пренебрежения. Уловив ограниченный характер английской монархии, Иван IV пишет королеве Елизавете бесцеремонно: «Мимо тебя люди владеют... мужики торговые о государских головах не смотрят, ищут своих торговых прибытков».

Заносчивость Грозного стала отражаться в официальных нотах, посылавшихся иностранным державам, как только он сам начал заправлять политикой. В дипломатической переписке с Данией личное появление Ивана IV во главе дел ознаменовалось поразительным случаем. Со времени Ивана III московские государи называли датского короля «братом» своим, и вдруг в 1558 году Шуйский и бояре находят нужным упрекнуть короля за то, что он именует «такого православного царя всея Руси самодержца братом; а преж всего такой ссылки не бывало». Тому, кто будет читать подряд переписку Москвы с Данией, нетрудно заметить, что московские бояре заведомо говорят неправду; конечно, в Москве ничего не запомнили, ни в чем не сбились, а просто царь решил переменить тон с Данией и вести себя с ней более высокомерно.

Но тот же Грозный мог легко превратиться в очаровательного собеседника, ласкового миротворца, друга свободы и вольностей, мог развернуть широкое понимание привычек и потребностей города или государства, с которым приходил в соприкосновение. В его богато одаренной натуре уживались, вернее сказать, бурно сталкивались очень противоречивые качества, чувства и понятия.



Как ни тяжел был кризис 1570–1571 годов для Москвы, Грозный не только не отказался от общей цели западной политики, но и не ослабил своего натиска. Вслед за разгромом Новгорода весной того же 1570 года он уже готовит новый оригинальный план овладения Ливонией, вырабатывает своего рода политическое изобретение.

Дело в том, что непосредственное управление русских Ливонией, сопровождавшееся появлением православного духовенства, слишком противоречило всем привычкам местного населения к автономии. Надо почитать современную войну хронику Руссова, чтобы видеть, в какой мере раздражали ливонских обывателей московские порядки, насколько приятнее им были шведы с их безразличным отношением к администрации. С другой стороны, Москве приходилось продолжать войну за приморские города — Ревель, Ригу и др.; следовательно, надо было располагать свободой для передвижения военных масс. Грозный решил, что выходом из затруднений будет создание в Ливонии особого государства, зависящего от Москвы, при короле, имя и происхождение которого послужит гарантией сохранения всех вольностей.

Воспользовавшись давнишней дружбой с Данией, Грозный посадил в Ливонии в качестве вассала (по московской терминологии «голдовника») датского принца Магнуса. Со вновь назначенным королем был заключен обстоятельный договор, в силу которого Иван IV отступился от прямого управления Ливонией; за Магнусом, его наследниками и всеми жителями страны были признаны прежние права и привилегии, суды и обычаи, а также свободное исповедание лютеранства. Ливонцам открывалась свободная и беспошлинная торговля в Московском государстве, за что, в свою очередь, они обязывались свободно пропускать в Москву иностранных купцов со всякого рода товарами, а также художников, ремесленников и техников.

Для царя самыми выгодными статьями договора были военные условия. Новый ливонский правитель должен был помочь в овладении Ревелем и Ригой: в договоре предусматривалось, что если эти города не признают Магнуса королем добровольно, царь их к этому принудит; во исполнение этого обещания

московский государь брал на свое содержание все военные силы, которые Магнус приведет ему на помощь, и подчинял его командованию московских воевод, в случае совместного с русскими ведения войны.

Свой военно-политический план Грозный обставил большой торжественностью и блеском: пышные празднества сопровождали объявление Магнуса королем Ливонии и женихом царской племянницы. Чтобы показать свое расположение к Ливонии и ее новому правителю, Грозный отпустил с ним на родину множество пленных немцев, сидевших по тюрьмам и сосланных на поселение во внутренние области Москвы.

Всеми этими мерами царь действительно достиг благоприятного впечатления. Руссов говорит: «Очень многие тогда радовались и ликовали в Ливонии, будучи вполне уверены, что москвит уступит и передаст Магнусу все взятое им в Ливонии. Немецкая свита Магнуса признала его наилучшим и христианским господином, который возведет их до великих почестей и снова возвратит им отечество. Тогда многие во всей Ливонии стали относиться благосклонно к герцогу Магнусу и не знали лучшего утешения и помощи на земле для Ливонии».

Грозный поспешил использовать новосозданное орудие борьбы за Ливонию. Не успели в Москве провозгласить Магнуса королем, как уже царь послал его на осаду Ревеля с 25-тысячной армией; позднее подошло, как выражается Руссов, «еще одно сильное войско русских, называвшееся опричниками». Магнус простоял под Ревелем почти семь месяцев, громил крепостные стены русской тяжелой артиллерией, но не смог взять город, которому шведские корабли подвозили припасы и снаряды.

Отступление от Ревеля не остановило энергии Грозного. В 1571 году, тотчас же за нашествием Девлет-Гирея, мы его опять видим в Новгороде, полкам приказано собираться в Орешке у Ладожского озера и у Дерпта, чтобы вести войну со шведами в Финляндии и Эстонии. В следующем году (1572) он снова, как в 1563 году под Полоцком, становится во главе командования и бросает в бой лучшие отряды своих опричников. К этому времени относится своеобразный план вербовки для Москвы военных наемников, обученных европейскому бою.

Материал для наемнических отрядов могла теперь доставить сама Ливония, где, благодаря непрерывному военному положе-



нию, разоренные люди и отвыкшая от работы молодежь охотно принимались за солдатское ремесло. Типичную фигуру того времени представляет и первый в Москве предводитель наемников, которому Грозный поручил вербовку, Юрген Фаренсбах (или Юрий Францбек, как его окрестили русские): ливонский дворянин, совсем еще молодой, но успевший побывать на службе чуть ли не во всех европейских странах: в Швеции, Франции, Нидерландах, Австрии. Фаренсбах попал в плен к русским и прямо из тюрьмы получил свое новое назначение; он набрал семитысячный отряд ливонских и чужеземных так называемых гофлейтов (буквально «дворовых людей») и впервые показал свое искусство против татар на Оке, где, под начальством Воротынского, удалось отразить новое нападение Девлет-Гирея.

Руссов замечает с огорчением по поводу успеха вербовки Фаренебаха: «Во веки веков прежде не слышно было, чтобы ливонцы и чужеземцы так приставали к москвиту, как в эти годы... Добрые старые ливонцы открещивались от москвитя, но много молодых, также и старых ливонцев перешли на его сторону, несмотря на то, что москвит без устали домогался их отечества и публично говорил, что не оставит Ливонии в покое до тех пор, пока не вырвет с корнем всю сорную траву, то есть всех ливонских дворян и немцев. Несмотря на то, многие ливонцы по своей слепоте и неразумию всеми силами старались, чтобы москвит как можно скорее и легче уничтожил их».

Успехи Ивана IV в Ливонии в 1572—1573 годах объясняются полным бездействием Польши и Литвы, где со смертью Сигизмунда II должна была прекратиться соединявшая оба государства династия Ягеллонов. С 1571 года царь готовится к войне с Ливонией и восстанавливает разрушенную врагом крепость Таурус, стоявшую против Вильны, — старый испытанный Московью способ подготовки кампании, применявшийся со времен Ивана III к Нарве, Казани и Полоцку. Между тем кончина Сигизмунда II в 1572 году поставила на очередь вопрос об избрании короля. Для польско-литовской аристократии явился удобный мотив, чтобы предложить Ивану IV остановить враждебные действия: паны заговорили о возможности объединения обеих держав, польско-литовской и московской, под одной династией.

В свою очередь, для Грозного открылся повод развить большую дипломатическую кампанию с целью окончательного закрепления за собой Ливонии.

4

Два раза возобновлялись переговоры между Речью Посполитой и Москвой: в 1573 году, по смерти Сигизмунда, и в 1575 году, когда, вследствие бегства французского принца Генриха Валуа, избранного польским королем, вновь наступило бескоролье.

Оба раза партии в Польше и Литве разделялись очень определенно на сторонников и противников царя московского. За него была большая часть шляхты, затем все население нешляхетское, особенно крестьяне, как сообщает венецианский посланник — наблюдатель, внимательный и острый. Тяготение к московскому царю средних и низших классов общества, не имевших участия в выборах и сеймах, впрочем, не имело политического значения. Против кандидатуры царя была высшая аристократия, и, так как в ее руках находилось ведение переговоров, она легко могла расстраивать все надежды и расчеты сторонников Ивана IV.

В переговорах московского двора с правительством польско-литовского бескоролья выступает во всем блеске дипломатический и ораторский талант Грозного. Литовским послам он любит давать личные аудиенции, во время которых произносит длинные речи, делает интересные признания, придумывает оправдания своей политике.

Послу Воропаю, явившемуся по смерти Сигизмунда, он говорил с большим подъемом: «Ваши паны польские и литовские теперь без главы: потому что, хотя в короне польской и великом княжестве литовском и много голов, однако одной доброй головы нет, которая бы всем управляла, к которой бы все вы могли прибегать, как потоки или воды к морю стекают... Если ваши паны, будучи теперь без государя, захотят меня взять в государи, то увидят, какого во мне получают защитника и доброго правителя; сила поганская тогда высится не будет, да не только поганство, Рим и ни одно королевство против нас не устоит, когда земли ваши будут заодно с нашими».



Грозный старается обстоятельно объяснить причины недавней неудачи своей против татар: он боится, что поражение Москвы в 1571 году принизит ее значение за границей, и оправдывается ссылкой на измену воевод. Отсюда новый выгодный довод в пользу его строгости, о которой так много говорят; но пусть эту строгость не принимают за жестокость; он зол лишь на тех, кто зол против него. Ему, впрочем, хорошо известно, по недавним примерам, что и в Литве изменников не милуют. «Если Богу будет угодно, чтобы я был государем польских и литовских панов, наперед обещаю Богу и им, что сохраню все их права и вольности и, смотря по надобности, дам еще большие. Я о своей доброте и злости говорить не хочу; если бы паны польские и литовские ко мне или детям моим своих сыновей на службу посылали, то узнали бы, как я зол и как я добр».

Между прочим, Грозный нашел важным объяснить польским и литовским панам свое отношение к Курбскому: «Я и не думал его казнить, хотел только посбавить у него чинов, уряды отобрать и потом помиловать, а он, испугавшись, отъехал в Литву». Искусным оборотом речи царь предостерегает аристократическое правительство от личности столь ненадежной. «Пусть паны ваши отнимут у него уряды и смотрят, чтобы он куда-нибудь не ушел».

В той же самой речи, где затронуты столько тем, Грозный высказывает свое главное побуждение к занятию польско-литовского престола: для него все дело в прочном приобретении Ливонии. «Когда буду вашим государем, Ливония, Москва, Новгород и Псков одно будут». Совершенно неожиданно оказывается, что Польша в глазах московского царя не что иное, как залог для получения Ливонии. «Я за Полоцк не стою и со всеми его пригородами уступлю и свое московское, пусть только мне уступят Ливонию по Двину; и заключим вечный мир с Литвой, я и на детей своих положу клятву, чтобы они не вели войны с Литвою, пока род наш не прекратится».

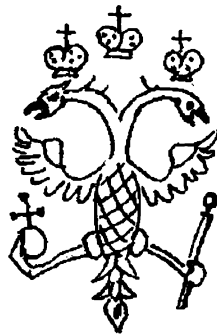
В Литве у царя было больше сторонников, чем в Польше. Среди литовцев было много недовольных отторжением ряда земель к Польше в силу Люблинской унии; соединение же с Москвой обещало Литве, напротив, перевес над Польшей. В Литве к тому же считали, что московский государь может дать настоящую и прочную охрану как от татар, так и от Германской империи,

польские паны-рада не спешили присылать послов в Москву; литовцы в 1573 году отправили посла Гарабурду с рядом предложений. Они просили в короли самого Ивана IV или его младшего сына Федора; от московской династии они хотели получить обязательство в том, что не будут нарушаться права и вольности шляхетские и Литве будут уступлены Смоленск и Полоцк.

Царь дал ответ Гарабурде необычайно обстоятельный, продуманный и точный. Прежде всего он ставит на вид, что не ему или его сыну будет почет от избрания в короли, а Литве и Польше, если он на такое избрание согласится. «Знаем, что цесарь и король французский присылали к вам; но нам это не в пример, потому что, кроме нас да и турецкого султана, ни в одном государстве нет государя, которого бы род царствовал непрерывно через двести лет; потому они и выпрашивают себе почести: а мы от государства господари, начавши от Августа Кесаря из начала веков, и всем людям это известно».

Все это высокомерное введение должно послужить к тому, чтобы с самого начала поставить литовцев в положение просителей и отсюда сделать вывод о невозможности каких-либо территориальных уступок Литве. Лишь после этих заявлений Грозный высказал обещание, что не будет нарушать права и вольности литовцев и поляков; но тотчас же прибавил требование о почитании своего титула. Очень интересен полный титул, который тщательно выписывает Грозный: «Божьей милостью государь, царь и великий князь Иван Васильевич всея Руси, Киевский, Владимирский, Московский, король Польский и великий князь Литовский и великий князь Русский великого Новгорода, царь Казанский, царь Астраханский», а потом должно было расписать «области русские, польские, литовские по старшинству». Не упустил Иван IV и случая сказать о сохранении прав своей державы и своей собственной власти. «Вере нашей быть в почете, церкви в наших замках, волостях и дворах каменные и деревянные вольно нам ставить; митрополитов и владык нам почитать по нашему обычаю. Еще надобно уговориться о дворовых людях, без которых я не могу ехать в Польшу и Литву; этих людей немного» (опричнина в это время уже была преобразована во «двор»).

Совершенно определенно ставит Грозный цель расторжения Люблинской унии; сам он готов отказаться от польской



короны и искать одной литовской. Литве обещает он возвратить земли, отнятые у нее Польшей, только один Киев должен отойти к Москве. «Хотим держать государство московское и великое княжество литовское заодно, как были прежде Польша и Литва». Мысли Ивана IV, высказанные в личной аудиенции, еще раз подтвердили литовскому послу доверенные лица царя, — окольничий Умный-Колычев, думный дворянин Плещеев, дьяки Андрей и Василий Щелкаловы; они еще добавили в успокоение: «Польши не бойтесь: государь помирит с нею Литву».

Всего существеннее в уговорах для Ивана IV было обеспечение себе при всяких разделах и всяких случайностях Ливонии. Он хочет избежать личной унии, но достигнуть объединения в тесный союз трех государств, причем одинаково готов отпустить ли в Литву собственного сына, или видеть в дружественном государстве выбранным цесарского сына, то есть австрийского эрцгерцога. В один и тот же приезд литовского посла ему предлагаются различные комбинации, но при всех переменах остается одна постоянная величина — Ливония.

«Что прежде наша отчина была по реку Березыню, того мы для покоя христианского отступаемся: но *Полоцк со всеми пригородами и вся земля Ливонская в нашу сторону*, к государству Московскому, и без этих условий сына нашего Федора отпустить к вам на государство нельзя». Что же касается вечного мира, то для него условия другие: «*Полоцк со всеми пригородами и Курляндия к Литве, а Ливония к Москве*. Двина будет границей, а Полоцку и пригородам с нашими землями граница будет по старым межам; и быть бы всем трем государствам на всех неприятелей заодно; а в короли выбрать цесарского сына, который должен быть с нами в братстве и подтвердить вечный мир» (курсив мой. — *Р. В.*).

Вся беда для Грозного состояла в том, что Польша в такой же мере, как и Москва, тянулась к Ливонии, так же, как Москва, не могла обойтись без выхода к морю. На этом строил свои расчеты искусный французский агент Монлюк, хлопотавший за Генриха Валуа. По его словам, Генрих заведет флот, посредством которого всего скорее воспрепятствует нарвской торговле; далее он приведет в цветущее состояние Краковскую академию, снабдивши ее учеными людьми; отправит на свой счет в Париж сто польских шляхтичей для занятия науками.

Видно, что Польшу, в такой же мере, как Москву, заботила выписка с Запада техников, а также и возможность обучения своей молодежи заграничной науке.

5

Неудача поляков с Генрихом Валуа открыла Ивану IV новую возможность избрания на польско-литовский престол. Папский нунций в 1575 году с беспокойством доносил в Рим, что только вельможи не хотят московского царя; народ же показывает к нему расположение; московского государя желает все мелкое, дворянство, как польское, так и литовское, в надежде через его избрание высвободиться из-под власти вельмож.

Однако избирательная кампания 1575 года прошла для Ивана IV неудачно. Вот где крупный талант его пострадал от мелких досадных недостатков, от неумения сдержать себя вовремя, от увлечения своим остроумием, от пренебрежения к противникам.

С самого начала он затронул политическое самолюбие панов, составлявших высшую раду. Те писали ему по отъезде Генриха, извещая зараз и о восшествии на престол, и о его «временном отбытии», причем упоминали, что им, панам-раде, поручено сноситься с иностранными государями. Иван IV ответил, что посланный им уже гонец Ельчанинов будет дожидаться возвращения короля, а у панов радных не будет: государь сносится только с государем, а паны с боярами; раз у них есть король, с панами ссылатся непригоже.

Не использовав необходимых публичных церемоний, к которым привыкла польская и литовская аристократия, не сказавши ни слова о привилегиях, которые он готов предоставить высшему правящему слою, только что получившему золотую грамоту вольностей от Генриха, Иван IV мало занялся обработкой его членов в отдельности и втайне. Некоторые из них определенно о том намекали русскому послу и даже давали образцы тех писем, с которыми царю следовало обратиться к таким-то и таким-то аристократам. На избирательный сейм, собравшийся в Варшаве в ноябре 1575 года, Иван IV не прислал «большого», то есть полномочного посла. Приверженцы Москвы, ожидавшие нетерпеливо заявлений царя, были разочарованы его кратким, сухим и бессодержательным посланием.



В конце концов Иван IV, помимо своих ошибок, был побежден неожиданной международной коалицией, которая не только разбила его кандидатуру, но и выдвинула убийственного для него противника.

Первый удар нанес новый враг Москвы, столь презираемые царем шведы. Шведский посол на сейме выдвинул сразу самый острый вопрос внешней политики — вопрос о войне против Москвы за Ливонию. Он предлагал бороться общими силами: пусть поляки отдадут шведам свою часть Ливонии, и тогда шведы откажутся от денежных сумм, которые они ссудили Польше. Из Ливонии может быть составлено особое владение, в котором править будет шведский королевич Сигизмунд, по матери потомок Ягеллонов. Шведский посол предлагал избрать на польский престол королеву Анну, сестру умершего Сигизмунда II Августа. По его мнению, только этим способом уладятся дела, польские и шведские, ливонские и московские, будет крепкий союз с соседними государствами, будет мир с турками, татарами и Германией. Московиты будут изгнаны из Ливонии, и нарвская торговля, столь вредная для Польши и выгодная для Москвы, прекратится.

У шведов оказался своеобразный сторонник в лице турецкого султана. Опасаясь избрания на польский престол сына императора Максимилиана, то есть представителя враждебного Турции австрийского дома, султан продвигал своего кандидата, зависимого от турок седмиградского воеводу Стефана Батория. Послы Батория дали на сейме блестящие обещания: сохранить все вольности панов и шляхты, сообразоваться во всем с их желаниями, обратно завоевать все отнятое Москвой, для чего он, Баторий, приведет свое войско; сохранять мир с турками и татарами; лично предводительствовать войсками; прислать 800 тысяч злотых на военные издержки, выкупить пленную шляхту, захваченную в последнее татарское нашествие, из земель русских. Эта кандидатура потом сошлась с предложением шведов: Батория стали прочить в супруги королевны Анны.

Сближение Швеции и Турции, северного и южного соседа Польши, заставило Грозного искать союза с Австрией, которая выставила своего претендента и была в то же время крайне обеспокоена кандидатурой турецкого ставленника. Но этот

союзник никогда не приносил добра России. Ивану IV пришлось впервые узнать все отрицательные стороны тяжелой на подъем, вечно опаздывавшей, лишенной гибкости и такта австрийской политики. «Цесарское» правительство не умело подойти к Москве. Началось с мелочных обид, нанесенных московскому гонцу Скобельцыну, когда он прибыл в Вену. Потом царя рассердили послы императора, приехавшие в Москву: вместо ответа о Польше, они привезли только извинения; и это были в его глазах не настоящие послы, а скорее торговцы, искавшие выгод. В одном важном пункте предложения Австрии сходились с намерениями Ивана IV, именно в вопросе о разделе: чтобы польская корона отошла к цесарю, а Великое княжество Литовское — к Московскому государству. Но в то время как для царя вся суть этого дележа состояла в том, чтобы обеспечить за собой Ливонию, император, неспособный забыть, что Ливонию когда-то завоевали немецкие рыцари, предлагал Ивану IV оставить Прибалтику в покое. За это он думал увлечь московского царя перспективой овладения Царьградом.

Австрийские послы говорили: «Избрание Эрнеста (сына императора) в короли будет очень выгодно твоему величеству: ты, Эрнест, цесарь, король испанский, папа римский и другие христианские государи вместе, на сухом пути и на море, нападете на главного недруга вашего, султана турецкого, и в короткое время выгоните неверных в Азию; тогда по воле цесаря, папы, короля испанского, эрцгерцога Эрнеста, князей имперских и всех орденов все царство греческое восточное будет уступлено твоему величеству, и ваша пресветлость будете провозглашены восточным царем».

Но Иван IV не склонен был поддаваться на призраки, подобные тем, которые увлекали политических авантюристов, стоявших у власти в XVI веке. На союз христианских государств он смотрел с большим сомнением. Из истории восточного вопроса он вспомнил и преподнес австрийцам, со свойственной ему иронией, Владислава венгерского, который в свое время заключил союз с цесарем и многими немецкими государями, но был ими покинут и предан туркам, вследствие чего и погиб. Для того чтобы в такой союз поверить, мало обещания императора, нужен обмен мнений всех государей, и Грозный упоминает датского короля, о котором забыл император. Что



же касается Ливонии, то было сказано: «Ливонская земля — наша вотчина, ливонские немцы нам дань давали; ливонской земле и курской (Курляндии) всей быть к нашему государству. У нас там посажен голдовник; так ты бы, брат наш дражайший, Максимилиан цесарь, в Ливонскую землю не вступался и этим бы нам любовь свою показал; а мы ливонской земли достаем и впредь хотим искать». Теперь ему хотелось, чтобы поляки выбрали Эрнеста, а литовцы московского государя; но если даже Литва не согласится отстать от Польши, пусть и она выбирает Эрнеста.

По всему видно, что Иван IV охладел к мысли о занятии польско-литовского или даже только литовского престола; он готов уступить это опасное положение целиком своему новому союзнику; тем легче надеялся он при воцарении австрийца удержать за собою Ливонию.

Большой дипломатический поход 1573—1575 годов, на который Иван IV потратил столько энергии, изобретательности, ораторского искусства, окончился неудачно. Почему бросил он предприятие, в котором на его стороне, казалось, было столько благоприятных данных?

Здесь могли действовать очень реальные соображения: вступить в управление двумя шляхетскими республиками значило не только навязывать себе новые громадные трудности, но также подвергать опасности всю налаженную военно-монархическую систему Московской державы. Однако на политику Грозного могли оказывать свое давление также мотивы совершенно иного свойства. Война, которая длилась уже семнадцать лет, привела к страшному запустению соседних с Ливонией областей; между прочим, много вреда принесли набеги шведских воинских людей на мирное население новгородской окраины. По выражению И.И. Полосина, «для нужд войны царь Иван не останавливался перед крайним усилением тягла и жестокими взысканиями государевых доходов». Последнее со стороны тяглецов вызывает или покорную смерть, или разбег из новгородских пятин на север «к морю», куда глаза глядят. Приблизился тяжелый финансовый и экономический кризис. Можно представить себе, что в этих грозных обстоятельствах, как бы предупреждая наступление еще худших условий, Иван Грозный, в какой-то отчаянной решимости, не дожидаясь провала

своей кандидатуры в Литве, схватился за план новой войны в Ливонии с тем, чтобы так или иначе удержать в своих руках доступ к морю.

VII. Иван IV и Стефан Баторий

Судьба Ивана IV — настоящая трагедия завоевателя, который сорвался на слишком крупной игре, потому что бросил на весы счастья все свое достояние и вместе с потерей вновь приобретенной территории пошатнул основы только что построенной державы своей. Но главный деятель драмы не погиб внезапно вслед за величайшими успехами своими. Он еще пережил период медленного угасания сил, он отдал выдвинутые вперед позиции свои врагу, несравненно ему уступавшему и в дарованиях, и в средствах борьбы.

1

В 1575 году, не дожидаясь окончания переговоров об избрании на польско-литовский престол, Иван IV возобновил наступление в Ливонии. Опять все направлено на Ревель, опять впереди идет Магнус. Зимой 1575—1576 годов русские отряды переходят по льду на острова Эзель, Даго, Моон, берут Гапсаль, Пернов и Гельмет. В 1576 году русско-татарская армия три раза подступала к Ревелю.

Эти походы обнаружили громадность запасов царя. К началу осады у русских было 2000 бочек пороху. Они выпустили по городу до 4000 ядер и зажигательных снарядов. Отбивши два приступа, ревельцы в ужасе обратились к германским городам с мольбой о помощи, указывая на свое положение как передового поста всех европейских государей и городов на Балтийском море; если Ревель перейдет под власть московитов, падет вся Ливония; они пишут, что тяжело выдерживать напор яростного врага — он после неудач «подобен дикому медведю, который, будучи ранен, делается еще отважнее и страшнее».

Избрание Батория и крушение плана раздела Польско-Литовского государства между Москвой и Габсбургами вызвало



Ивана IV на последний, как ему казалось, решительный «великий» поход 1577 года. В январе этого года 50 тысяч русских снова появляются под Ревелем с крупными орудиями. Летом, после больших приготовлений в Новгороде и Пскове, выступил сам царь. На этот раз ему все как будто благоприятствовало. Даже крымские татары были на его стороне и, одновременно с его нападением на прибалтийские владения Литвы-Польшы, произвели набег на Волынь и Подолию. В самой Литве нашлись люди, которые готовы были перейти на сторону Москвы.

Иван IV был так уверен в предстоящем успехе, что изменил свою политику относительно Магнуса. В течение семи лет применял он своего «голдовника» в качестве промежуточного звена между основными русскими землями и прибалтийским берегом; по новому договору Магнусу были отданы земли к северу от реки Аа, тогда как область между Аа и Двиной царь оставил за собой; вассала отодвинули в тыл на вторые роли, а царь выступил опять непосредственным завоевателем. Когда недовольный этим Магнус попытался действовать самостоятельно и стал захватывать города на свой страх, Грозный написал ему откровенно: «Если ты недоволен Кесью (Венденом) и другими городками, которые тебе даны, и ты поди в свою землю Езел, да и в Датскую землю за море, а нам тебя имати нечего для, да и в Казань тебя нам ссылати; то лутчи только поедешь за море, а мы с Божьей волей очистим свою отчизну Вифляндскую землю и обережем».

Воители не знали теперь никакой пощады: страну жгли и разоряли, чтобы не оставлять противнику никаких опорных пунктов. Шел двадцатый год адской, неслыханно длинной войны. Забыты были все средства привлечь расположение местного населения. Осталась лишь одна мысль о завладении территорией, хотя бы только с остатками народа. Перед опустошительным ужасным налетом все никло, все бежало в отчаянном страхе.

Передовой отряд князя Трубецкого, при своем первом натиске, дошел до Крейцбурга на Двине. Следом за ним сам царь берет один замок за другим — Мариенгаузен, Люцин, Режицу, причем немецкие наемники переходят на службу к Москве. Далее были взяты Крейцбург, Зесвеген, Кокенгаузен, отпавший Венден, где отчаявшиеся защитники сами взорвали себя на воздух, Ронебург. Все эти крепости сдавались без сопротивления.

Только под Кокенгаузенем Радзивил с небольшим отрядом кавалерии пытался дать отпор, Хоткевич держал свой четырехтысячный корпус вне Лифляндии, не решаясь встретиться с 30-тысячным царским войском. К концу 1577 года сдалась Ивану IV вся Лифляндия, кроме Риги, Трейдена, Динамюнде. В письме, отправленном Курбскому из Вольмара, Грозный называет себя наследственным владетелем лифляндской земли немецкой речи. Международное положение Москвы тоже не оставляло желать ничего лучшего: в 1578 году Иван IV заключил соглашение с Крымом, императором и Данией; последняя признала за царем Лифляндию, а также право на будущее приобретение Курляндии.



Правда, в торжестве Грозного чувствовалась непрочность. Свои последние победы он выиграл на бессилии противников, особенно Польши, совершенно расстроенной продолжительным отсутствием короля. Между тем Московское государство дошло до последней степени истощения. У него, как показали ближайшие события, едва хватало сил для обороны собственной территории; несмотря на все успехи в Лифляндии, царь не решился идти за Двину на покорение Курляндии. Не успел он удалиться в Александрову слободу и распустить свое войско, как поляки, осмелев, вернулись в Лифляндию и стали брать назад одну крепость за другой.



2

В Германии следили за ходом Ливонской войны с величайшим вниманием. На Регенсбургском рейхстаге, заседавшем с июля по октябрь 1576 года, московский вопрос — вопрос о том, искать ли страшному завоевателю противовеса или вступить с ним в соглашение — был предметом самых оживленных прений. Здесь впервые появляется план контрагрессии, направленной на Московскую державу; его развивает пфальцграф Георг Ганс, ярый враг Москвы, еще в 1570 году предлагавший организовать германский флот на Балтийском море для разгрома русской морской торговли. Скоро после Регенсбургского рейхстага пфальцграф сближается со Штаденом и знакомится с его проектом завоевания Московии с севера. В 1578 году Штаден лично представляет свой проект императору Рудольфу II. Этот проект

интересен и сам по себе, и по своему значению для оценки того положения, в котором находилась Московская держава после двадцати лет неотступной, изнурительной поглощавшей все ее силы войны за Ливонию.

Проект Штадена является лишним доказательством глубоких политико-географических наблюдений и богатейшей фантазии беспутного авантюриста; ирония судьбы захотела, чтобы глава призрачной «священной» империи, к которому обратился изобретатель первой немецкой колониальной экспедиции, был мечтателем, бесхарактерным ленивцем, потонувшим в астрологических бреднях. Как возникла идея нападения на Московскую державу с севера?

В первой половине XVI века у Москвы было три фронта: восточный, южный и западный. Иван IV блистательно разрешил восточную проблему; на юге он в течение всего царствования ограничивался обороной; на западе повел энергичное нападение, расширил и углубил фронт. Штаден придумал для отвлечения завоевателя от Ливонии создать ему новый фронт на севере, нанести московскому правителю удар с такого фланга, где тот совсем не ждал нападения. В пользу проекта приводятся два главных мотива: один состоит в том, что следует предупредить крымского хана, который, по словам Штадена, собирался в самый короткий срок покорить ослабленную Ливонской войной Московскую державу, другой — в том, что Московия наиболее уязвима с севера, так как здесь московский правитель не имеет крепостей, не держит гарнизонов и не оберегает приморских гаваней.

О крымской опасности, грозящей Москве, и о соотношении сил на всех фронтах вообще Штаден говорит следующее: «Крымский царь так жаждет захватить Русскую землю, что я не могу ни описать, ни рассказать вашему римско-кесарскому величеству в полной мере. В особенности потому, что турецкий султан (посадил) в Польше королем Стефана Батория, как и его (крымского царя) посадил он в Крыму... Крымский царь... с помощью турецкого султана, который не откажет ему в поддержке, рассчитывает захватить Русскую землю, а великого князя, вместе с его двумя сыновьями, как пленников связанных увести в Крым и добыть великую казну, которая собиралась много сотен лет (курсив мой. — Р. В.). Из нее турецкому султану будет вы-

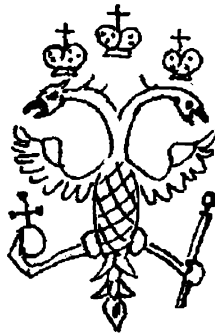
дана чудовищно большая сумма. А турецкий султан уже отдал приказ пятигорским татарам, которые обычно воевали Литву и Польшу... чтоб с Польшей они держали перемирие и чтобы польскому королю тем легче было напасть на воинских людей великого князя».

«Великий князь не может теперь устоять в открытом поле ни перед кем из государей (курсив мой. — Р. В.) и как только убеждается, что войско польского короля сильнее его войска, он приказывает тотчас же выжечь все на несколько миль пути, дабы королевское войско не могло получить ни провианта, ни фуража. То же делается и против войск шведского короля. А как только отступят войска польского или шведского короля, войско великого князя опять готово к походу. Оно устремляется в Польшу или Швецию, жжет и грабит. И часто, когда (великий князь) уверен в удаче, он сам отправляется в Польшу, Лифляндию и Швецию; забирает там один, два или три замка, какой-нибудь город и тотчас же уходит опять на Москву. Теперь (впрочем) он направляется обычно не в Москву, а в Александру слободу».

Преувеличивая в своем проекте силу врага Москвы на южном фронте, рисуя императору заманчивую перспективу захвата несметных сокровищ московского эльдорадо, Штаден старается подстрекнуть императора, вечно обремененного долгами и находившегося в финансовой нужде, к походу с нового фронта, им впервые рекомендуемого. Но для того, чтобы иметь здесь успех, надо застать противника врасплох, а пока сохранять дело в строжайшей тайне, иначе москвит, через своих агентов, которых он держит при иностранных дворах, узнав о замысле, направленном против него, расстроит все предприятие.

Проект Штадена носит очень громкое и гордое заглавие: «План обращения Московии в Имперскую провинцию». И действительно он предлагает начать грандиозную по тому времени кампанию, уже по количеству потребных для интервенции войск.

«Чтобы захватить, занять и удержать страну (великого князя) — достаточно (иметь) 200 кораблей, хорошо снабженных провиантом; 200 штук полевых орудий или железных мортир и 100 000 человек: так много надо не для борьбы с врагом, а для того, чтобы занять и удержать всю страну». Для этого предпри-



ятия датский король, обиженный, по мнению Штадена, при разделе Ливонии великим князем, даст 100 кораблей, хорошо обеспеченных продовольствием и снаряжением; 100 кораблей даст Ганза; шкиперов и лоцманов можно найти в Голландии.

Не обходится дело и без сентиментальностей в чисто немецком вкусе. Во главе экспедиции должно поставить одного из братьев императора, «который взял бы эту страну и управлял бы ею. Прежде всего он не должен быть суровым. И с бедными, и с богатыми должен беседовать охотно и каждому давать благожелательные аудиенции — до тех пор, пока страна не будет занята. При войске на первый раз должна быть, по меньшей мере, сотня проповедников: в укреплениях и городах, которые будут укреплены, они проповедовали бы слово Божие воинским людям. Таких (проповедников) достаточно можно найти по университетам». Затем следуют соображения делового характера. Вербовка солдат, снаряжение кораблей должны быть закончены в течение одного года, «чтобы все было готово, когда решили бы отплыть из Германии, — Гамбурга, Бремена или Эмдена. (Отправляться следует) 1 апреля и плыть сначала к заливу и реке Коле в Лапландии».

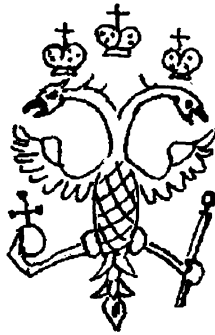
Сохранился, помимо плана, поданного императору, другой вариант проекта для отправки экс-государю Ливонии, гротмейстеру бывшего ордена, которому пфальцграф Георг Ганс обещал, в случае успеха похода на Московию, вернуть прежние орденские земли в Ливонии. Тут мы читаем, что десанты, посаженные на корабли в Эмдене, после двухнедельного плавания, при благоприятном ветре, могли бы беспрепятственно высадиться в Коле, Кандалакше и в устье Онеги; они могли бы потом пройти очень большие расстояния, занять крупные населенные пункты, прежде чем подойдут из центра значительные силы противника, которые, помимо всего, будут в неизвестности, где им встречать вторгнувшихся имперцев.

Вопрос, наиболее трудный для автора проекта, состоял в том, как финансировать экспедицию в пределах полуразвалившейся империи, не имевшей ни определенного бюджета, ни постоянных налогов, ни обеспеченного кредита. По мнению Штадена, надо заключить заем у ганзейских городов и объявить сбор чрезвычайного налога, так называемого третьего пфеннига. Но всего этого хватило бы лишь на первое время, на перевозку

войск, на оккупацию прибрежных пунктов и их укрепление. В дальнейшем война должна будет питать самое себя. Все расчеты строятся на предстоящем захвате громадных запасов золота, серебра, драгоценностей и дорогих товаров в самой Московской державе.

О размерах богатств, в виде золота и других драгоценностей, отложенных в разных хранилищах, рассеянных по всей Русской земле и скрываемых в тайне, в Германии существовали превеличенные представления. Пфальцграф Георг Ганс пишет в вышеупомянутом обращении к гроссмейстеру Ливонского ордена: «Знаю я от Георга Фаренсбека, который с немецкими всадниками служил москвиту против татар, обо всех его планах знал и с делами ознакомился с еще большими подробностями, которые будут открыты, если будет к тому охота... в некоторых местах может быть захвачен такой чудовищный клад из денег и драгоценностей, если соблюдать об этом тайну, что можно было бы на средства одного клада вести долгое время основную войну...»

В проекте Штадена мы находим замечательное описание Поморья, его торговых путей, по которым должна была двинуться имперско-германская интервенция. Тут Штаден со своим зорким глазом и превосходной памятью (или же надо предположить, что у него были обстоятельные записи) как у себя дома. Он дает точные указания расстояний между городами, объясняет, где надо создать военные базы, как велики должны быть оставляемые в них гарнизоны, где следует захватить казну или устроить склады. «С отрядом в 500 человек — половина мореходцев — следует занять Соловецкий монастырь. Пленных, взятых с оружием в руках, надо увезти в империю на тех же кораблях. Они должны быть закованы в кандалы и заключены по тюрьмам в замках и городах; их можно будет отпускать и на работу, но не иначе как в железных кандалах, залитых у ног свинцом, — за то, что наших пленных они продают турку. Так следует держать их до тех пор, пока не будет взята вся земля». Когда будет занято свыше 300 миль вдоль морского берега и вглубь материка вдоль течения Онеги, следует в Каргополе на перевале, где начинается течение рек, впадающих в Волгу, устроить большой укрепленный лагерь. В Поморье следует назначить комиссаров, которые следили бы за подвозом на кораблях различных товаров



в страну и из страны и быстро доставляли бы сюда все, что ни потребовалось бы военачальнику. «Тогда ежегодно можно будет получать достаточные подкрепления из христианского мира. А великий князь ниоткуда не получит подкреплений, разве только привлечет он к войне своих крестьян, у которых — не то, что у крестьян христианских стран! — нет вооружения и которые ничего не знают о войне.

Дальше надо идти в стругах и ладьях или — если угодно — сушией... Убивать не надо никого, кроме тех, кого захватят с оружием в руках. Здесь живут только крестьяне и торговые люди; раньше в этих местах и войны-то никогда не бывало; никто не имеет здесь и оружия... К каждому укреплению необходимо приписывать крестьян и торговых людей — на 10 или 20 миль вокруг, — с тем, чтобы они выплачивали жалованье воинским людям и доставляли бы все необходимое... У русских надо будет отобрать прежде всего их лучших лошадей, а затем все наличные струги и ладьи — маленькие корабли — и свезти их к укреплениям, чтобы при случае защитить их артиллерией...» Каргополь «должен быть занят и укреплен отрядом в 3000 человек. До сих пор можно не бояться появления врага».

На безоружности простого народа в Московии, его неумении и неспособности воевать Штаден очень настаивает. Поэтому победа имперцев кажется ему заранее обеспеченной. Надо только быстро двигаться по путям, намеченным в проекте, укреплять узловые пункты, захватывать казну, чтобы питать свою армию.

Штаден приходит в какой-то экстаз: «Отправляйся дальше и грабь Александрову слободу, заняв ее с отрядом в 2000 человек! За ней грабь Троицкий монастырь! Его занять надо отрядом в 1000 человек, наполовину пеших, наполовину конных!» Штаден воображает, что простых воинов можно, через какого-нибудь пленника, убедить в великой тирании Ивана IV, а более видных служилых людей привлечь на немецкую службу. «Я твердо знаю, что кровопролитие будет излишне: войско великого князя не в состоянии более выдержать битву в открытом поле».

Так как настоящие воеводы великого князя перебиты, будет скоро пойман сам великий князь. С ним вместе «необходимо захватить его казну: вся она — из чистого золота и год от года умножалась стараниями прежде бывших князей; (захватить ее)

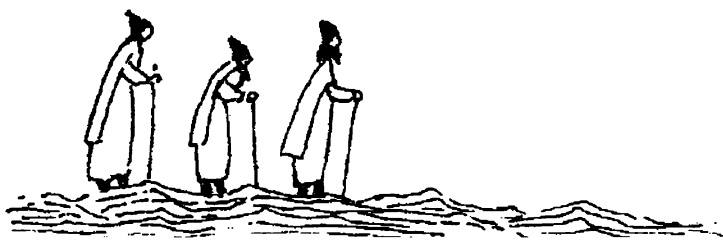
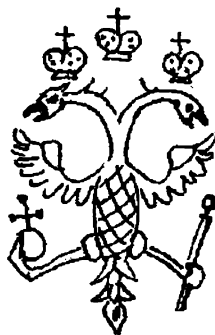
со всеми великокняжескими коронами, скипетрами, одежаниями и своеобразными сокровищами, что собирали прежние великие князья, и с той великой казной, которую всеми правдами и неправдами собрал теперешний великий князь; (всю ее) захватить и вывезти в Священную Римскую империю римского императора Рудольфа и сложить в его сокровищнице».

В конце проекта для Ивана IV придумана такая участь: «Великому князю и его сыновьям надо предоставить в империи подходящую область, в качестве графства». Но предварительно его следует помучить: «...Отправить его в горы, где Рейн или Эльба берут свое начало. Туда же тем временем надо свезти всех пленных из его страны и там, в присутствии его и обоих его сыновей, убить их так, чтобы они (то есть великий князь и его сыновья) видели все своими собственными глазами. Затем у трупов надо перевязать ноги около щиколоток и, взяв длинное бревно, насадить на него мертвецов так, чтобы на каждом бревне висело по 30, по 40, а то и по 50 трупов: одним словом столько, сколько могло бы удержать на воде одно бревно, чтобы вместе с трупами не пойти ко дну. Бревна с трупами надо бросить затем в реку и пустить вниз по течению».

Все усилия Штадена пропали даром. О том, чтобы набрать интервенционную армию из числа обывателей призрачной «священной» империи, не могло быть речи. Весь план есть один из курьезов эпохи. Но для нас теперь он имеет очень важное значение, поскольку показывает, как изменилось отношение к Московской державе. Надо только сравнить этот план 1578 года с проектом 1570 года, который известен нам по письму Либенауэра. Тогда Московская держава казалась столь могущественной, что боялись нашествия московитов на Германию и хотели предупредить его союзом с грозной силой, теперь — через восемь лет — она выглядела столь слабой, что возможным казался план ее завоевания.

3

С 1578 года мы имеем рассказ о войне на западном фронте Рейнгольда Гейденштейна, польского шляхтича, принадлежавшего к партии Батория и его правой руки Замойского. Гейденштейн далеко выдается среди других наших источников, повеству-



ющих о Ливонской войне. Он, правда, преклоняется перед своим героем, исполнен увлечения блестящей польской шляхтой, ненавидит московитов, но при всем том он — хороший наблюдатель и отдает должное врагу. Гейденштейн, видимо, познакомился с русскими летописями, знает историю Пскова, судьбы князей и стольных городов, начиная с Рюрика. Он знает, что Иван III первый положил основание могуществу Москвы, а «ныне царствующий Иван IV еще более увеличил при помощи *своего счастья и искусства* (курсив мой. — Р. В.) обширную державу». Громадные царства — Казанское и Астраханское — он приобрел посредством нового в то время способа, а именно подкопов и пороха. Московское государство дошло до пределов Персии. Благодаря внутренним раздорам ливонцев Иван IV занял их страну, часто наносил поражения шведам. «Быстро образовавшееся могущество московского царя стало внушать страх не только соседним народам, но даже и более отдаленным, и высокомерие его при таких обширных границах и великих удачах дошло до того, что он презирал в сравнении с собою всех других государей и полагал, что нет ни одного народа, который бы мог поспорить с ним богатством и могуществом».

Гейденштейн отмечает безграничную власть царя и беспрекословное повиновение ему подданных. «То обстоятельство, что он один сохраняет во всем высшую власть, и что от него одного исходят все распоряжения, что он волен принимать те или другие решения и властен над всеми средствами для выполнения оных, что он может в короткое время собрать самое большое войско и пользоваться имуществом граждан, как своим, для установления своей власти — *все это имеет чрезвычайно важное значение для приобретения могущества и успешного ведения войны*».

Крайне интересен отзыв Гейденштейна о великой популярности Грозного в своей стране. «Тому, кто занимается историей его царствования, тем более должно казаться удивительным, что при такой жестокости могла существовать такая сильная к нему любовь народа, любовь, с трудом приобретаемая прочими государями только посредством снисходительности и ласки, и как могла сохраниться необычайная верность его к своим государям. Причем должно заметить, что *народ не только не возбуждал против него никаких возмущений, но даже высказывал*

во время войны невероятную твердость при защите и охранении крепостей, а перебежчиков было вообще очень мало. Много, напротив, нашлось и во время этой самой войны таких, которые предпочли верность князю, даже с опасностью для себя, величайшим наградам» (курсив мой. — Р. В.).

Стойкость и послушание русских Гейденштейн объясняет их религиозными убеждениями: «Они признают варварами или басурманами всех, кто отступает от них в деле веры... по установлениям своей религии, считая верность к государю в такой степени обязательной, как и верность к Богу, они превозносят похвалами твердость тех, которые до последнего вздоха сохранили присягу своему князю, и говорят, что души их, расставаясь с телом, тотчас переселяются на небо».

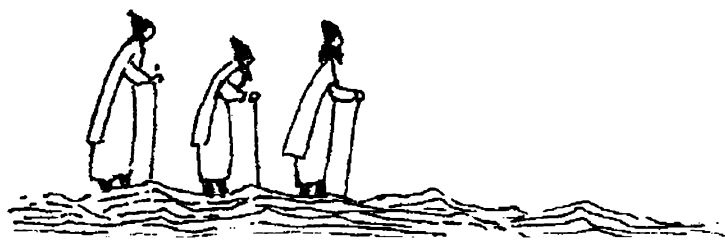


4

Гейденштейн любопытно характеризует знаменитого противника Грозного — Стефана Батория, которому выпало на долю нанести тяжелый удар государству, созданному двумя великими Иванами. Перед нами выступает крупный военный, дипломатический и административный талант, по своей гибкости пригодный действовать как раз в трудной обстановке шляхетских республик и в то же время способный развернуться только в беспокойный военный век, когда вся Европа составляла громадный рынок вербовки, когда уже не война вызывала солдат, а воинственно настроенные, незанятые и неспособные заняться мирным трудом люди создавали войны и до бесконечности тянули их.



Стефан Баторий — один из предводителей пестрых наемных отрядов, начиная от Колиньи, Александра Фарнезе и Морица Оранского и кончая Валленштейном, мастеров военной техники, державших армию верой в свою счастливую звезду, и на самом деле бесконечно изобретательных и изворотливых. В войске Батория встречаются чуть ли не все нации Европы: помимо поляков, литовцев, русских и венгерцев, которых он набрал в своих старых и новых владениях, под его знамена стекаются немцы, бельгийцы, шотландцы, французы, итальянцы. Очень трудно было держать дисциплину среди этих искателей счастья и добычи, выходцев из всех стран Европы. При взятии Полоцка



в 1579 году поляки и венгерцы, единственно занятые жадной заботой, как бы не потерять своей доли добычи, выстраиваются в боевом порядке и бросаются друг на друга. Перед сдачей Великих Лук в 1580 году венгерцы, рассчитывая при штурме получить город на разграбление, убивают русских парламентариев, спустившихся со стены осажденной крепости.

Не менее трудно было политическое положение Батория. Шляхта не хотела ни служить в войске, ни платить налогов: в автономных сеймиках менее всего находилось охотников вникать в интересы государства. Как тут было осуществить план нового короля, состоявший в снаряжении хорошей ударной армии, которую следовало быстрым натиском повести в центральные области Московского государства, чтобы отрезать Ливонию и вырвать ее у Грозного!

Оригинальный проект Батория — создать постоянное войско из крестьян королевских имений — не прошел. Шляхетские сеймы предлагали королю вместо того никуда не годное посполитое рушение, то есть поголовное ополчение.

Король должен был не только торговаться с вальным, то есть общим, сеймом о налоге, но еще и объезжать отдельные воеводства и заключать частные соглашения с особенно непокорными сеймиками, напрасно стараясь внушить шляхетским корпорациям областей, более отдаленных от театра войны, что отвоевание Ливонии имеет общегосударственное значение, что земледельческая страна должна иметь свои вывозные порты и т. д. Каждый год возобновлялась борьба с сеймами, ставившая под угрозу полного крушения раз избранную королем систему. Во время самых походов Баторию приходилось сталкиваться с бесконечными взаимными перекорами панов, у которых были свои понятия относительно распределения коронных должностей: эти притязания гораздо более стесняли короля, чем местнические счеты, составлявшие особенность Москвы.

Баторий сумел удержаться в этих шатких условиях и, мало того, искусно использовать таланты шляхты, увлечь большую часть ее к ведению войны, начертавши перспективы польской великодержавной политики. После его смерти это дело попадает в слабые руки бесталанного Сигизмунда III, но все, что смог осуществить его малоспособный преемник — завоевание Смоленска, Северной области и временное занятие Москвы, —

исполнено силами и личностями, которые набрал и вдохновил Баторий. У него был верный глаз на способных людей и обаяние, привлекавшее их. Из военной школы Батория вышел его неизменный спутник, сначала канцлер, потом гетман, Замоиский, «завоеватель городов», дипломат, политический оратор. Учеником Батория был и молодой Жолкевский, восходящая звезда короткого державно-политического периода Польши, уже не нашедший настоящего применения своим разнообразным дарованиям.



Шляхту пришлось привлекать обходными путями, записью в отряды добровольцев, наймом на частные средства короля и магнатов; это были ливрейные люди, как во времена Алой и Белой розы в Англии. Частные войска создавали новые затруднения верховному командованию. Когда при виде грабежа Полоцка вспыльчивый Баторий хватил саблей солдата, тащившего добычу, оказалось, что это был наемник, состоявший на службе гетмана Мелецкого, и важный сановник обиделся на короля.



В карьере Батория немалую роль сыграла удача. Трансильванский воевода занял престол Ягеллонов и взял на себя руководство войной, тянувшейся уже двадцать лет, когда его великий противник успел дойти до полного истощения. С уверенностью можно сказать, что борьба носила бы совершенно иной характер, если бы Грозный и Баторий встретились в 1566 году, в эпоху первого Земского собора, когда организация военной монархии была в расцвете, когда и служилые и торговые люди объявляли о своей готовности энергично продолжать военные действия. Правда, Баторий, воитель по призванию, популярный среди солдат командир, представлял собою именно такого государя, какого жадно вызывал в своем воображении Пересветов. Зато Иван IV своими качествами военного администратора мог по-своему уравновесить блестящие данные Батория, как стратега и тактика. Вся беда состояла в том, что кадры его войска крайне уменьшились и сократились донельзя финансовые средства.

В. Новодворский²², исследователь борьбы за Ливонию в 1579—1582 годах, объясняет неудачи Москвы в последние три года войны исключительно подавленным состоянием Ивана IV; у царя было громадное войско — до 300 тысяч, которое он не решился пускать в дело вследствие полной своей растерянности; вот



почему Баторий со своими сравнительно незначительными силами мог беспрепятственно делать одно завоевание за другим. Новодворский вполне прав, когда говорит об угасании личности Грозного, преждевременной старости: перед нами уже не тот человек, который в 1550—1560-х годах развернул такую мощь военной и торговой державной политики. Но бессилие, бездеятельность, утрата веры в свое счастье, обнаруженные царем, находятся в тесной связи с действительным крушением его дела.

На чем основано представление Новодворского о громадной армии Ивана IV, — мы не знаем. Цифры в 300 тысяч, кажется, никогда не было в Москве. В эту же пору, после стольких походов, надо думать, было трудно собрать и 50 тысяч. Однако имей Грозный даже и такое войско, он мог бы если не прямо нападать на корпуса Батория, занятые осадами, то, по крайней мере, исполнять опасные для польского короля диверсии во фланги, в Ливонию, на Оршу и на Киев. Но очевидно и таких сил не было, и отсюда новое основание его странного бездействия.

Очень характерно, что вожди наемников, служившие Ивану IV, Магнус и Фаренсбах покинули его и перешли к Баторию: они почувствовали, что дело царя проиграно.

5

До решительного столкновения с Баторием Иван IV относился к своему противнику с необычайным пренебрежением. В 1577 году Баторий был занят осадой отпавшего от Польши Данцига и не мог воспрепятствовать походу Грозного на Лифляндию. Когда польский король жаловался, что царь без объявления войны забирает у него ливонские города, Иван IV отвечал: нечего королю беспокоиться о Ливонии, старой московской вотчине, когда его самого взяли с неведомого Семиградского воеводства только для занятия польской короны и Литовского великого княжества.

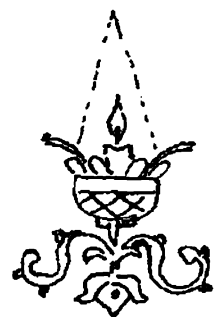
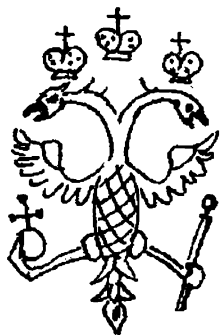
При переговорах о вечном мире Иван IV ставит большие требования, между прочим, выдачу ему Киева, Канева и Витебска. Он выдвигает по этому поводу новую династическую теорию: литовские Гедиминовичи происходят от полоцких Рогволодовичей: «Эти князья были славные великие государи, наши братья, во всей вселенной ведомые и по коленству (родству)

нам братья; поэтому корона польская и великое княжество литовское — наши вотчины, ибо из этого княжеского рода не осталось никого, а сестра королевская (ставшая женою Батория) государству не отчичь». Когда литовские послы, оскорбившись отзывом о новом короле, сослались на избрание Давида, происходившего из низкого звания, Грозный ответил с обычной самоуверенностью: «То избранник Божий, а здесь выбранный мятежом человеческим».

Гейденштейн рассказывает характерный эпизод кампании 1578 года, чтобы нарисовать Грозного в виде какого-то древнеазиатского Ксеркса, не допускавшего и мысли о непоправимых ущербах своего могущества. У московитов пушки были все с особыми именами (Волк, Ястреб, Змея, Медведь, Девка и пр.) и с изображением соколов. Когда эти пушки-личности были отняты шведами, «московский царь тотчас приказывает вылить другие с теми же названиями и знаками и притом в еще большем количестве: для поддержания должного представления о своей мощи он считал нужным показать, что судьба не может у него взять ничего такого, чего бы он при своих средствах не мог в короткое время выполнить еще со знатным прибавлением».

Эти приемы достигали, видимо, цели и создавали представление о бесконечной власти московского царя. Польский писатель приводит мнение турецкого министра, «умнейшего советника последовательно трех восточных государей», который заметил послам Батория: «Король берет на себя трудное дело; велика сила московитов, и, за исключением моего повелителя, нет на земле более могущественного государя».

В своем рассказе Гейденштейн несколько раз возвращается к замечательному устройству системы крепостей, возведенных со стороны Москвы вдоль длинной литовской границы. Особенно укреплена была полоса между Двиной и Днепром, где поднимались замки, угрожавшие Витебску и самой Вильне (особенно замечательна Суша, выстроенная на литовской территории). Эти крепости были окружены громадными пустырями, непроходимыми дебрями, которым московиты давали разрастаться, чтобы затруднять движение неприятеля. Все укрепленные пункты обильно снабжены провиантом и военным снаряжением. Когда в 1580 году Замойский взял крепость Велиж, «провианту, фуража, пороху и военных снарядов было



найдено в этом городе так много, что не только наделили все наше войско, но еще осталось всего столько, сколько нужно было для гарнизона».

Несмотря на исключительные трудности борьбы в этом районе, Баторий решает напасть именно здесь. Прежде всего он руководится стратегическими соображениями: отрезать от Москвы Ливонию и угрожать одновременно Смоленску, Пскову и Новгороду. Другое побуждение состояло в том, чтобы разрушением крепостного клина, вдавшегося в литовскую территорию, освободить движение торговых караванов, направлявшихся по главным артериям торговых сношений Литвы, по Днепру, Двине и ближайшим их притокам.

Первый удар Батория был направлен на Полоцк, за шестнадцать лет до того отнятый у Литвы. Грозный не предвидел нападения. На выручку крепости двинулись воеводы Шеин и Шереметев, но, не решаясь сразиться в открытом поле с войсками Батория, они заняли ближнюю к Полоцку крепость Сокол и старались препятствовать подвозу провианта противнику. Баторий применил под Полоцком свое новейшее изобретение, раскаленные ядра, которые вызывали пожары в стенах и внутри города. Осажденные оборонялись с необыкновенным упорством в течение трех недель, выдержали ряд ожесточенных штурмов, но вынуждены были сдаться, когда сгорели почти все (деревянные) укрепления города.

Король предоставил москвитянам на выбор, идти ли к нему на службу или возвращаться на родину. По рассказу Гейденштейна, большая часть войска Грозного, побуждаемая любовью к своему дому и преданностью царю, предпочла службу своему государю, «хотя каждый из них мог думать, что идет на верную смерть и страшные мучения. Однако царь пощадил их — или потому, что, по мнению его, они были вынуждены сдаться последней крайностью, или потому, что он сам вследствие неудач упал духом и ослабел в своей жестокости».

Все, что мы слышим о Грозном в эту пору, сходится на одном впечатлении: царь глубоко подавлен и смирился, нет его прежней беспощадной требовательности. Вот еще одна подробность из рассказа польского историка. Вслед за Полоцком Баторий взял крепость Сокол. Царь в это время находился недалеко, во Пскове, но не тронулся с места, чтобы оказать помощь стес-

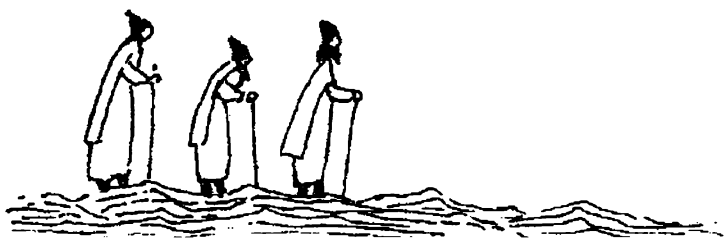
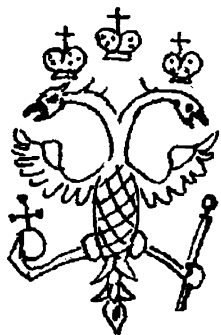
ненному гарнизону. Удаляясь в глубину государства, Грозный посылает отряду Суши, крепости, затерянной среди натиска врагов, характерную грамоту. Гарнизону покидаемой крепости он позволяет испортить пушки и в особенности порох и остальные военные орудия, которые нельзя увезти с собою, и, закопав в землю образа и священные вещи, чтобы они не послужили предметом насмешки для неверных, спастись каким бы то ни было способом, не потому, чтобы он сомневался в их верности, а потому, что он не желает подвергать их доблесть, которую он хотел бы сохранить для более важных подвигов, ненадежному испытанию и жестокости неприятеля.

В начале 1580 года Иван IV созвал в Москве духовный собор. Он заявил собравшимся иерархам, что бесчисленные враги восстали на его державу, что он с сыном своим, с вельможами и воеводами, бодрствует день и ночь для спасения государства, что духовенство обязано помочь ему в этом великом подвиге; войско скудеет и нуждается, а монастыри богатеют. Пользуясь разладом в среде духовенства, завистью белого духовенства по отношению к черному, он побудил иерархов самим провести на соборе отмену монастырских привилегий: были отписаны на государя княжеские и боярские земли, купленные монастырями, и было впредь запрещено монастырям покупать земли, брать их в залог и принимать «на помин души».

Правительство принимает меры против уклонения от военной службы — первый знак, что начинает расшатываться дисциплина: детей боярских, находящихся в бегах, отыскивают особые чиновники, разъезжающие по областям, бьют кнутом и, после предварительного заключения, отправляют на государеву службу во Псков.

В дипломатических сношениях Иван IV также меняет тон. Когда Баторий пошел во второй поход весной 1580 года, царь отправил к нему грамоту, согласно которой «смирясь перед Богом и перед ним, королем, велел к нему своим послам идти». Для того чтобы в достаточной мере оценить эту уступку Грозного, надо вспомнить, что до тех пор никогда московские послы не ездили в Литву и переговоры с Польско-Литовским государством велись исключительно в Москве.

В предшествующие годы стороны всячески старались обидеть друг друга, например не спрашивали о здоровье государя, не



вставали на аудиенции при поклоне, передаваемом послами от имени государя; из-за такого нарушения этикета обрывались переговоры. Теперь Иван IV предписал своим послам: «Если король о царском здоровьи не спросит и против царского поклона не встанет, то пропустить это без внимания; если станут бесчестить, теснить, досаждать, бранить, то жаловаться на это приставу слегка, а прятко об этом не говорить, терпеть».

Но так как пока еще послами ни слова не было сказано о возможных уступках, Баторий двигался без остановки. Он назначил сбор войскам в крепости Чашники, откуда дорога разветвлялась на Смоленск и Великие Луки. Чтобы держать царя как можно дольше в неуверенности относительно цели похода, Баторий устроил в своем лагере совещание, — нападать ли на Смоленск, Псков или Великие Луки, хотя у него уже давно решено было последнее. Московские силы пришлось раздробить, отдельные отряды были посланы к Новгороду, Пскову, Кокенгаузену, Смоленску; сильные полки должны были остаться на юге, где мог появиться хан.

Под Великими Луками повторилось то, что уже раз было под Полоцком. Отборному войску Батория, состоявшему из 35 тысяч, крепость могла противопоставить лишь 6, самое большее 7 тысяч гарнизона. Иван IV не нашел возможным прислать войско на освобождение города от осады: точно так же ближние к Великим Лукам крепости Озерного края — Невель, Озерище, Заволочье — не могли выделить помощь из своих гарнизонов. Все укрепления защищались каждое порознь и перешли одно за другим в руки неприятеля.

6

Положение Ивана IV становилось все хуже и хуже. Зимой 1580—1581 года польско-литовские войска остались на московской территории; им удалось еще взять Холм и сжечь Старую Руссу; другие отряды при участии Магнуса, поступившего теперь на польскую службу, продвигались вперед по Ливонии, опустошили область Дерпта, где всего прочнее утвердилась русская колония. Одновременно начались успехи шведов на побережье Финского залива под начальством французского выходца Понтуса Делагарди; в короткий срок русские потеряли

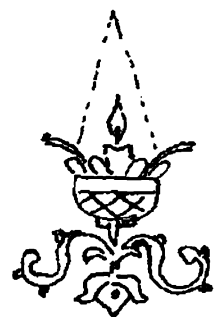
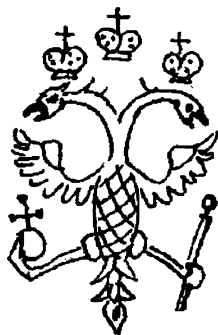
Кексгольм, Падис под Ревелем, Везенберг; почти вся Эстония перешла в руки шведов.

Баторий стал хлопотать о третьем походе, которому он намерен был придать решающий характер. На сейме, созванном в феврале 1581 года, король объявил, что нельзя складывать оружие, пока не обеспечено обладание всей Ливонией и царь получает из балтийских гаваней все нужное для усиления своего могущества. Надеясь на русский герб, Замойский прибавил, что надо нанести врагу такой удар, чтобы у него не только не выросли крылья снова, но и плеч больше не было, надо его отодвинуть подальше от моря. Король ставил на вид невыгодность существующего порядка, в силу которого приходится каждый раз отрываться от поля военных действий, чтобы добыть соизволение сейма на сбор налога. После долгих пререканий депутаты согласились дать сумму налога за два года вперед под условием, чтобы этот поход будет последним; они указывали на изнурение шляхты поборами, на ее крайне бедственное положение.

Настроение в Польско-Литовском государстве далеко не отвечало энергии Батория и его штаба. Иван IV учитывал все внутренние затруднения, с которыми приходилось бороться его противникам; через своих агентов он поддерживал сношения с аристократами враждебной Баторию партии и в то же время, продолжая настаивать на переговорах, слал своим уполномоченным инструкции за инструкциями.

Интересно наблюдать, как в нем борется искусный гибкий дипломат, умеющий вовремя уступить, с задорным полемистом, для которого величайшим наслаждением является пустить в противника едкое слово. Хорошо, пускай московские послы не придираются, чтобы целиком писалось царское имя; но они должны говорить «Государю нашему царское имя Бог дал, и кто у него отнимет? Государи наши не со вчерашнего дня, извечные государи». Но тут же спохватывается, что сказал лишнее, и спешит обеспечить послам приличное отступление: «Если же станут спрашивать: кто же со вчерашнего дня государь? — отвечать: мы говорили про то, что наш государь не со вчерашнего дня государь, а кто со вчерашнего дня государь, тот сам себя знает!»

Чем более уповал царь на свое дипломатическое искусство, тем упорнее отстаивали его уполномоченные уже потерянные в двух кампаниях владения. В лагере Батория под Невелем мо-



сковские послы предлагали разделить Ливонию и обоим государям именоваться ливонскими. Переговоры продолжались в Варшаве перед глазами еще не распущенного сейма. Всех поражала цепкость и хитрость царских послов, вращавшихся так свободно в чуждой им обстановке. Баторий был, однако, неумолим, требовал всей Ливонии, кроме того уступки Себежа и уплаты 400 тысяч золотом за военные издержки.

«Вся Ливония» означала потерю Нарвы, то есть выхода к морю, окна в Европу. На это последовал новый взрыв гнева, так долго сдерживаемого Грозным. Он отправил Баторию знаменитую грамоту, начинающуюся словами: «Мы, смиренный Иоанн, царь и великий князь всея Руси, по Божьему изволению, а не по многомятежному человеческому хотению». Грозный обвинял противника в кровожадности. «Мы ищем того, как бы кровь христианскую унять, а ты ищешь того, как бы воевать; так зачем же нам с тобой мириться? и без мира то же самое будет». Царь развертывает свою ученость, сравнивает Батория с Амаликом, Сеннахерибом и с воеводой Хосроя Сарваром. Нарушением всех преданий и международного права он считает притязания короля на выкуп: ведь в Ливонии он, царь, — наследственный государь, а Баторий — пришлец, который осмеливается требовать выхода по басурманскому татарскому обычаю.

В ответ на эту грамоту Баторий, поднимая перчатку, пишет в задорном стиле века. Называя царя Каином, фараоном Московским, Иродом, Фаларисом, волком, вторгнувшимся к овцам, ядовитым клеветником чужой совести, и плохим стражем своей собственной, он не забыл кольнуть Ивана IV острой насмешкой: «Почему ты не приехал к нам со своими войсками, почему своих подданных не оборонял? И бедная курица перед ястребом и орлом птенцов своих крыльями покрывает, а ты, орел двуглавый (ибо такова твоя печать), прячешься». Издеваясь над мнимой трусостью Ивана IV, король вызывал царя на личный поединок.

7

Поход 1581 года был направлен на Псков, сильнейшую крепость окраины Московского государства, давнишний оплот против западных врагов, прославленный борьбой с Ливонским

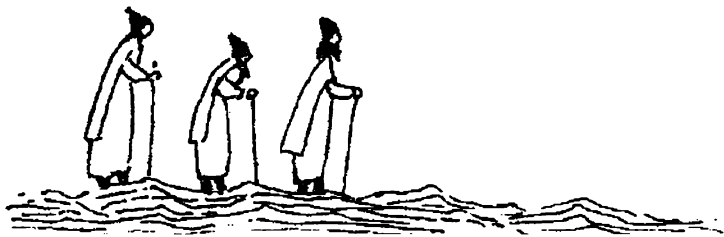
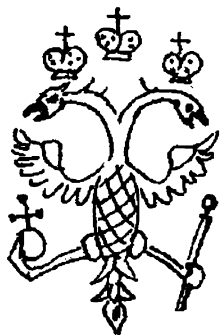
орденом. В совещаниях с военными начальниками под стенами крепости король объяснил, что Псков — ворота в Ливонскую землю; если принудить его к сдаче, вся эта страна достанется в руки завоевателям без пролития крови.

Могло казаться, что Псков будет взят штурмом или сдастся под давлением артиллерийского огня, как Полоцк и Великие Луки, но Баторий встретился с целым рядом трудностей. Во Пскове находился многочисленный гарнизон; воевода, князь Иван Петрович Шуйский, обнаружил себя человеком исключительной энергии. Снаряжение в крепости было обильное: своими громадными ядрами псковичи наносили немалый вред осаждающим. На первом приступе венгерцы и поляки, лучшие из солдат Батория, пробили брешь в стене и взяли две большие башни, Покровскую и Свинозкую. Но осажденные выбили штурмующих из занятых ими позиций.

Эта неудача до тех пор непобедимого врага произвела огромное впечатление на обе воюющие стороны. Осажденные начали пробовать вылазки, подводить подкопы к вражеской линии, и Шуйский даже сделал попытку напасть на польский лагерь. Баторий и Замойский, вынужденные перейти к правильной осаде города, встретились с ропотом и неповиновением своей пестрой армии. Литовцы определенно заявили, что на зиму не останутся и, не слушая ротмистров, требовали хороших зимних квартир, другие грозили уехать домой, третьи кричали, что не двинутся с места, пока им не будет уплачено жалованье. Наемники шумели, что они сражаются с опасностью для жизни ради чужих выгод и за провинцию, от которой не достанется ни им самим, ни государству никакой пользы.

Успокоить войска удалось только обещанием короля, что скоро будут начаты переговоры, и, следовательно, близится окончание военных действий. Момент мог быть решающим в пользу Москвы, если бы у Грозного оставались какие-нибудь силы для наступления. Но царь дошел до полной беспомощности. Особенно резко сказалось бессилие его, когда Радзивилл с летучим отрядом беспрепятственно дошел до Ржева и чуть не взял в плен самого Грозного в его Старицком лагере.

Под Псковом сорвалась та цель, которую в своем победоносном движении осмелился поставить себе Баторий, когда рассчитывал окончательно разгромить Москву. Он даже не мог обе-



спечить за Польшей Ливонию, пока в руках Грозного оставалась Нарва и возможность сношения с Европой. Но здесь русским окончательный удар нанес враг, к которому с пренебрежением относились обе воюющие стороны — шведы. Из Нарвы русские увели часть гарнизона, отправив ее на подкрепление Пскова. Делагарди поспешил воспользоваться положением вещей, перешел со смешанным наемным войском, в котором были между прочим итальянцы и немцы, по льду Финский залив, взял Тольсбург, Гапсаль, Вейсенштейн и Нарву. В это время перед Грозным возникла еще и опасность восстания казанских и астраханских татар; кроме того, изменил Москве старый союзник — Дания.

Среди этих исключительно тяжелых военных обстоятельств у царя, физически и нравственно разбитого, тем не менее нашлась энергия гениальным дипломатическим ходом спасти глубоко потрясенную державу. Вспомнив про заветную мечту пап о сближении православной Москвы с католической церковью, Грозный решил использовать римского первосвященника в качестве защитника против страшного завоевателя, призвать его быть посредником в великой международной распре. Еще во время великолуцкой кампании московский посол Истома Шевригин был отправлен в Италию через Ливонию и Прагу.

8

Казимир Валишевский, офранцуженный поляк, автор блестящей, остроумной и легкомысленной книги об Иване Грозном, изображает в юмористическом виде миссию Шевригина. Этот в его изображении невежественный москвит не знал, что Венеция — самостоятельное государство, а вовсе не часть папских владений; он не интересовался чудесами искусства, которыми папский двор готов был одарить царя и его посольство, говорил лишнее о неудачах своего государя. Привезенное им письмо царя Валишевский находит странным и бестактным; московский властелин выразил желание, чтобы папа приказал Баторию бросить союз с неверными, прекратить войну против христиан.

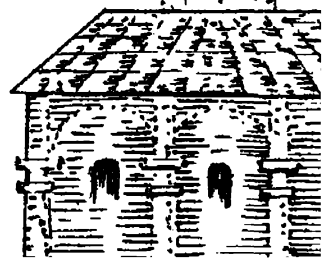
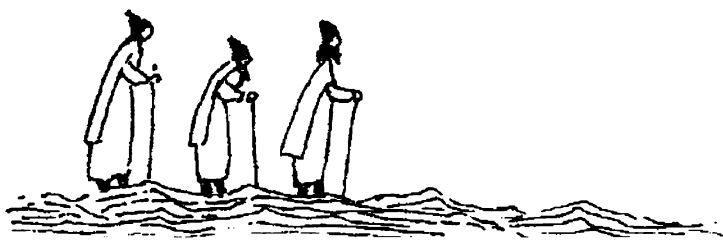
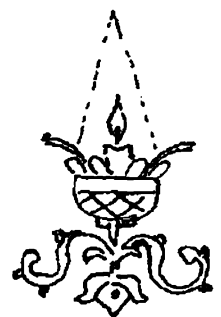
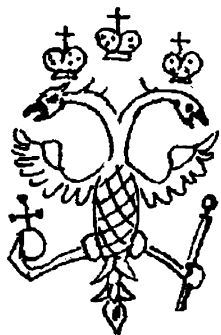
Однако уместно ли вообще смеяться над незнакомством Шевригина с политико-географической картой Италии? При папском дворе многие ли ясно представляли себе, где находится

Псков, на какой реке стоит Москва, в какое море впадает Волга? Историк тут же на другой странице сообщает об ответном послании папы Григория XIII, в котором выражен привет царице Анастасии, умершей за двадцать лет до того; судя по этой мелочи, осведомленность и тактичность папской канцелярии стояли невысоко.

В том же шутовском стиле рассказывается, как «варвару и неучу» — царскому гонцу — привелось не только создать сближение между Москвой и Римом, которому так старательно и упорно в течение века сопротивлялась Польша, но и как — больше того — он добился прямого давления со стороны Рима на врага Москвы. Шевригин кажется Валишевскому почти Иванушкой-дурачком в сложной дипломатической игре, которая привела к отправке в Москву иезуита Антония Поссевино и заключению почетного для Ивана IV мира. Он и самого Грозного готов считать случайной фигурой в этом свалившемся с неба счастье. Но тогда вообще ничего нельзя понять во всей изумительной истории вмешательства папы в эту войну! Ведь московская миссия увенчалась успехом, тогда как вызванный ее появлением проект, которым вдохновился папский двор и его искуснейший эмиссар — вовлечение Москвы в унию с католичеством, — оказался сплошным заблуждением западной дипломатии. Кто же тут был изобретателем, кому удалось провести до конца весь задуманный план?

Самый проезд папского посла к московскому двору перед началом осады Пскова показывал Ивану IV, что положение его далеко не безнадежное. В Старице Поссевино был встречен с восторгом, как устроитель мира. Но в то же время Грозный проявил необычайную сдержанность. В Москве не поднималось и речи о допущении католических церквей или каких-либо учреждений иезуитов, московский двор лишь выражал свое согласие на дипломатический обмен с Римом и на свободный проезд папских миссий в Персию. Папский престол не получил никаких привилегий; возможность вступления Москвы в лоно католической церкви оставалась столь же туманной и неясной, как и раньше, а между тем посол папы должен был приступить к своей посреднической роли.

С другой стороны, ему приходилось склонять к миру счастливого победителя. Поссевино попытался оказать давление на



Ивана IV письмом, в котором он изображал отчаянное положение Пскова, подход подкреплений к осаждающим и неминуемое предстоящее падение крепости. Для московского царя письмо послужило побуждением выставить проект, выработанный им вместе с наследником престола и боярами: он предлагал Баторию удержать за собой завоеванные литовцами ливонские города, но уступить Москве назад Великие Луки, Невель, Заволочье, Холм и псковские пригороды, забранные королем; на этой основе он готов был отправить послов при обязательном условии, чтобы посредником был «папин посол Антоней».

Положение иезуита было необычайно трудно. Обе стороны не доверяли ему, не соглашались открывать ему свои условия, и каждая, рассчитывая на стесненные обстоятельства противника, готова была затягивать переговоры. В первое время зимняя квартира Поссевино в Запольском Яме, составлявшая собственно курную избу, служила только местом, где послы двух воюющих держав обменивались резкостями и со скандалом расходились.

Иван IV дал своим уполномоченным — князю Елецкому, козельскому наместнику Олферьеву, дьяку Басенку Верещагину и подьячему Связеву — очень подробные инструкции, предусматривая целый ряд частных и случайных возможностей. Они усердно исполняли свою службу, отстаивая до последней крайности остатки ливонских владений, так что был момент, когда Замойский, под влиянием их упорства, готов был отказаться от нескольких крепостей в Ливонии. Московский царь был, однако, в такой мере стеснен войной, что сам предусмотрел в инструкции на крайний случай уступку всей Ливонии.

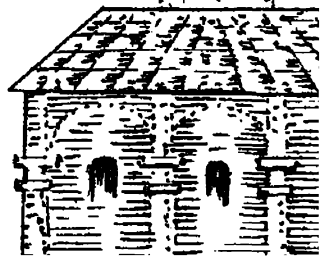
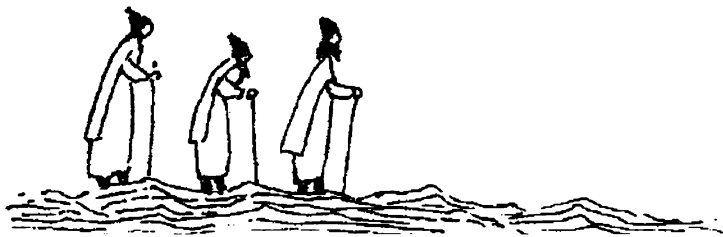
Искусство московских послов направилось на формальности, которым дипломатия русского двора всегда придавала большое значение. Они крепко отстаивали обозначение Ливонии отчиной царя, которую он добровольно уступает чужому властителю; они пытались ввести в договор уступку Риги и Курляндии, которые до того не находились в обладании Москвы; они зорко следили за тем, чтобы Польша не заявила потом своих притязаний на территории и города, захваченные шведами. Упорно спорили они также из-за двинских крепостей, захваченных неприятелем; о Полоцке, впрочем, и речи не поднималось, его Иван IV уступал молчаливо; но в переговорах послы сумели добиться отдачи

назад взятого Баторием Себежа, крепости, господствовавшей над выходом в долину реки Великой и в свое время выстроенной в качестве передового поста для наступления на Вильну.

Наглядно выразилась дисциплина, в которой Иван IV держал подчиненных чиновников, в следующем эпизоде. За возвращение Себежа Баторию нужно было отдать Велиж. Поссевино говорил московским послам, что, если они боятся за эту уступку гнева царя, он готов отдать за них свою голову. На это они заявили, что если бы каждый из них имел десять голов, царь приказал бы снять все эти головы за такое попустительство.

Послы проявили обычные черты московской дипломатии: долго упирались в вопросах этикета, доказывали историко-архивными ссылками необходимость присудить их государю титул царя. Но когда-то блестящая, стройно налаженная ученость Посольского приказа была теперь в некотором упадке в связи с глубоким унижением, которое вообще вынужден был претерпеть московский двор. После отчаянных препирательств, сопровождавшихся угрозами московских послов оборвать переговоры, Ивана IV прописали в договорной грамоте великим князем: опять обнаружилось, что в инструкции на крайний случай стояло согласие Грозного и на это умаление своего достоинства. В историческом споре, затеянном послами, согласно московским обычаям, они оказались не на высоте, запутавшись в примерах, которые, может быть, внушены были самим царем: они ссылались на передачу царского титула князю Владимиру императорами Гонорием и Аркадием, а когда Поссевино указал им на хронологическую ошибку в 500 лет, несколько не смущаясь, стали уверять, что то были другие Гонорий и Аркадий, жившие позже. Новодворский думает, что москвичи смешали их с другой парой братьев-императоров, Василием и Константином византийскими, современниками Владимира.

Ям-Запольский мир в 1582 году составляет трагическое завершение великой войны. Ее главной целью было открыть доступ к морю, вступить в общеевропейский обмен, занять положение в европейском международном мире. Но промежуточная страна Ливония и сама по себе представляла ценное владение, в котором за двадцать лет московитяне сумели довольно прочно утвердиться. Во время мирных переговоров московские уполномоченные отдали большое внимание вопросу о возвращении



церковных имуществ, помещенных в Ливонии; православных церквей было немало выстроено в восточной части края.

Уступка Ливонии означала для множества русских, в ней прижившихся, выселение. Гейденштейн рассказывает, что русские оставляли Дерпт с большим сожалением, так как с ним связаны были для них весьма дорогие воспоминания: женщины, сбегаясь на могилы мужей и детей, отцов и родственников, испускали страшные вопли, покидая родное пепелище. Другой современник, польский монах Пиотровский, обращает внимание на следы замечательной военной организации, которую развил побежденный враг в Ливонской окраине: «Нас всех изумляло, что во всякой крепости мы находили множество пушек, изобилие пороха и ядер, больше, чем мы сами могли набрать в нашей собственной стране... мы точно приобрели маленькое королевство, не знаю, сумеем ли мы что-нибудь сделать с ним».

9

Московское государство спаслось от угрожавшей ему гибели, спаслась и династия, сохранилась в неприкосновенности власть царя. Иван IV умирал в обладании созданной им в начале царствования громадной державой и в распоряжении системной службы и повинностей, которые он непрерывно расширял и реформировал, хотя финансовая и военная организация были крайне расшатаны.

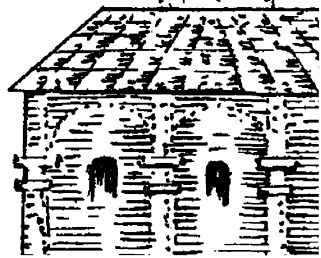
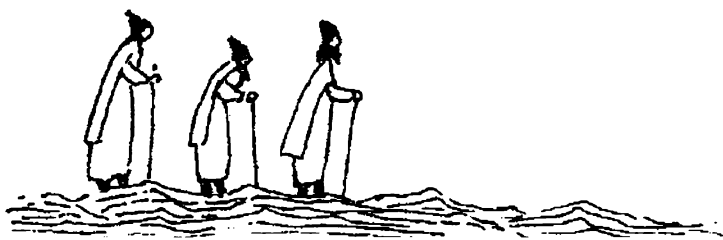
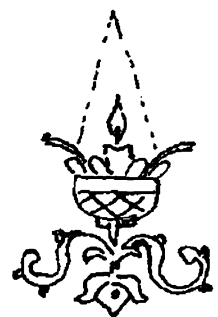
Что же избавило московскую военную монархию от катастрофы? Для того чтобы ответить на этот вопрос, пришлось бы повторить многие страницы данного очерка, напомнить о политическом разуме и слаженности учреждений, об искусстве династии, сумевшей держать классы общества в строгом повиновении, о громадности военных и финансовых средств Москвы. Все это, однако, приходит в упадок к концу войны: в 1570–1580-х годах нет прежних талантливых дипломатов и военных деятелей. Ивана Грозного окружают посредственности, деятели усердные, но второстепенные. Однако еще работает созданная им административная система, правящие круги не растерялись, не утратили самообладания и уважения к себе.

Московское государство в эту эпоху живет еще старыми запасами сил, накопленными за целое столетие. Не успел также

истратиться и разладиться тот изумительный человеческий материал, который зовется русским народом, та крепкая, бедная потребностями, долготерпеливая, привязанная к родному краю раса, которая составляла основу и оборону царства.

Давно сказано, что лучшую похвалу услышишь от врага. В хронике Балтазара Руссова, ярого ненавистника вступления московитов в Ливонию, есть удивительное признание героических качеств русских, которые еще больше оттеняются беспощадным суждением автора о своих «культурных» соотечественниках. «Русские, — говорит Руссов, — в крепостях являются сильными военными людьми. Происходит это от следующих причин. Во-первых, русские — работающий народ: русский, в случае надобности, неутомим во всякой опасности и тяжелой работе днем и ночью и молится Богу о том, чтобы праведно умереть за своего государя. Во-вторых, русский с юности привык поститься и обходиться скудной пищей; если только у него есть вода, мука, соль и водка, то он долго может прожить ими, а немец не может. В-третьих, если русские добровольно сдают крепость, как бы ничтожна она ни была, то не смеют показаться на своей земле, так как их умерщвляют с позором; в чужих же землях они держатся в крепости до последнего человека, скорее согласятся *погибнуть до единого, чем идти, под конвоем, в чужую землю. Немцу же решительно все равно, где бы ни жить, была бы только возможность вдоволь наедаться и напиваться.* В-четвертых, у русских считалось не только позором, но и смертным грехом сдать крепость» (курсив мой. — Р. В.).

Ивану Грозному досталось по наследству владеть этим кладом. Его самого судьба наделила исключительными данными выдающегося администратора и военного организатора. Его вина и несчастье состояли в том, что, поставивши себе великую цель превращения полуазиатской Москвы в европейскую державу, он не смог вовремя остановиться перед возрастающей силой врагов, что он растратил и бросил в бездну истребления одну из величайших империи мировой истории. Опять-таки оправданием или объяснением этой трагедии может служить его личная судьба: так же как он быстро исчерпал средства державы, он вымотал свой могучий организм, истратил свои таланты, свою нервную энергию.



Заключенное в январе 1582 года на десять лет Ям-Запольское перемирие обе стороны рассматривали лишь как временную передышку, и обе стороны принялись энергично готовиться к новой войне: обладание Ливонией и приобретение доступа к Балтийскому морю было жизненным вопросом для обоих соперников.

В том, что Иван Грозный, хотя и пораженный тяжелой неудачей, не хотел ни на минуту успокоиться, нет никакого сомнения. Красноречиво говорят о его неутомимости все меры внутренней политики, которые определяются одним господствующим мотивом — помочь военно-служилому классу выйти из поразившего страну хозяйственного кризиса, поднять военную способность служилых людей, увеличить состав их кадров, изыскать средства для вознаграждения за испытанные потери, обеспечить возможность правильно вести свое хозяйство и иметь все средства для наилучшего вооружения.

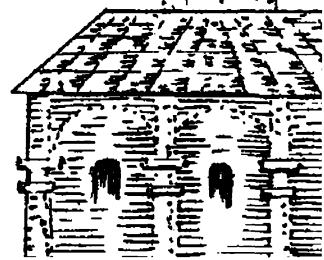
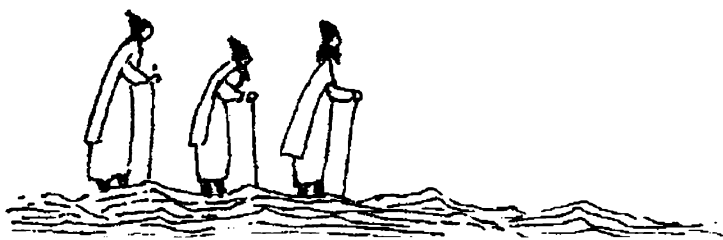
Меры эти — характера разнообразного: сюда относятся все способы давления на богатых землевладельцев, каковыми были высшее духовенство и крупные монастыри, отобрание у них дарений и вкладов, а также отмена тарханов, то есть предоставленных издавна монастырям льгот и изъятий по уплате налогов и пошлин. Все это должно было увеличить финансовые средства государства, расширить земельный фонд, раздачами из которого заведовал Поместный приказ. Тем же самым основным мотивом — стремлением восстановить пораженный кризисом служилый класс — руководилось правительство Ивана Грозного и в решении вопроса о рабочей силе в поместьях, который сводился главным образом к регулированию переходов крестьян от одного помещика к другому.

Тотчас же вслед за окончанием Ливонской войны появляются две административные меры, которые можно считать официальным началом крепостного права. Первой из них было издание «Уложения», которое ограничивало право перехода крестьян в Юрьев день; на основании этого общего распоряжения следующий — 1581 год — был объявлен «заповедным», то есть таким, когда выход крестьян в той или другой форме был воспрещен; запрещение было временным и должно было

оставаться в силе впредь «до государеву указу»; фактически оно держалось до 1586 года, когда опять было восстановлено прежнее право перехода. Последующие правительства Федора Ивановича и Бориса Годунова, следуя примеру, данному Грозным в 1581 году, чередовали заповедные годы с годами свободного выхода, вплоть до полной отмены Юрьева дня указом Василия Шуйского в 1607 году во время большого крестьянского восстания. Второй мерой была предпринятая в том же 1581 году и закончившаяся уже в 1592 году перепись, которая должна была в свою очередь положить конец переходам крестьян; записи в Писцовых книгах служили потом доказательством того, что данные крестьяне признаны «старожильцами» и правом перехода пользоваться не могут.

Были ли эти меры новизной, противоречившей прежней социальной политике правительства, показывают ли они поворот на какой-то иной социальный путь? Нет, в них приходится видеть продолжение все той же линии, которой держался Грозный с начала своего самостоятельного правления — линии борьбы с притязаниями крупных собственников и ограждения интересов помещиков средних и мелких. Юрьев день приходился на пользу исключительно крупным вотчинникам и архибогатым монастырям, которые переманивали к себе крестьян льготными условиями и оставляли, таким образом, малоимущих помещиков без рабочих рук при запустелой, заброшенной земле. Отмену свободы перехода правительство произвело не сразу, в виде общей решительной и окончательной меры принципиального свойства, а посредством временных, возобновляемых через известный срок фактических запрещений.

Мысль о введении заповедных лет была, может быть, внушена правительству помещиками Шелонской пятины, то есть старой Новгородской области, лежавшей на северо-западной окраине Московской державы. Это явление очень характерно: требование прикрепления крестьян к земле, на которой они раз поселились, требование обеспечения имений постоянным составом рабочих рук исходило от служилых людей той области, которая была театром бесконечно затянувшейся войны, которая наиболее пострадала, подверглась запустению и обезлюдению. Помещики этого края, все владельцы средние и мелкие, особенно остро ощущали нехватку рабочих рук и искали немедленной



непосредственной помощи от администрации. Но последствия этого обращения к властям частных лиц, местной группы помещиков были очень широки и значительны. Ту меру обеспечения имений постоянной рабочей силой, об издании которой просили помещики северо-западной окраины для себя, во внимание к местной неотложной нужде, правительство сделало общим правилом для всего государства; это обобщение запрета переходов можно признать фактом возникновения официального крепостного права.

VIII. Посмертный суд над Грозным

Если бы Иван IV умер в 1566 году, в момент своих величайших успехов на западном фронте, своего приготовления к окончательному завоеванию Ливонии, историческая память присвоила бы ему имя великого завоевателя, создателя крупнейшей в мире державы, подобного Александру Македонскому. Вина утраты покоренного им Прибалтийского края пала бы тогда на его преемников: ведь и Александра только преждевременная смерть избавила от прямой встречи с распадом созданной им империи.

В случае такого раннего конца, на 36-м году жизни, Иван IV остался бы в исторической традиции окруженный славой замечательного реформатора, организатора военно-служилого класса, основателя административной централизации Московской державы.

Ивану Грозному, однако, выпала на долю иная судьба, глубоко трагическая. Он прожил еще восемнадцать лет, и это были годы тяжелых потерь, великих бед для страны. Несчастье Грозного в том, что ему пришлось пережить слишком ранние свои успехи; слава его как завоевателя померкла, дипломатические и организаторские таланты забылись, он попал в другую историческую рубрику, под титул «тиранов», присоединился к обществу Калигулы, Нерона, Людовика XI и Христиерна II, в проблеме его личности психиатрические мотивы выступили чуть ли на первое место.

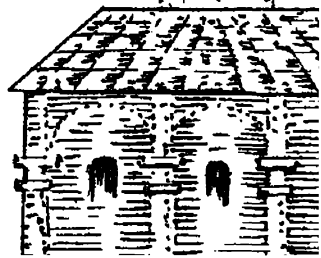
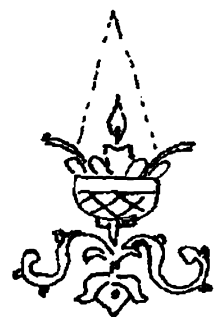
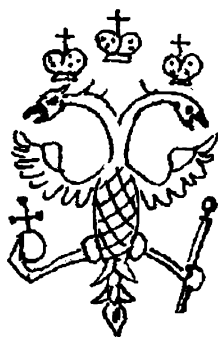
Как могла случиться такая пренебрежительная оценка этой, во всяком случае, очень крупной исторической личности?

1

В самом начале XVII века вышла во Франции написанная по-латыни и тотчас же переведенная на французский язык монументальная «Всеобщая история» де Ту (de Thou, или Thuanus, жил в 1553—1617 годах). В этой книге, быстро получившей популярность и много раз переиздававшейся потом еще и в XVIII веке, подробно рассказаны судьбы европейских государств, в том числе Москвы, во второй половине XVI века. Мы получаем здесь ряд характерных данных для того, чтобы судить, какое представление об Иване IV сложилось в Западной Европе в среде ближайших к нему поколений.

Приступая к рассказу о Ливонской войне, де Ту дает очерк истории возвышения Москвы. О самом Иване IV он говорит: «Государь столь же счастливый и храбрый, как его отцы, который вдобавок, соединяя хитрость и тонкий расчет с суровой дисциплиной в военном деле, не только сохранил обширное государство, оставленное Василием, но сумел далеко раздвинуть его границы. Завоевания Ивана IV дошли до Каспийского моря и царства Персидского. Этот царь знаменит великими делами, блеск которых иногда омрачала его жестокость». Затем историк говорит об изумительной военной системе Московской державы, о необычайном послушании воинства и прибавляет: «Нет государя, которого бы более любили, которому бы служили более ревностно и верно. Добрые государи, которые обращаются со своими народами мягко и человечно, не встречают более чистой привязанности, чем он».

Подробно излагает де Ту ход Ливонской войны, переговоры между Польшей и Литвой и, особенно, борьбу Ивана IV с Баторием. Заключение очень мрачно для Москвы и заставляет историка высказать свое суждение о царе, которое отчасти расходится с вышеприведенным. «Так кончилась Московская война, в которой царь Иван плохо поддержал репутацию своих предков и свою собственную. Вся страна по Днепру до Чернигова и по Двине до Старицы, края Новгородский и Ладожский были вконец разорены. Царь потерял более 300 тысяч человек, около 40 тысяч были отведены в плен. Эти потери обратили области Великих Лук, Заволочья, Новгорода и Пскова в пустыню,



потому что вся молодежь этого края погибла во время войны, а старшие не оставили по себе потомства».

Де Ту, видимо, писал на основании сведений главным образом польских и ливонских авторов, а также известий дипломатических миссий, посещавших Москву. Некоторые частности его рассказа, например объяснение верности русских царю, их восторженной религиозности, или картина великого плача русских при исходе их из Дерпта — почти прямое повторение современных Грозному иностранных авторов. Но как раз по вопросу о тиранстве Ивана IV де Ту готов критиковать их свидетельства: «Государь, ославленный своими ужасными жестокостями, если верить сообщениям Павла Одерборна и Александра Гваньини, у которых, может быть, больше догадок, чем истины».

Судя по изложению де Ту, Московская (то есть Ливонская) война оставила сильное впечатление в Западной Европе. Историк считает важным и знаменательным выступление царя в Прибалтике, манифесты его, договоры с ливонскими городами и сословиями, колонизационные попытки русских. Последнее трехлетие войны, успехи Батория и разгром Московской державы привлекают острое внимание повествователя; катастрофа Москвы кажется ему одним из выдающихся явлений европейской истории XVI века. В то же время опалы, казни, война со своими подданными совершенно неизвестны западноевропейскому историку, жестокость Ивана IV не кажется чем-то из ряда вон выдающимся. Нет еще того изображения московского царя в виде злого, безумно распаляющегося тирана, которое нам так знакомо со школьной скамьи и которое позволило историкам более позднего времени передать многозначительное, строго величественное в устах русских прозвище «Грозный» такими вульгарными словами, как *Jean le Terrible*, *Iwan der Schreckliche*.

2

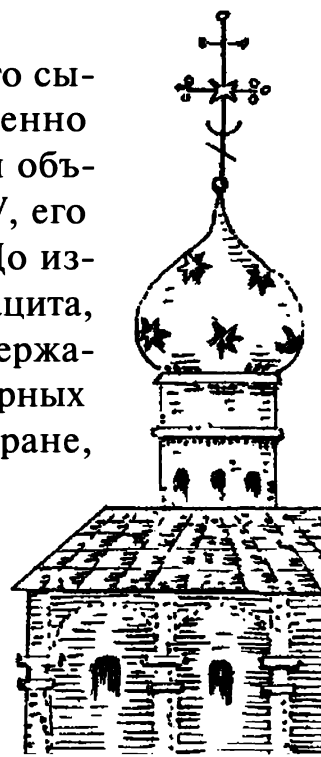
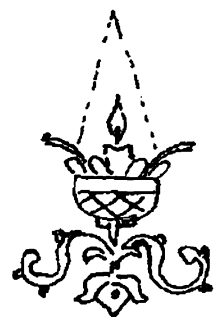
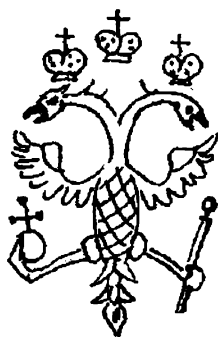
Усиленное внимание к жестокостям Грозного, суровый уничтожающий нравственный приговор над его личностью, склонность судить о нем как о человеке психически ненормальном — все это принадлежит веку сентиментального просветительства и великосветского либерализма. Поэтому едва ли у кого най-

дешь более беспощадную оценку Грозного, чем это сделал Карамзин, самый яркий в России историк и публицист эпохи просвещенного абсолютизма, который пишет отрицательную характеристику Ивана IV как бы для того только, чтобы оттенить сияющий всеми добродетелями образ Александра I и его «великой бабки», монархов гуманных и справедливых, исключительно преданных народному благу.

Карамзин в своем изображении дал, можно сказать, классическую схему для оценки личности и нравственной политики Грозного, от которой не могли отрешиться историки XIX века: до 1560 года это государь прекрасный, добрый и разумный, поскольку он весь под влиянием мудрых руководителей; после 1560 года прорывается натура порочная, злобно безумная, свирепствующая на просторе, извращающая здравые государственные начала. Русские историки последующего времени, хотя и чуждые идеализации просвещенной монархии, удержали, однако, неблагоприятную оценку Грозного. Отчасти это случилось потому, что осуждение самодержца как тирана служило одним из благодарных мотивов оппозиционно-либеральной риторики.

Отчасти это упорство историков XIX века объясняется и состоянием источников, относящихся к эпохе царствования Грозного. Ивану IV не посчастливилось на литературных защитников. Пересветов (впрочем, до конца XIX века остававшийся неизвестным) был только отдаленным пророком политики Грозного, рано и бесследно исчезнувшим со сцены. Хронологически за ним, в качестве русских свидетелей, идут представители консервативной оппозиции — Курбский, автор «Беседы валаамских чудотворцев» и более поздние писатели эпохи крестьянской войны — дьяк Иван Тимофеев²³ и князь Катырев-Ростовский²⁴.

Все они разделяют один недостаток, наличие которого сыграло роковую роль для памяти Грозного. Они совершенно равнодушны к росту Московской державы, ее великим объединительным задачам, к широким замыслам Ивана IV, его военным изобретениям, его гениальной дипломатии. До известной степени эти судьи Грозного похожи на Сенеку, Тацита, Ювенала, которые в резких нападках на римское самодержавие сосредоточивали свое внимание на явлениях придворных и столичных, оставаясь безразличными к громадной стране,



к окраинам, к внешней безопасности и славе знаменитой империи. У историков XIX века только одна тема, бесконечно развиваемая на все лады: осуждение жестокости московского царя. Они более всего напевают на раскол, который Иван IV внес в жизнь московского общества, разделив его на опричнину и земщину. «И царство свое, порученное ему от Бога, раздели на две части: часть ему себе отдели, другую же часть царю Семиону Казанскому поручи... и заповеда своей части оную часть людей насилovati и смерти предавати, дома их разграбляти и воевод, данных от Бога ему, без вины убивати, и грады краснейшия разрушати, а в них православных крестьян немилостиво убивати даже до сущих младенцев» (повесть кн. Ив. Мих. Катырева-Ростовского).

Никому из них не приходит в голову сказать хотя бы одно слово о военном и политическом значении опричнины. Эти старомосковские критики удивительно склонны к моральной отвлеченности. Автор «Беседы валаамских чудотворцев», монах, сторонник партии нестяжателей, возмущенный более всего преобладанием светских интересов в среде высшего духовенства, нападает на самое понятие самодержавия: оно кажется этому мирному анархисту страшным звуком, чрезмерной гордыней перед Богом. У него так же, как у Курбского, жажда возврата к патриархальной монархии, когда царь правил в тесном согласии с лучшими постоянными советниками.

Курбский не ждет ничего хорошего от новшеств и непрерывных перемен, совершаемых беспокойным духом властителя, он предрекает конец Московского государства вследствие обилия «трудных декретов и неудобоподъемлемых номоканонов». С Курбским сходится автор «Временника», излагающего события Смутного времени, Иван Тимофеев. Стараясь дать объяснение причин великой разрухи, он находит первую вину в тех политических переменах, которые были затеяны самим правительством. Пока государи держались повелений, данных Богом, и свято хранили благочестивую старину, московские люди соблюдали полное послушание. Когда же «предержатели... начаша древняя благоуставления законная и отцы преданая превращати и добрая обычая в новосопротивная изменяти», стал исчезать «естественный страх» подданных. Летописец Смуты хочет сказать, что корни пагубной революции заключаются

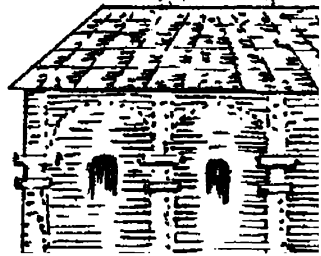
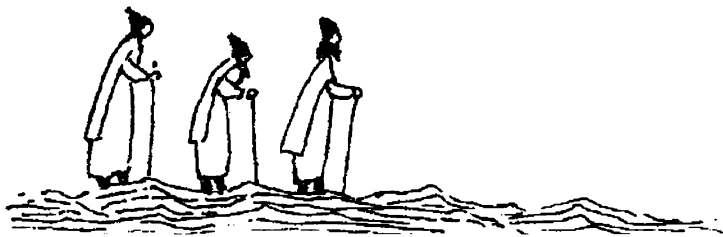
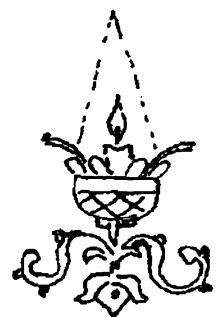
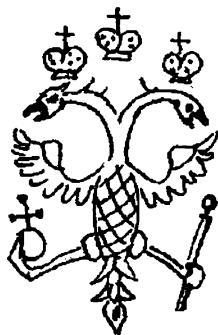
в поведении самих правителей; их реформы послужили первым подрывом существующего порядка.

Собственно говоря, жалобы консерваторов на изменение старины действиями самих носителей власти вовсе не представляют чего-либо нового. За четыре десятилетия до Курбского их высказывал опальный боярин Берсень, возмущаясь тем, что Василий III стал решать дела в спальне, запершись с какими-нибудь любимцами. Берсень прибавлял мрачное предсказание в том самом духе, как потом Курбский: «Государство, которое переменяет исконные обычаи, недолговечно».

Обвинение самодержавия в крайностях, в нарушении меры повторяется из поколения в поколение, но критики относят начало политических бедствий на разные сроки. Если Берсень находил корень «замешательств земли и нестроений великих» в приезде греков ко двору Ивана III вместе с царевной Софией Палеолог, то есть относил роковое событие к 70-м годам XV века, то Иван Тимофеев, готовый связать начало бедствий с опричниной Грозного, думает, очевидно, о 60–70-х годах XVI столетия. Однако, как ни существенно расходятся они в хронологии, а все-таки понимают одно и то же явление, и мы с некоторым удивлением замечаем, что дело идет об основном факте московской политики — образовании Великорусской державы.

Получается странное противоречие: великие организаторы Москвы, Иван III и Иван IV, оказываются в то же самое время и виновниками ее катастрофы.

Русским историкам XIX века, поскольку они доверяли идеям оппозиционеров XVI столетия, пришлось примирять суровые суждения современников с общей благоприятной оценкой державной политики московского правительства. Казалось, выход из противоречия состоит в том, что осторожная система основателя державы была испорчена личным произволом его внука, предпоследнего самодержца из династии Рюриковичей. Поэтому бесчинства опричнины Грозного, его странная беспокойная администрация должны были служить объяснением последующей «разрухи». Все крупное, что было сделано во время его молодости, как бы заглушено и опрокинуто его неистовыми капризами. В.О. Ключевский видит в опричнине борьбу не с порядками, а с лицами, в самом Иване IV признает лишь талант-



ливого дилетанта. С.Ф. Платонов, хотя допускает в опричнине широкий и во многих отношениях целесообразный военно-административный план, все-таки находит в деятельности Грозного нервическую переброску людей и служебных поручений, непрерывный разгон и разгром, который не давал никому осесть на месте и заниматься делом, а потому в конце концов разрушал основы созданного в ранние годы Ивана IV порядка и таким образом приблизил Смуту.

В этих суждениях забывалось одно очень существенное обстоятельство, а именно то, что крупнейшие социальные и административные реформы Грозного — борьба с княжатами, возвышение за счет старого боярства неродовитых людей, усиление военной повинности и народной тяготы, централизация управления — происходило не в мирную пору, а среди величайших военных потрясений. В сущности, все царствование Ивана IV было почти сплошной непрекращающейся войной. В 1551–1556 годах идет борьба за Поволжье. С 1558 года, в течение двадцати четырех лет, тянется крупнейшая из войн русской истории — борьба за Ливонию, за выход к морю, осложненная жестокими столкновениями с Крымом, Польшей и Швецией. Положение весьма похоже на то, в каком находился Петр I, жизненной целью которого было завоевание того же самого «окна в Европу».

Исторический приговор об Иване Грозном, во всяком случае, не должен быть строже, чем о Петре I, принимая во внимание, что условия, в которых действовал московский царь в XVI веке, были несравненно более тяжелыми. И уж если осуждать Грозного, то придется поставить ему в вину или самую идею войны, или, по крайней мере, то, что он не смог вовремя бросить неудавшееся предприятие, что он сокрушал в Ливонии лучшие силы своей державы. Но чем больше мы будем настаивать на обвинениях такого рода, тем дальше мы уйдем от характеристики Ивана IV как капризного тирана. Если Грозный заблуждался относительно возможности приобретения Балтийского побережья, то во всяком случае не легкомыслием и не прихотью веет от железной настойчивости, с какой он ведет борьбу, отправляет год за годом в бой свои вооруженные силы, пускает в ход свое техническое административное и торгово-политическое искусство, действует угрозой и лаской, неотступно и на десятки

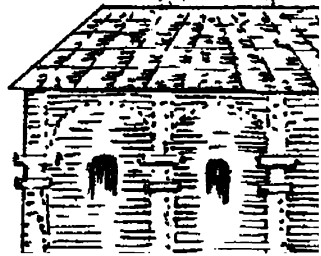
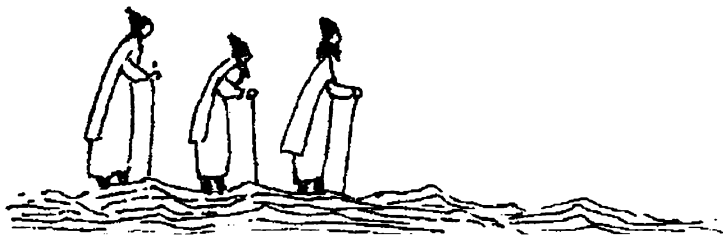
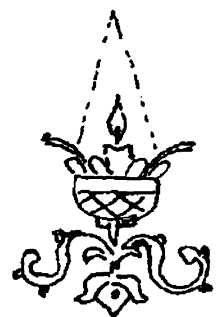
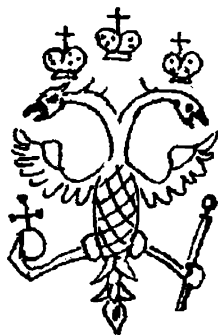
ладов, на население вновь приобретенной страны, старается привлечь иностранцев, усилить энергию русских промышленников.

3

Московская оппозиция XVI века, обвиняя Грозного в неистовых зверствах, относит их происхождение к его порочной натуре. Никому из судей не приходит в голову видеть в казнях и погромах Ивана IV дельную, обдуманную систему политики. Честь изобретения сложного обвинительного акта в этом последнем смысле принадлежит иностранному наблюдателю, и притом представителю «дружественной нации», которая извлекла всего больше выгод от Москвы и неизменно платила ей самым черствым равнодушием. Мы разумеем Флетчера и его знаменитое сочинение о Русском государстве, появившееся в результате его миссии в Москву в 1589 году.

У Флетчера были предшественники, и все они так или иначе отражают английскую манеру обращения с Москвой как со страной азиатской, не ведающей скрытых в ней богатств и существующей на свете как бы ради того, чтобы сделаться предметом эксплуатации для культурнейшей нации мира. Нет ничего характернее наивно-дерзкого предложения англичан передать в их руки все сношения Москвы со Швецией и Данией, тогда как с этим двумя странами существовал издавна прямой дипломатический и торговый обмен. Так было во всем. У английских колонизаторов намечалась в отношении Москвы та самая политика, которая потом отдала в их руки судьбу Индии и сделала громадный южно-азиатский мир бездыханным трупом, слепым орудием в распоряжении европейских завоевателей.

Англичан мало интересует прошлое русского народа, его сложная драматическая история, его красноречивые летописи. Они почти не упоминают о громадных усилиях русских пробиться к морю. Все это в их глазах факты неинтересные, потому что они не нужны и даже неудобны англичанам. Бичуя и осмеивая косность, техническую и литературную отсталость русских, обвиняя их в непонимании европейской культуры, англичане, в сущности, довольны таким положением вещей, потому что оно обуславливает рыхлость и неподвижность громадного го-



сударства и открывает простор промышленным предприятиям передовой английской нации.

У Флетчера это общее пренебрежение к русским обострено под влиянием неудачи его миссии, а также в результате особенностей его характера и его политической карьеры. Флетчер приехал в Москву через пять лет после смерти Грозного оправлять расстроенное дело английской торговой компании, пострадавшей от своих же агентов, и хлопотать о дальнейшем расширении ее прав и монополии в пределах Московского государства. В числе развязных, пренебрегавших вежливостью английских послов он повел себе по преимуществу дерзко и бестактно при церемонном московском дворе, отказавшись прочесть весь царский титул, за что был лишен личных аудиенций у царя, вынужден был вести переговоры с чиновником — дьяком Щелкаловым и этим с самого начала поставил себя в невыгодное положение.

Надо было оправдаться в своей неудаче перед королевой — Флетчер рассчитывал занять место придворного историографа Елизаветы. Он решил, что достигнет той и другой цели, если даст описание Московского царства с характеристикой порядков, «совершенно не похожих на правление Вашего Величества», как он пишет в предисловии, если изобразит Москву в качестве страны варварской, управляемой жестокими азиатскими приемами, невежественной, погибающей от застоя и незнакомства с просвещенной Европой; на этом мрачном фоне тем ярче должно было выделяться законосообразное, основанное на договоре правление английской королевы.

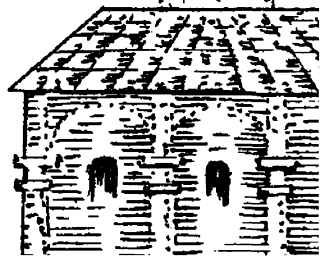
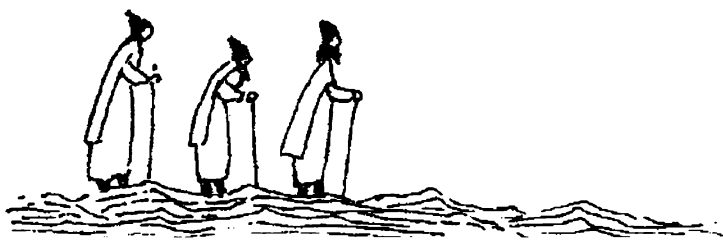
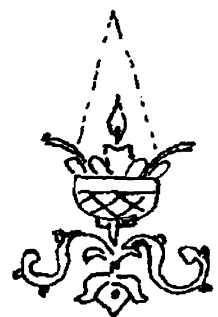
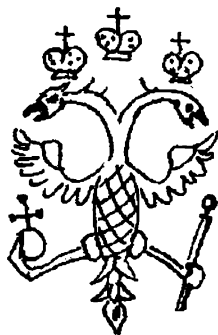
По Флетчеру, в России народ и правители стоят друг друга, пороки той и другой стороны взаимно обусловлены. Русские лживы, недобросовестны, склонны к насилию, исполнены недоверия друг к другу; русский народ расколот надвое, высшие и низшие классы ненавидят друг друга. А происходит это от жестокого и злонамеренного управления, от сознательной политики правительства, поддерживаемого хитростью своекорыстного духовенства, которое старается держать народ в невежестве.

Грозный для Флетчера «человек высокого ума и тонкий политик в своем роде» — чистейший представитель адски макиавелистической политики. Он разгромил родовую аристократию,

истребил ненавистных ему «дворян», вытащил из грязи и неизвестности новых людей вовсе не по народническим побуждениям, а для того, чтобы разжечь вражду классов и тем безнаказаннее господствовать над ними. С той же целью он позволяет своим чиновникам притеснять и грабить народ. Флетчер постоянно возвращается к теме о невероятном утеснении простого народа, хотя не может привести в пользу этого утверждения никаких фактов.

С.М. Середонин²⁵ в превосходной работе показал, как поверхностны и часто не верны у Флетчера данные, относящиеся к строю московских учреждений, как подчиняется его картина русской администрации предвзятым его идеям. Одним из разительных примеров такого легкомыслия и недобросовестности Флетчера может служить его объяснение роли губных старост, которых он считает помощниками и подчиненными присылаемых из центра наместников и чиновников: он совершенно не вник в характерное для Москвы XVI века местное самоуправление. Легковесность наблюдений Флетчера лишила его, между прочим, очень важной для него иллюстрации деспотизма Грозного: он ничего не говорит об опричнине, хотя многое в этом учреждении подходит для обвинения царя.

Флетчер писал в эпоху расцвета политического либерализма, представленного в XVI веке талантливой школой «монархомахов». Их красивые звучные и смелые фразы о вреде неограниченной монархии, о защите народных прав представителями общественного мнения, разумности парламентаризма закрывают часто бессодержательность их собственной программы, аристократическую узость и своекорыстие того класса, которому принадлежали ораторы и писатели, прославлявшие свободу. В XIX веке историки, увлекавшиеся всеми видами оппозиции государственной власти, легко попадали в колею ранних обличений деспотизма и потому охотно принимали суждения отцов либерализма — публицистов XVI века. Флетчер, не имевший большого успеха в свое время, преследуемый английской торговой компанией, которая боялась, чтобы его резкая критика не испортила ее отношений с Москвой, был очень оценен в XIX веке, когда в России настало опять слепое увлечение английскими порядками. Его резкие приговоры, его злые обличения пришлись по душе тем поколениям, которые отворачивались от



русского «варварства» и жили всеми своими помышлениями и желаниями в Западной Европе.

Так завершился суд новейшего времени над Грозным. Своеобразно обошлась судьба с этим богато одаренным детищем умирающей полуазиатской Москвы: полный увлечения европейской культурой, жадно тянувшийся к Западу, готовый бежать туда, чтобы окончить свои дни в прекрасной стране своего идеала, Грозный был разбит самым типичным воителем беспощадного к русским Запада, Баторием; англофил, он получил еще посмертный удар, как бы напутственное проклятие от Флетчера, представителя той самой нации, которой он более всего поклонялся.

Сергей Платонов
Иван Грозный



I. Грозный в русской историографии

Для подробного обзора всего того, что написано о Грозном историками и поэтами, потребна целая книга. От «Истории Российской» князя Михайлы Щербатова (1789) до труда Р.Ю. Виппера «Иван Грозный» (1922) понимание Грозного и его эпохи пережило ряд этапов и пришло к существенному успеху. Можно сказать, что этот успех — одна из блестящих страниц в истории нашей науки, одна из решительных побед научного метода. Автор надеется, что последующие строки достаточно раскроют эту мысль.

Главная трудность изучения эпохи Грозного и его личного характера и значения не в том, что данная эпоха и ее центральное лицо сложны, а в том, что для этого изучения очень мало материала. Бури Смутного времени и знаменитый пожар Москвы 1626 года истребили московские архивы и вообще бумажную старину настолько, что события XVI века приходится изучать по случайным остаткам и обрывкам материала. Люди, не посвященные в условия исторической работы, вероятно, удивятся, если им сказать, что биография Грозного невозможна, что о нем самом мы знаем чрезвычайно мало. Биографии и характеристики Петра Великого и его отца Алексея возможны потому, что от этих интересных людей остались их рукописи: деловые бумаги, заметки, переписка, словом — их архив. От Грозного ничего такого не дошло. Мы не знаем его почерка, не имеем ни клочка бумаги, им самим написанного. Все старания известного археографа Н.П. Лихачева¹ найти такой клочок и определить хотя бы строчку автографа Грозного не привели ни к чему. Осторожный исследователь ограничился тем, что опубликовал две краткие

надписи, «не делая предположений» (как он выразился), но давая понять, что в одной из них он готов допустить факсимиле почерка Грозного*).

Тексты тех литературных произведений, которые приписываются Грозному, дошли до нас в копиях, а не в автографах, и мы не можем восстановить в них точного авторского текста. Знаменитое «послание» царя Иоанна к князю Андрею Курбскому 1564 года имеется в разных редакциях и во многих списках с существенными разночтениями, и мы не знаем точно, какую редакцию и какое чтение надлежит считать подлинными. То же можно сказать и о всех прочих «сочинениях» Грозного. Даже официальный документ — «Завещание» Грозного (1572) — не сохранился в подлиннике, а напечатан с неполной и неисправной копии XVIII столетия. Если бы нашелся ученый скептик, который начал бы утверждать, что все «сочинения» Грозного подложны, с ним было бы трудно спорить. Пришлось бы прибегать ко внутренним доказательствам авторства Грозного, ибо документальным способом удостовериться его нельзя. Исключением является только переписка Грозного с одним из его любимцев Василием Григорьевичем Грязным-Ильиным. Грязной попал в плен к крымским татарам, и по делу о выкупе Грозный «милостиво» вступил с ним в переписку. Тексты писем царя и Грязного внесены были в свое время в официальную книгу «Крымских дел», и потому могут рассматриваться как документ, как точная заверенная копия переписки. Этим самым переписка царя с Грязным получает особенную историческую важность, правильно определенную последним ее исследователем П.А. Садиковым.

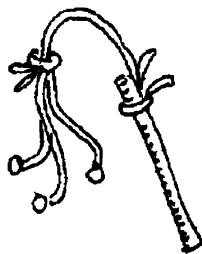
Если так обстоит дело с личными сочинениями и письмами Грозного, то немногим лучше положение и всего летописного материала того времени. Московское летописание в XVI веке стало делом официальным, и летописи поэтому сдержанны и тенденциозны. Казенные летописатели, пользуясь частными летописными записями, или обезличивали их, или же переделывали на свой лад. Излагая по-своему происходящие события, они держались строго правительственной точки зрения. Много

* Н. Лихачев. Дело о приезде в Москву Антонио Поссевина (СПб., 1893). С. 60, табл. IV. — *Здесь и далее постранично — прим. авт.*

следов мелочной переработки летописей, в духе Грозного царя, можно видеть в так называемом лицевом своде. В XIII томе «Полного собрания русских летописей» дано несколько снимков этого свода, переделанных и дополненных, по-видимому, по указаниям самого Грозного. Понятно, что пользоваться такого рода источником историк должен крайне осмотрительно: иначе он станет жертвою одностороннего понимания событий. Но такая же опасность грозит ему и с другой стороны. Царь и его казенные летописцы излагали московские дела по-своему, но по-своему же их изображали и политические противники Грозного.

Пресловутый князь А.М. Курбский, убежавший от московского террора в Литву, там написал свою «Историю о великом князе Московском». Это очень умный памфлет, направленный на обработку общественного мнения в Литве. В нем много ценного и точного исторического содержания, и потому все тенденциозные выходки Курбского против Грозного получают особую силу. Но все-таки это памфлет, а не история, и верить его автору на слово нельзя. Еще в большей степени пристрастны иностранные сказания о Грозном. Их наиболее ярким образцом можно счесть «послание» лифляндцев Таубе и Крузе о «великого князя Московского неслыханной тирании». Даже сдержанный Флетчер, ученый англичанин, бывший в Москве лет пять спустя после кончины Грозного, не избег общего настроения: к памяти московского тирана он относится беспокойно, приписывая личной вине Грозного все неурядица московской жизни того времени.

Историк, вращаясь в круге подобных летописных известий и литературных сказаний, современных Грозному, должен ко всем данным своих источников относиться с сугубою осторожностью и учитывать возможность не только простой субъективности, но и страстной тенденции в каждом изучаемом памятнике. Для него нет твердой почвы и в произведениях тогдашней литературной письменности. Время жгучей борьбы, политической и социальной, налагало свою печать на все: литературный интерес современников Грозного был направлен на боевые темы переживаемого момента. Но младенческое состояние политической мысли не позволяло твердо и четко понять и обсудить эти темы, и в разного рода «беседах», «посланиях», «изветах», «челобитных» и «сказаниях» того времени исследователь на-



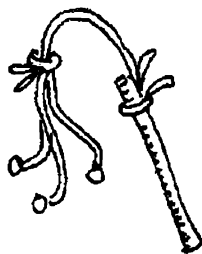
прасно ищет определенных целей и программ. Он находит лишь смутный лепет и неясные намеки на действительность, намеки непонятные и испорченные к тому же невежеством переписчиков. Литература эпохи так же, как собственно исторические источники, дает историку очень мало не только толкований, но и просто объективных фактов для того, чтобы он сам мог создать толкование эпохи.

При таком состоянии исторического материала, конечно, невозможно составить серьезную, практически полную биографию Грозного. Стоит дать себе труд припомнить, что и за какие годы жизни Грозного знаем мы о нем. Такое припоминание покажет, что за целые ряды лет у нас нет лично о Грозном никаких данных. Так, например, о первых годах его жизни не имеется никаких сведений, кроме трех-четырёх упоминаний в письмах (1530–1533) его отца великого князя Василия к его матери Елене Васильевне. Великий князь был в отъезде и беспокоился о здоровье своего первенца, «что против пятницы Иван сын покрячел»: именно «у сына у Ивана явилось на шее под затылком место высоко да крепко». Простой веред у малютки прошел благополучно, и затем до его тринадцатилетнего возраста ни о его здоровье, ни о жизни вообще ничего не известно. В конце 1543 года тринадцатилетний государь-сирота впервые показал свой нрав — арестовал одного из виднейших бояр, князя Андрея Шуйского, и «велел его предати псарем, и псари взяша и убиша его». «И от тех мест (замечает летопись) начали бояре от государя страх имети». До 1547 года, однако, ничего неизвестно о дальнейших поступках юноши великого князя. В 1547 году Грозный женился и сменил титул великого князя на титул царя. Затем до 1549 года опять темный промежуток. В 1549–1552 годах Грозный законодательствует и воюет; в 1553 году болеет тяжко и ссорится со своими боярами; и «от того времени бысть вражда промеж государя и людей». Вторая половина 50-х годов опять темна; о личной жизни Грозного ничего не знаем; знаем кое-что лишь о его политике относительно Ливонии, о начале войны. В 1560 году умерла первая жена Грозного; в нем самом совершилась какая-то перемена настроения. Дальнейшая эпоха полна рассказов о его зверствах, о терроре опричнины. Рассказывают почти исключительно иностранцы и Курбский. Русские источники молчат, ограничиваясь крат-

кими замечаниями вроде того, что в 1574 году «казнил царь на Москве, у Пречистой на площади в Кремле, многих бояр, архимандрита Чудовского, протопопа и всяких чинов людей много, а головы метали под двор Мстиславского». Но все эти рассказы и замечания противоречивы и мало определены, датируются с трудом и возбуждают много недоразумений, о которых можно читать и у Карамзина, и у позднейших историков. А документов мало: даже указ об учреждении опричнины не дошел до нас в подлинном виде. Ни точной хронологии, ни достоверного фактического рассказа о деятельности и личной жизни Грозного построить нельзя. Перед историком проходят целые вереницы лет без единого достоверного упоминания о самом Грозном. Какая «биография» тут возможна? И где тот материал, на котором было бы можно построить правильную «характеристику». В данных условиях мыслимы только догадки, более или менее вероподобные, более или менее соответствующие указаниям скудного материала.

Историк XVIII века князь М. М. Щербатов в своей «Истории Российской», «прошед историю сего государя», вынес впечатление, что Грозный «в столь разных видах представляется, что часто не единым человеком является». Порабощенный противоречиями своих источников, историк перенес их на характер своего героя. Не без остроумия замечал он о Грозном, что «в ком самовластие, соединенное с робостью и низостью духа находится, в том обыкновенно оно производит следствия непомерной горячности, недоверчивости и сурового мщения». Дальше этого Щербатов не шел. Указанные недостатки Грозного он противопоставил его «проницательному и дальновидному разуму» и в этом видел внутреннее противоречие и двойственность характера Грозного.

Тот же взгляд на Грозного, но с большим литературным искусством, выразил Карамзин в своей «Истории государства Российского». Подходя к описанию времени Грозного, Карамзин предвкушал прелесть предстоящей темы: «Какой славный характер для исторической живописи!» — писал он А. И. Тургеневу о Грозном. Мрачная драма той эпохи казалась Карамзину литературно занимательной, и он изобразил ее с большим художественным эффектом. Но характера Грозного он не уловил так же, как Щербатов, хотя и пытался обнять его «умозрением».

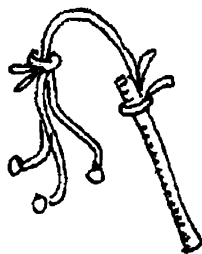


«Несмотря на все умозрительные изъяснения (писал он в своей “Истории”), характер Иоанна, героя добродетели в юности, неистового кровопийцы в годах мужества и старости, есть для ума загадка».

Карамзин пытался разъяснить эту загадку, следуя тому толкованию Курбского, что Грозный всегда был умственно не самостоятелен и подчинялся посторонним влияниям. Он был добродетелен, когда «опирался на чету избранных — Сильвестра и Адашева», и нравственно пал, когда приблизил к себе развратных любимцев. Он представлял в себе «смесь добра и зла» и совмещал, казалось бы, несовместимые качества: «разум превосходный», «редкую память» с жестокостью «тигра» и с «бесстыдным раболепством гнуснейшим похотям». Постоянно ударяя в своих отзывах на противоречия природы Грозного, Карамзин, однако, не давал, так сказать, ключа к объяснению этих противоречий и оставлял неразгаданную свою для ума загадку. Образ несамоостоятельного, подверженного влияниям монарха был бы целостным, если бы Карамзин допустил в своем умозрении умственное ничтожество Грозного. Но он этого не мог допустить, ибо Грозный всегда ему являлся «призраком великого монарха», «деятельным», «неутомимым» и «часто проницательным»...

«Загадка» Карамзина была изложена им замечательно картинно и красноречиво. Эпоха Грозного ожила под его искусным пером и читалась с большим увлечением. Естественно было попытаться на материале, данном в «Истории» Карамзина, построить более удачное и тонкое изображение личности Грозного, чем то, какое дал сам Карамзин. И такую попытку сделали московские славянофилы, обсуждавшие характер Грозного, по-видимому, всем своим кружком. То, что созрело в их суждениях, было вынесено в печать К. Аксаковым² и Ю. Самариним³. Последний в своем труде о Стефане Яворском и Феофане Прокоповиче в нескольких словах дал указание, что «тайна (Иоанна) лежит в его собственном духе: чудно совмещались в нем живое сознание всех недостатков, пороков и порчи того века с каким-то бессилием и непостоянством воли». Это «страшное противоречие» в Грозном его умственного превосходства со слабостью воли есть основное его свойство, объясняющее весь характер. Аксаков полнее судил о Грозном, стоя на той же

точке зрения, что и Самарин. «Отсутствие воли и необузданная воля — это все равно», — говорит он по поводу Грозного, указывая, что «порча в Иоанне» и его нравственное падение произошли тогда, когда он «сбросил с себя нравственную узду стыда» и ударился в произвол, открыв дорогу дурным на себя влияниям. Ослабление воли в сочетании с силою острого ума — одно из основных свойств Грозного. Но столь же основной была и еще одна черта. «Иоанн IV был природа художественная в жизни», — говорит Аксаков. Образы и картины господствовали над душою Грозного, влекли его своею красотою, заставляли его осуществлять их в жизни, любоваться ими. Не трезвая мысль, а поиски красоты, «художественность» владела Грозным и увлекала его к самым диким и к самым низким поступкам. Таким образом, в Грозном «много было двигателей его духа», осложнивших его духовную природу. Эти попытки славянофильского кружка развить карамзинский взгляд и сделать его более цельным положили начало длинному ряду художественных воспроизведений характера Грозного. За славянофилами между прочим пошел Костомаров⁴, обращавшийся к Грозному не один раз в своих популярных произведениях. За ними же следовал граф Алексей Толстой в «Князе Серебряном» и «Смерти Иоанна Грозного». Представление, созданное ими, стало ходячим. И когда Антокольский, Репин и Васнецов воплотили этот взгляд в определенную фигуру, всем стало казаться, что Грозный понятен и ясен, что в нем все доступно психологу и патологу. Чрезвычайная, утонченная жестокость Грозного, изменчивость его настроений, соединение острого ума с явной слабостью воли и склонностью поддаваться посторонним влияниям — все эти присвоенные Грозному свойства манили к себе именно патологов, — и вот понемногу создавалась значительная врачебная литература о Грозном. Она внимательно изучена и характеризуется Н. П. Лихачевым. Историк, обладающему научным критическим методом, вся эта литература кажется ненаучной, диагностики — произвольными и построенными на смелых и совершенно беспочвенных догадках. Нет оснований верить медикам, когда они через триста лет после смерти пациента, по непроверенным слухам и мнениям, определяют у него «паранойю» (однопредметное помешательство), «дегенеративную психопатию», «неистовое умопомешательство», «бредовые



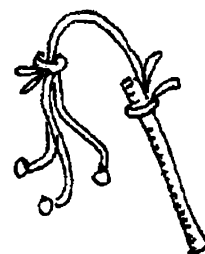
идеи» и, в общем, ведут нас к тому, чтобы признать Грозного больным и совершенно невменяемым человеком. Такой вывод — естественный финал для того научно-литературного направления, которое в изучении эпохи Грозного ограничивает свой интерес центральной личностью и в характере лица ищет ключ к разумению исторического момента во всей его сложности. Человек вообще склонен объявить то, что ему непонятно, не имеющим смысла, и то, что ему кажется странным, считать за ненормальное. Отдавая дань этой человеческой слабости, Костомаров писал о Грозном, что «Грозный не был безусловно глуп», тогда как современники почитали Грозного «мужем чудного разума». Медики сочли Грозного помешанным выродком, тогда как современные ему политики считали его крупной политической силой даже в самые последние годы его жизни. Здравый исторический метод ищет терпеливо разгадки того, что непонятно, и объяснения того, что странно, не решаясь на скорые бесповоротные заключения, а отыскивая новые пути к познанию явлений, не сразу поддающихся исследованию.

С правильным историческим методом впервые познакомили русскую публику представители так называемой историко-юридической школы, и во главе их С.М. Соловьев⁵. К деятельности Грозного он подошел со своею основною мыслью, что историческая жизнь русского народа представляет собою цельный процесс развития патриархального быта в государственные формы. Ему хотелось определить, какова роль Грозного в этом процессе. И Грозный представился Соловьеву положительным деятелем, носителем государственного «начала» в жизни его народа и противником отживавшего уклада «удельно-вечевого». Задачи своего времени Грозный разумел лучше современных ему консерваторов; он стремился вперед, когда окружавшая его среда еще дышала старой традицией. У него была государственная программа и широкие политические цели. Нет нужды скрывать личные слабости, недостатки и пороки Грозного, но надо помнить, что не ими определяется его историческое значение. Внутренние реформы и внешняя политика Грозного делают его крупным историческим лицом, и иначе понимать его историк не может. Точка зрения Соловьева была принята всею его школой. Она была даже доведена до крайней, фальшивой идеализации Грозного в статье современника Соловьева К.Д. Кавелина⁶,

который представлял Грозного «великим», считал его предтечей Петра Великого и с сокрушением указывал на то, что Грозного погубила его среда — «тупая», «бессмысленная», «равнодушная и безучастная», лишенная «всяких духовных интересов». «Великие замыслы» Грозного были извращены в бесплодной борьбе с этой средой, и сам он пал морально от своей роковой неудачи.

Конечно, гиперболы Кавелина не были усвоены всею школою историков-юристов, но мысль о том, что можно сопоставлять Грозного с Петром Великим получила дальнейшее развитие. К.Н. Бестужев-Рюмин⁷ в обстоятельной статье «Несколько слов по поводу поэтических воспроизведений характера Ивана Грозного» решительно предложил это сопоставление и провел параллель между «двумя нашими историческими лицами: Петром Великим и Иоанном Васильевичем Грозным». По представлению Бестужева-Рюмина — это «два человека с одинаковым характером, с одинаковыми целями, с одинаковыми почти средствами для достижения их». Главное различие в том, что один преуспел в своих стремлениях, а другой не преуспел. На внешней политике обоих строит Бестужев свою параллель и главным образом на стремлении их к Балтийскому морю. Личные свойства и пороки Грозного мало занимают Бестужева, как и других историков этого направления: об этих свойствах надлежит упомянуть, но не должно на них строить изображение эпохи и оценку ее центрального лица.

Так к 1880-м годам определились два способа отношения к Грозному, две манеры его оценок. Дальнейшее развитие историографии не упразднило ни одной из них, но очевидно дало торжество той, которая, пренебрегая целями личной характеристики, стремилась оценить Грозного как деятеля, как политическую силу. Научный метод историко-юридической школы оказал могучее влияние на развитие науки русской истории. Труды русских историков стали расти и количественно, и качественно. Началась деятельная разработка архивных материалов, главным образом Московского государства. В последние десятилетия XIX века и в начале XX был поставлен и научно разработан ряд тем, относящихся, в частности, ко времени Ивана Грозного. Темы эти ставились совершенно независимо от личных оценок самого Грозного. Они имели целью проникнуть в разумение правительственного механизма и общественного строя Москвы

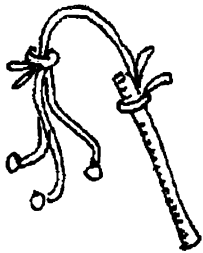


XVI века и создать ясное представление о том внутреннем кризисе, какой переживало тогда Великорусье в глубинах народной жизни. Успех этой научной работы был очень велик. Были изучены главные исторические источники эпохи — летописные своды, писцовый материал и актовый материал, уцелевший от пожаров и иных катастроф. Обозначилась постепенность и выяснились взаимная связь и результаты пресловутых «земских реформ» 1550-х годов. Вскрыта была финансовая система московского правительства XVI века. Определен был истинный характер опричнины. Была изучена деятельность московской власти по обороне южных границ государства в связи с колонизацией Дикого поля. Стали ясны состав, устройство и быт служилого класса. Выяснено было многое в процессе прикрепления крестьянства и в развитии различных видов холопства. Раскрылся в своих истинных размерах разброд населения и его последствие — запустение государственного центра. С другой стороны был изучен «Балтийский вопрос» и все перипетии международной борьбы за Ливонию и Финское побережье. Историческое содержание эпохи стало настолько полнее и определеннее, что можно сказать, все построение истории Ивана Грозного надлежало ставить заново. Как мало мог дать слушателям лектор конца (или, точнее, 70-х и 80-х годов) XIX века об Иване Грозном, можно видеть в «Русской истории» К.Н. Бестужева-Рюмина, который был для своего времени первоклассным профессором. Как сравнительно много дается теперь, можно видеть из любого профессорского учебника русской истории и, конечно, из «Курса» В.О. Ключевского. Эпоха наполнилась новым и богатым содержанием, — и это не могло не отразиться на понимании самого Грозного, его личной роли, его личных сил.

Теперь нет ни малейшего сомнения в том, что Грозный принадлежал к числу образованнейших людей своего века, получив свои знания и образовав умственные интересы в кружке митрополита Макария. Нет сомнения в том, что реформы 50-х годов XVI века представляли собою систему мероприятий, охвативших многие стороны московской жизни: местное управление в связи с различными формами самоуправления и с упорядочением служилого класса и поместного землевладения; податную организацию в связи с лучшим обеспечением служилых людей и с улучшением самой их службы; военное устройство, цер-

ковно-общественную жизнь, книжное дело и многое другое. Нет теперь спора о том, что Ливонская война Грозного была своевременным вмешательством Москвы в первостепенной важности международную борьбу за право пользования морскими путями Балтики. Упразднился старый взгляд на опричнину как на бессмысленную затею полоумного тирана. В ней видят применение к крупной земельной московской аристократии того «вывода», который московская власть обычно применяла к командующим классам покоренных земель. Вывод крупных землевладельцев с их «вотчин» сопровождался дроблением их владений и передачей земли в условное пользование мелкого служилого люда. Этим уничтожалась старая знать и укреплялся новый социальный слой «детей боярских», опричных слуг великого государя. Обнаружилась, далее, любопытная и важная черта в деятельности московского правительства в самую мрачную и темную пору жизни Грозного — в годы его политических неудач и внутреннего террора. Это — забота об укреплении южной границы государства и заселении Дикого поля. Под давлением многих причин правительство Грозного начало ряд согласованных мер по обороне своей южной окраины и, как всегда, проявило широкий почин, деловую энергию и умение согласовать усилия администрации с содействием земских сил. Вместо старых представлений о последних годах жизни Грозного, как о времени унылого бездействия и безумной жестокости, перед историками развернулась картина обычной для Грозного широкой деятельности. Наконец, выяснение причин и проявлений социального кризиса, вызвавшего опустошение московского центра к 80-м годам XVI века, сняло лично с Грозного обвинение в том, что он по своей будто бы трусости и ничтожеству дал торжествовать над собою талантливому врагу Стефану Баторию. Выяснилось что быстро развернувшийся кризис лишил Грозного всяких средств для продолжения борьбы и что его личное воздействие на ход событий вряд ли здесь допустимо.

Словом, всякий частичный успех в исследовании эпохи вел к тому, что личность Грозного, как политика и правителя, вырастала и вопрос о его личных свойствах и недостатках терял свою важность для общей характеристики его времени. Изучение правительственной деятельности Грозного развернуло перед историками широкую и сложную картину с одними же и теми же



чертами для начала и для конца царствования Грозного. Вокруг Грозного менялись лица и могли меняться их влияния, сам Грозный мог жить добродетельно или порочно, — все равно, свойства московской политики оставались при нем одинаковыми. Это была политика большого размаха, отмеченная всегда отважным почином, широтою замыслов и энергией выполнения задуманных мер. Очевидно, что эти черты вносились в жизнь самим Грозным; они не приходили с Сильвестром и не уходили с Басмановым и Малютой Скуратовым. И Грозный во втором периоде своих реформ, в опричинской ломке аграрно-классового строя, совершенно тот же, как и в первом периоде церковно-земских преобразований. Он — крупная политическая сила.

Именно это впечатление вырастает в каждом, кто знакомится с новыми исследованиями по истории русского XVI века во всей их совокупности. С таким именно впечатлением приступил к своему труду об Иване Грозном и последний его историк проф. Р.Ю. Виппер. Но, воспользовавшись всем тем, что дала ему новая русская историография, он со своей стороны внес и что-то свое. Он дал в начале своего труда общую характеристику XVI века как поворотного момента в вековой борьбе «кочевой Азии» и «европейцев», момента, когда успех в мировой борьбе стал переходить на сторону последних. С этой всемирно-исторической точки зрения проф. Виппер представил оценку как московской политики XVI века, так и, в частности, самого Грозного. Среди нового политического мира Европы, говорит он, московскому правительству приходилось развернуть не только военно-административные таланты, но также мастерство в кабинетной борьбе. Грозный царь, его сотрудники и ученики с достоинством выдержали свою трудную роль. Следя за деятельностью Москвы XVI века в связи с общим ходом политической жизни Европы и Азии, автор не скупится на похвалы русскому политическому и военному искусству того времени и смотрит на Грозного как на крупнейшего исторического деятеля. Книгу проф. Виппера можно назвать не только апологией Грозного, но его апофеозом. Выведенный из рамок национальной истории на всемирную арену, Грозный показался и на ней весьма крупным деятелем. Таково последнее слово нашей исторической литературы о Грозном. Думаем, что оно навсегда упразднило возможность презрительного отношения к личности Грозного. Но,

может быть, оно несколько перетянуло весы в другую сторону, и дальнейшая задача исследователей — найти точное равновесие между крайностями субъективных оценок.

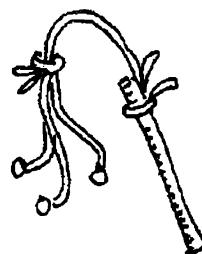
Предлагаемый очерк отнюдь не претендует на эту роль суперарбитра в суждениях о Грозном. Его целью было дать такой «образ» Грозного, какой сложился в уме автора при знакомстве с наиболее характерным историческим материалом данной эпохи. В кратком очерке о многом пришлось говорить бегло, иногда же и просто умалчивать. Но автор будет удовлетворен, если из его очерка читатель вынесет определенное представление о главных моментах жизни и деятельности Грозного и о некоторых бесспорных, достоверных чертах его характера и ума. Цельную же характеристику Грозного, его законченный «образ» воссоздать автор не надеялся, ибо не верит в то, чтобы это сделать было вообще возможно.



II. Воспитание Грозного

1

Грозному пришлось жить и действовать в один из важных периодов бытия великорусского племени. Судьба бросила это племя на волнистую равнину, покрытую лесами и изрезанную реками, пустынную и легкодоступную для заселения. Поселенцы свободно растекались по этой равнине, как растекается вода на гладкой поверхности. Общий процесс колонизации переносил народную массу с запада и юга на север и восток, от старых днепровских гнезд русского славянства к Поморью и к Уральским горам. На пути к северу препятствиями были только лесные пустыни «волока» — водораздела между волжскими и поморскими реками, где леса и болота одолевали людскую энергию. На пути же к востоку препятствовал движению инородческий мир — народы, вошедшие в состав татарского Казанского царства, главным образом черемисы на реках Унже и Ветлуге и мордва на реке Суре. Идущая с севера на юг линия рек Ветлуги и Суры долго служила восточным пределом русской колонизации, шедшей из Владимирско-Суздальского

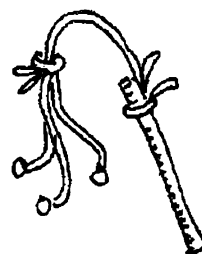


центра, точно так же, как линия Белоозера и Вологды была ее северным пределом. Далее на север, в Заволочье, простиралась область колонизации Новгородской, имевшей иной характер, чем колонизация среднерусская. В отличие от подвижного промышленника и хищника новгородца, владимирцы и суздальцы, крестьяне и монахи, медленно и прочно осваивали «новую землю» и не спеша переносили с одной заимки на другую свою пашню или подсобный лесной промысел, оставляя выпаханную «пустошь» ради нового «починка».

Тот момент, когда волна колонизации докатилась до своих преград и безудержный разлив населения был ими несколько сдержан, оказался существенным переломом не только в хозяйственной, но и в политической жизни страны. При текучем (как выразился С.М. Соловьев) состоянии населения политическая власть не имела силы сдержать и прикрепить к месту народную массу, организовать ее в своих целях и видах и подчинить своей воле. Удельные князья поневоле ставили свое хозяйство и администрацию в зависимость от бродячести населения. Прибыль «приходцев» на их земли делала их сильными и богатыми; убыль отнимала у них их политическое значение и делала их «худыми». Перелив населения с Клязьмы на волжские верховья после Батыева погрома ослабил Владимир и Суздаль и поднял Тверь и Москву. Накопление народа в Галиче Мерском, на плоскогорье между реками Костромой и Унжей, позволило галицким князьям в XV веке встать против Москвы и выдержать долгую и упорную с нею борьбу за главенство в восточном Великорусье. Эта зависимость князей от случайностей колонизационного движения ослабла тогда, когда движение масс было временно остановлено на рубежах Поморья и Понизовья. Природные трудности дикого лесистого волока и сопротивление новгородцев не пускали на север; черемисская война не пускала на восток. В массе своей в XV веке пашня стала устойчивой, и пахари осели в своих волостях крепче, чем прежде. Московские великие князья получили поэтому некоторую возможность учесть население и начали крепить его к тому или иному роду государственных повинностей. Вторая половина XV и первая половина XVI столетия характеризуются именно этой работой прикрепления. Московские великие князья, захватившие под свою власть всю Низовскую землю и покорившие Великий

Новгород, спешат и там и здесь «описать» свои владения, водворить на «поместья» тысячи служилых помещиков «детей боярских», закрепить за ними в поместьях крестьянское население, а на свободных крестьянских землях образовать за круговой порукою податные общины, которые бы тягловцев не выпускали. Одновременно и в высших социальных слоях шла такая же работа по закреплению за государем его «вольных» слуг. Лишались своих исконных вольностей и прав не только бояре, потерявшие возможность «отъехать» от московского государя к иному владельцу, но и удельные владельцы князья, поддавшиеся Москве и «бившие челом в службу волею» московским государям. Эти князья, все более и более стесняемые в праве распоряжения своими удельными землями, были сравнены в порядке службы с простыми боярами и так же, как бояре, лишены возможности уйти с московской службы и снять с себя московское подданство. Вся московская жизнь стала строиться на идее государственной «крепости».

Грозный родился именно в это время торжества нового государственного строя, когда исчезла самостоятельность уделов, когда Новгород и Псков утратили последнюю тень своей политической особенности, когда московский великий князь на деле стал «всея Русские земли государям государь», когда, наконец, все население объединенной страны стало сознавать себя «крепким» государству. Торжество государственного объединения и прикрепления было в ту эпоху злобою дня, очередным вопросом, занимавшим умы и возбуждавшим чувства и мысль. Все те, кто понимал значение происходившего процесса, обсуждали его смысл; одни ему сочувствовали, другие же осуждали, жалея исчезнувшую старинную вольность. Поклонники и почитатели народившегося государства создавали, так сказать, его теорию, представляя московского великого князя высшею политическою силою — «царем православия», наследником вселенских византийских монархов, а Москву преемницею Рима, средоточием всего христианского мира. Настроение писателей этого направления было очень приподнятым, торжественным и ликующим. В обращениях своих к московским великим князьям они не скупались на высокие эпитеты и чрезмерную хвалу, яркими красками рисуя необычайные успехи Москвы в деле «собирания» Русской земли и в борьбе с внешними врагами.



С самого детства Грозный должен был слышать и впитать в себя эти радостные гимны национального торжества, так как они были усвоены правящею средою и ею обращены в официальную теорию московской власти и созданного этою властью государства. Гораздо позже Грозный узнал другое направление современной общественной мысли — то, которое можно назвать реакционным и оппозиционным. Были люди, страдавшие от условий, народившихся с новым государственным порядком. Они жалели отошедшую старину и негодовали на новые обычаи, называя их «нестроениями». «Дотоле земля наша Русская жила в тишине и в миру», — говорили они о старых временах великого князя Ивана III; о времени же его сына Василия III они прибавляли: «Которая земля переставливает обычаи свои, и та земля недолго стоит; а здесь у нас старые обычаи князь великий переменил, — ино на нас которого добра чаяти?» Грозному, росшему в понятиях политического оптимизма, такие настроения были, конечно, чужды и враждебны. Все, что пришло в Москву, в дворцовый и государственный обиход, с его бабкою великой княгиней Софьей, с ее греками и итальянцами, должно было ему представляться «добром», а вовсе не «нестроением». Наплыв в Москву иностранных мастеров и дипломатов для его деда и отца был естественным и неизбежным следствием того политического роста, который поставил Московское княжество в положение преемницы Царьграда, первенствующей на востоке Европы державы. Какое в этом было «нестроение»?

Таков был духовный корень, из которого вырос ум и воспиталась душа Грозного. Апология абсолютизма и национального единства, сознание вселенской роли Москвы и в связи с этим стремление к общению с другими народностями — вот те идеи и стремления века, которыми определялись основы мирозерцания Грозного.

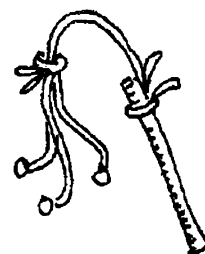
Но раньше, чем Грозный осознал и усвоил эти идеи и стремления, ему пришлось пережить тяжелое время сиротского детства и связанной с ним нравственной порчи.

2

Великий князь Иван Васильевич Грозный родился 25 августа 1530 года. В это время его отцу великому князю Василию Ива-

новичу было более пятидесяти лет. Не имея детей от первого брака с Соломонией Сабуровой, он в ноябре 1525 года расторг этот брак к большому соблазну правоверных москвичей и, к еще большому соблазну, 21 января 1526 года женился на выезжей литовской княжне из рода князей Глинских. Дядя этой княжны Елены Васильевны князь Михаил Львович Глинский вырос «у немцев», был воспитан в их обычаях и служил у саксонского герцога; в Литве он пользовался громкою славою за свои воинские подвиги. Поссорившись с литовским великим князем, он направился в Москву, где был принят с почетом. Туда он вывез и своего брата Василия Львовича с его многочисленной семьей. Сам князь Михаил не ужился в Москве: он был взят под стражу по подозрению в том, что хочет «отъехать» из Москвы обратно в Литву. А во время его заточения, когда подросла его племянница, осиротевшая княжна Елена Васильевна, великий князь выбрал ее себе в жены. Елена была привезена в Москву ребенком, лет за двадцать до своего замужества, выросла и воспиталась в московских нравах; но все-таки происходила она из семьи иноземной с культурными традициями не московскими. Этим современники объясняли поведение великого князя, который, вопреки добрым московским нравам, в угоду молодой жене, «обрil себе бороду и пекся о своей приятной наружности» (слова Карамзина).

Но и второй брак великого князя Василия не был осчастливлен потомством. Первенец монарха родился только на пятый год его супружества, что дало повод злым языкам предполагать, что он, подобно Святополку Окаянному, был «от двою отцю». Последующая близость великой княгини к князю Ивану Федоровичу Оболенскому-Телепневу указывала и то лицо, на которое метила сплетня. Но великий князь Василий не имел сомнений. Он с большим церемониалом крестил сына Ивана в Троице-Сергиевом монастыре, а через год по его рождении в день его ангела «Иоанна — Усекновение главы», 29 августа 1531 года, торжественно построил, по вековому русскому обычаю, в один день «обыденку» — церковь на Старом Ваганькове в Москве (где ныне Ваганьковский переулоч). Это была благодарственная за рождение сына «обетная» церковь: великий князь «совершил обет свой и прия дело своими царскими руками первые всех делателей, и по нем начата делати, и сделаша ее (церковь) единым



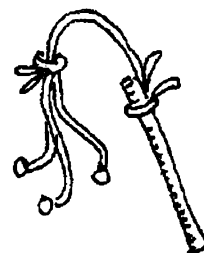
днем; того же дни и священна бысть». На этом торжестве присутствовал и его годовалый виновник «князь Иван».

Желанная «благородная отрасль царского корене», малютка Иван стал тогда же предметом чудесных рассказов. Говорили, будто в час его рождения внезапно разразилась сильная гроза, будто какой-то юродивый предсказал ожидавшей ребенка великой княгине, что у нее родится «Тит — широкий ум»*, будто инок Ферапонтова монастыря Галактион за четверть века до рождения Грозного предвещал, что великому князю Василию не удастся взять Казань, но что овладеет ею его «благодатный сын» (имя Иоанн переводилось «божья благодать»). Сам Грозный читал эти и подобные им рассказы в официальных летописных сводах и от них мог заключать о «грозе» своего нрава, о широте своего ума и о своем высоком предназначении завоевателя и политика. Но московские пророки не смогли предугадать тех осложнений и неприятностей, какими было исполнено детство, а отчасти и юность Грозного. Грозный потерял отца, не имея и четырех лет от роду. Василий умирал в тяжких страданиях: «болячка» на ноге мучила его два месяца и вызвала общее заражение крови. Предчувствуя роковой исход, Василий стал заблаговременно строить свою думу и приказывать «о устроении земском и како бы правити после его государство». Он много занимался составлением завещания и беседами с избранными боярами. По-видимому, мысль его остановилась на том, чтобы, передав великое княжение малютке-сыну Ивану, образовать около него как бы регентство — боярский совет из доверенных лиц. Такими были его «сестричичи», князья Бельские (сыновья его двоюродной сестры), князь Михаил Львович Глинский (ему «по жене племя»), князья Шуйские, их родич князь Борис Иванович Горбатый-Суздальский, Михаил Семенович Воронцов и некоторые другие. Особо от этой коллегии душеприказчиков великий князь доверил князю Михаилу Глинскому, боярину Михаилу Юрьевичу Захарьину и своему приближенному дьяку Шигоне охрану великой княгини Елены и опеку над тем, «како

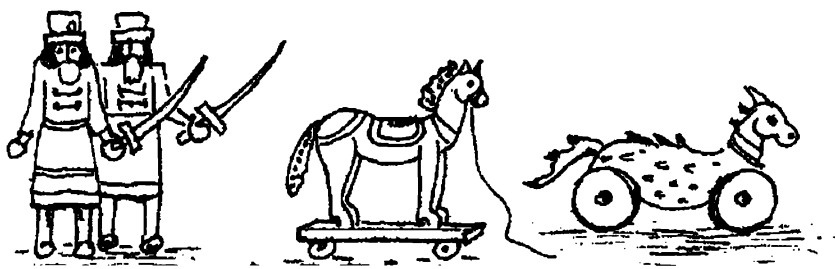
* Память апостола Тита чествуется 25 августа — день рождения Грозного; в этом — смысл предсказания. По отзыву Иоанна Златоуста, Тит был наиболее искусным из учеников ап. Павла; в этом, быть может, объяснение слов «широкий ум».

ей без него быть и како к ней бояром ходити». С ними же он интимно поговорил и вообще о своих желаниях: «и обо всем им приказа, како без него царству строитися». Тяжкую заботу, даже страх, внушали великому князю его братья, удельные князья Юрий и Андрей Ивановичи, которые могли «искать царства» под его сыном и погубить Ивана. Когда великому князю уже не стало возможности утаивать от братьев свою болезнь, он всячески убеждал их крепко стоять на том, на чем они договорились и крест целовали, именно — чтобы сын его учинился на государстве государем, чтобы была в земле правда и чтобы в их среде розни не было. Они ему это обещали, но, конечно, не уничтожили его тяжких сомнений. Василий скончался 4 декабря 1533 года в тревоге за свою семью и за судьбу государства.

Действительно, едва успели похоронить великого князя, как уже начались в правительстве смуты. По доносу на удельного князя Юрия, его арестовали правившие бояре по соглашению с великой княгиней. Месяца через два другого удельного князя Андрея выслали на его удел в город Старицу и взяли с него «запись» о полном подчинении московскому правительству. Вскоре после этого великая княгиня Елена при содействии своего любимца князя Ивана Федоровича Телепнева-Оболенского освободила себя от установленной опеки и совершила правительственный переворот. Она арестовала своего знаменитого дядю Михаила Глинского и князей Ив.Ф. Бельского и Ив.М. Вортынского. Другой Бельский (Семен) и родственник Захарьина Иван Ляцкий скрылись от опасности опалы в Литву. Во время этого переворота Шуйские уцелели* и остались в правительстве, но главная сила и власть сосредоточилась в руках временщика Телепнева, который действовал именем Елены. С конца 1534 и до начала 1538 года продолжалось это правление великой княгини. В 1537 году ей удалось заманить в Москву удельного князя Андрея и заточить его в оковах в тюрьме, где он вскоре и умер, а жену его и сына Владимира арестовать и держать под стражей. Это было в начале лета 1537 года, а всего через несколько месяцев, 3 апреля 1538 года, самой Елены не стало. Ее, по возник-



* За исключением князя Андрея Михайловича, который сидел в тюрьме, по-видимому по прикосновенности к делу удельного князя Юрия.

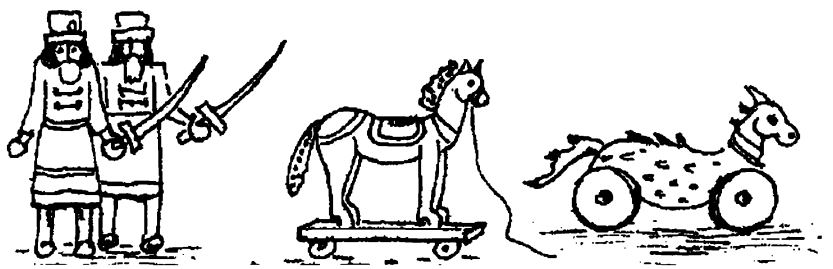
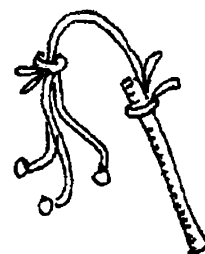


шему тогда упорному слуху, извели бояре отравой. Прошла с ее смерти какая-нибудь неделя, и «боярским советом князя Василия Шуйского и брата его князя Ивана и иных единомысленных им» любимец Елены Телепнев был взят: «и посадиша его в палате за дворцом у конюшни и умориша его гладом и тягостию железною». Тогда же освободили из-под стражи Ив.Ф. Бельского и Андрея Мих. Шуйского. Таким образом, с падением Телепнева восстановился при великом князе Иване тот состав регентства, какой был намечен умиравшим Василием. Только не было в нем Михаила Львовича Глинского: он умер в тюрьме года через два после своего ареста 15 сентября 1536 года.

При оценке правительственного порядка, действовавшего в Москве в малолетство Грозного после смерти его матери, необходимо помнить, что власть была в руках тех фамилий, которым ее доверил великий князь Василий. Все это были близкие Василию семьи: или его «племя» (Бельские), или «племя» его жены (Глинские), или же родовитейшие князя Рюриковичи, которым, при доверии к ним государя, неизбежно принадлежало первенство в думе и администрации (Шуйские). Если бы в этой среде дворцовых вельмож сохранилось согласие, они явились бы обычным регентством, династическим советом, действовавшим в интересах опекаемого монарха. Но эти люди перессорились и превратили время своего господства в непрерывную смуту, от которой терпели одинаково и государь, и подданные. Изучая немногие дошедшие до нас сведения об этой смуте, не видим никаких принципиальных оснований боярской взаимной вражды. Бельские и Глинские выступают всегда как великокняжеская родня, дворцовые фавориты, живущие в полной солидарности с главой их «племени». Действия Шуйских имеют вид дикого произвола, за которым не видать никакой политической программы, никакого определяющего начала. Поэтому все столкновения бояр представляются результатом личной или семейной вражды, а не борьбы партий или политических организованных кружков. Современник по-своему определяет этот неизменный, своекорыстный характер боярских столкновений: «многие промежь их бяше вражды о корыстех и о племянех их; всяк своим печется, а не государьским, ни земским». Около виднейших и влиятельнейших сановников группировались их друзья и клиенты и, пользуясь удачей своего

патрона, принимались из его торжества извлекать свою пользу, «корысть». На доставшихся им должностях были они «свирепы, аки Львова, и люди их, аки зверие дивии, до крестьян». Политическими притязаниями или классовыми вожделениями ни на минуту нельзя объяснять этого позорного грабительского поведения временщиков, овладевавших властью в стране при малолетнем великом князе.

Ему приходилось страдательно наблюдать, как через полгода после смерти его матери и восстановления боярского регентства Шуйские упрятали в тюрьму Ивана Бельского и убили дьяка Федора Мишурина, «не любя того, что он за великого князя дела стоял»; а затем, в начале 1539 года, вынудили московского митрополита Даниила оставить сан и уйти в монастырь «за то, что он был в едином совете с князем Иваном Бельским». На его место был поставлен митрополит Троицкий игумен Иоасаф. Он оказался человеком независимым и, выбрав время, летом 1540 года, настоял на освобождении Бельского. Благодаря этому диктатура Шуйских прекратилась и как будто бы восстановилась деятельность регентства. Покушения татар на московские границы от Казани (зимой в конце 1540 года) и от Крыма (летом 1541 года) погасили было боярские ссоры и напрягли энергию московского правительства на защиту государства. Но когда опасность миновала, Шуйские взялись за старое. Князь Иван Васильевич Шуйский всю вторую половину 1541 года находился во Владимире с войсками против казанских татар. Там он и подготовил переворот, опираясь на преданные ему отряды войска. Его отряд в ночь на 3 января 1542 года ворвался в Москву и произвел ряд насилий. Князь Иван Бельский был схвачен и сослан на Белоозеро в тюрьму, где вскоре потом убит. Его друзья были разосланы по городам. Митрополит Иоасаф от страха ночью прибежал в покои великого князя, но бояре с Шуйским нашли его и там, при государе подвергли оскорблениям и, вытащив оттуда, сослали в Кириллов монастырь. Вместо него митрополитом был наречен и поставлен новгородский архиепископ Макарий. В Москве опять настало засилье Шуйских, но самый видный из них князь Иван Васильевич теперь сошел со сцены, по-видимому, пораженный болезнью. Вместо него действовали Шуйские старшей линии этого рода — князья Андрей и Иван Михайловичи и князь Федор Иванович Скопин-Шуйский. Пер-

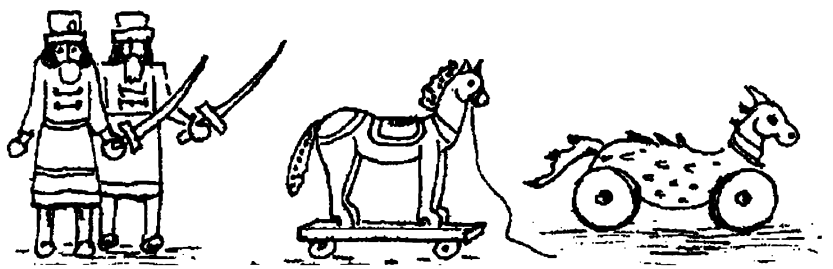
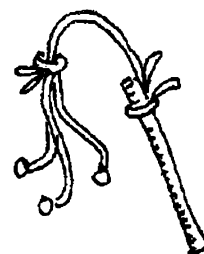


венствовал Андрей (дед будущего московского царя Василия Шуйского). Прошло года полтора под властью Шуйских, пока не назрел решительный перелом в московской смуте. В сентябре 1543 года Шуйские при государе и митрополите «у великого князя на совете» учинили насилие над Федором Семеновичем Воронцовым «за то, что его великий князь жалует и бережет». Его чуть не убили и пощадили только «для государева слова», потому что Иван очень просил за него. Но все-таки Воронцова с сыном против государевой воли сослали на Кострому. При этом случае бояре во дворце оскорбили митрополита Макария, порвав на нем мантию. Насилие над Воронцовым переполнило меру терпения Ивана. Ему было уже тринадцать лет. Он ненавидел Шуйских как своих постоянных обидчиков и решился на мщение за их обиды, — вероятно, подстрекаемый и со стороны — боярами. Прошло три-четыре месяца после случая с Воронцовым, и около 1 января 1544 года Иван «велел поимати первосоветника их» князя Андрея Михайловича и «веле предати псарем, — и псари взяша и убиша его, влекуще к тюрьмам». Люди, которые не верили, чтобы такое деяние могло исходить от малолетнего государя, говорили о князе Андрее, что «убили его псари у Куретных ворот повелением боярским, а лежал наг в воротех два часа».

Смертью князя Андрея окончилось время Шуйских. Официальная московская летопись говорит, что, погубив «перво-советника», великий князь сослал его брата князя Федора Ивановича и других членов их правящего кружка, — «и от тех мест начали бояре от государя страх имети и послушание». Регентство окончилось, все главнейшие лица, введенные в него великим князем Василием, уже сошли с земного поприща, не было в живых ни Мих. Глинского, ни Ивана Бельского, ни Василия и Ивана Шуйских. Оставались только второстепенные или недействительные сановники вроде князя Дмитрия Федоровича Бельского и М.Ю. Захарьина. Они не владели волей Ивана. Ближе всех к Ивану были его дяди Юрий и Михаил Глинские с их матерью, бабушкой Ивана, княгиней Анной. Эта семья и получила влияние на дела при великом князе, еще не созревшем для управления. Скрываясь за подраставшим государем и не выступая официально, Глинские совершили много жестокостей и насилий и очень дурно влияли на самого государя.

Годы 1544–1546 были временем Глинских, и об этом времени в народе сохранилась плохая память. О Глинских говорили, что «от людей их черным людям насильство и грабеж, они же их от того не унимаху». Выросший и физически окрепший Иван выказывал дурные склонности, мучил животных, «бесчинствовал», «собравши четы юных около себя детей», и даже покушался «всенародных человеков, мужей и жен, бити и грабити, скачуще и бегающе всюду неблагочинне». Окружавшие его «ласкатели», то есть Глинские, не только не унимали его, но и похваливали, говоря, что «храбр будет сей царь и мужествен». Пользуясь его склонностью к озорству, они «подучали» его на опалы и казни. Так говорят нам современники. И действительно в эти годы Иван с чрезвычайной легкостью ссылает и казнит людей, по-видимому, за малые вины, и притом не разбирая, к какому кругу боярскому они принадлежат. Страдают люди стороны Шуйских в той же мере, как их недруги и противники. Всего показательнее судьба Федора Семеновича Воронцова. Выше было указано, что в 1543 году Воронцова государь «жаловал и берег», Шуйские же его сослали. По смерти Андрея Шуйского государь «опять его в приближении у себя учинил»; а в 1546 году Федор Воронцов был казнен вместе со сторонником Шуйских князем Иваном Кубенским по общему на них обоих доносу, к тому же доносу лживому. Таковы были первые шаги Грозного после уничтожения гласной опеки Шуйских под негласной опекой Глинских. Нет ничего удивительного в том, что кровь и грабежи сверху вызвали бунт и кровь снизу. В 1547 году после больших московских пожаров толпа погорельцев убила одного из Глинских, князя Юрия и, пришедши «скопом ко государю» в село Коломенское, пыталась требовать выдачи государевой бабки княгини Анны и другого дяди Ивана князя Михаила. Государь их не выдал, и они уцелели. Но имущество Глинских было погромлено и их людей «бесчисленно побиша»; «много же и детей боярских незнакомых побиша из Северы, называючи их Глинского людьми». Этим погромом ненавистной семьи закончилось время Глинских, и вместе с тем завершился первый период юности Грозного. Иван перешел в другую полосу своей жизни.

Мы с некоторой подробностью остановились на боярской смуте, чтобы показать, что именно видел Иван в своем детстве. Не идейную борьбу, не крупные политические столкновения,



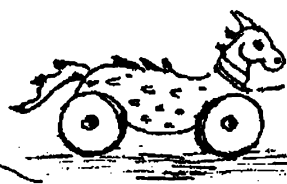
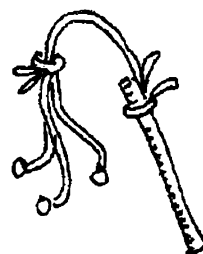
а мелкую вражду и злобу, низкие интриги и насилия, грабительство и произвол — все это ему приходилось изо дня в день наблюдать и терпеть на себе*.

На этом образовались его первые понятия, на этом воспиталась душа. И все лучшее, что приходило к Ивану в эту пору, мешалось с нездоровыми инстинктами, возбужденными средой. А лучшее, несомненно, приходило: оно пришло во дворец Грозного, например, с митрополитом Макарием. Макарий явился из Новгорода в Москву уже в ореоле литературной известности. Будучи архиереем в Новгороде, он достиг там необыкновенной популярности: его почитали «учительным» и «святым» человеком. Он «беседовал к народу повестями многими» так понятно, что все «чюдишася, яко от Бога дана ему бысть мудрость в божественном писании — просто всем разумети». С его появлением в Новгороде «бысть людем радость велия не только в Великом Новгороде, но и во Пскове и повсюде: и бысть хлеб дешев, и монастырем легче в податех, и людем заступление велие, и сиротам кормитель бысть». Эти достоинства пастыря, очевидные всем, сопрягались у Макария с подвигом, недоступным разумению толпы. Он задумал собрать в один сборник все «чтомые книги яже в Русской земле обретаются». Для такого сборника новгородская почва была наиболее пригодной, потому что на Руси она была наиболее культурна. Десяток лет провел Макарий в этом труде. Он соединил вокруг себя многих деятелей, собиравших литературный материал и работавших над его редакцией: в их числе были дьяки (Д. Г. Толмачев), дети боярские (В. М. Тучков), священники (знаменитый Сильвестр). В результате к 1541 году были готовы Четьи-Минеи — громадный сборник (более 13 500 больших листов) произведений «божественных»: житий, поучений, книг Ветхого Завета и т. п. Одних житий было в сборнике около 1300. Перейдя на митрополичий стол в Москву, Макарий перевел туда своих сотрудников и продолжал там привычную

* Грозный в письме к Курбскому рассказывал, что его с братом бояре плохо кормили и одевали, с ними дерзко обращались («многажды поздно ядох не по своей воли»), оскорбляли память его отца; крали казну, золото, серебро и меха, и «вся по мзде творяще и глаголюще». Эти обвинения были главным образом направлены на Шуйских.

работу, дополняя и совершенствуя свой материал. Работа шла около молодого государя, бывшего в непосредственном общении с митрополитом, и государь знакомился со всем кругом тогдашнего чтения, входил в литературные интересы митрополита, подпадал его влиянию, учился под его руководством и приучался ценить и уважать нравственные его достоинства. Несклонный к политической борьбе, далекий от интриг, спокойный и преданный умственному труду, Макарий остался чист от грязи боярских столкновений и злоупотреблений и для молодого государя явился человеком как бы иного мира. Способный и умный юноша охотно и легко поднимался на высоты Макарьева мирозерцания и вместе с литературными знаниями усвоил себе и национально-политические идеалы, которым следовала окружавшая митрополита среда. Теория единого вселенского православного государства с самодержавным монархом, «царем православия», во главе овладела умом Ивана. Риторика Макарьевской школы пришлась ему по вкусу, и чтение стало любимым его занятием. К своему «возрасту», то есть совершеннолетию, Иван стал образованным, «книжным» человеком, для того времени передовым. «Муж чюдного рассуждения, в науке книжного поучения доволен, и многоречив зело» — так отзывались о нем его современники.

Таковы обстоятельства, создавшие двойственность в натуре Грозного. Если бы влияние Макария всецело подчинило себе Ивана, оно бы его пересоздало. Но оно действовало в атмосфере дворца, насквозь отравленной произволом, насилием и развратом. Шуйские и Глинские достаточно позаботились о том, чтобы познакомить Грозного с отрицательными сторонами тогдашнего быта. Грабля и насильничая на его глазах, они и его увлекали за собой к произволу и жестокости. Немногие по числу известия летописей о молодом Иване красноречивы по характеру. Они говорят о его жестокостях, пустых забавах и даже грабительстве. Так, описывая путешествие Ивана с его младшим братом Юрием в Новгород и Псков осенью 1546 года, местные летописцы не скрывают своего неудовольствия. Псковичи жалуются, что великий князь в их области дела не делал, а «все гонял на месках» (то есть скакал на лошадях), «быв немного» в самом Пскове: также и брат его недолго побыл в городе, «а не управив своей отчины ничего». Оба они спешили



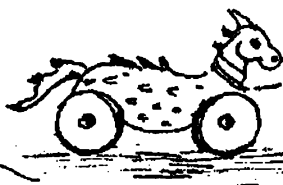
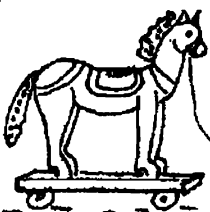
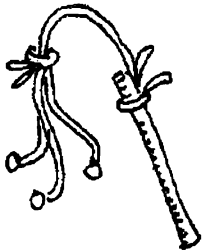
к Москве, «а христианам много протор и волокиты учинили». Высочайшее посещение рассматривалось как бедствие. В это же путешествие, в конце ноября 1546 года, Грозный в Новгороде, по местному известию, ограбил Софийский собор. Он в соборе «неведомо как уведа казну древнюю, сокровенну в стене». Явившись ночью, стал «он пытати про казну» ключаря и пономаря и, «много мучив их», ничего не допытался, но все-таки вскрыл стену «на всходе» (лестнице), «куда восхождаху на церковные полати», и нашел там «велеие сокровище» — серебряные слитки — и «насыпав возы и посла к Москве». Вслед за Иваном псковичи послали в Москву весной 1547 года семьдесят ходоков «жаловатися на наместника» — своего князя Турунтая-Пронского. Жалобщики нашли великого князя в Коломенском сельце Островке, куда он по обычаю выехал «на прохлад поездити потешитися». Государь остался недоволен тем, что его обеспокоили, «опалился на пскович, их бесчествовал, обливаяючи вином горячим, палил бороды и волосы да свечью зажигал и повелел их покласти нагих по земли». И все это делалось в те же месяцы, когда, под руководством Макария, Иван торжественно с умильными речами обращался к митрополиту и боярам и совет держал с ними, «восхоте бо великий государь женитися и о благословении еже сести на царстве на великом княжении».

Осенью 1546 года совершилось легкомысленное путешествие в Новгород и Псков; в декабре Иван объявил Макарию и всем боярам, даже тем, «которые в опале были, что он женится и хочет венчаться царским венцом»; в январе 1547 года произошло торжественное принятие царского титула; в феврале состоялась свадьба Ивана с дочерью окольного Романа Юрьевича Захарьина и благочестивое пешее хождение новобрачных в Троице-Сергиев монастырь; около 1 июня псковские жалобщики испытали на себе глумливую милость и ласку нового царя. Очевидно, высокие слова и пышные идейные церемонии отлично уживались в Грозном с низкими поступками и распущенностью. Воспринятые умом благородные мысли и широкие стремления не облагородили его души и не исцелили его от моральной порчи. Красивым налетом легли они на поверхность, не проникнув внутрь, не сросшись с духовным существом испорченного юноши.

III. Первый период деятельности Грозного. Реформы и татарский вопрос

1

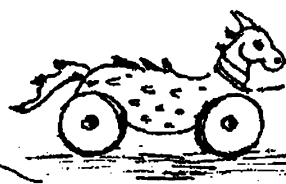
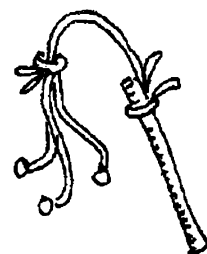
Пышными церемониями венчания на царство и свадьбы начинается новый период в жизни Ивана. Торжества во дворце по времени почти совпали с рядом больших пожаров в Москве и с народным бунтом и погромом на Глинских. На Пасхе 1547 года выгорел Китай-город; через неделю сгорели кварталы за Яузой; в июне произошел тот громадный пожар, который вызвал погром и получил историческую известность в связи с нравственным «перерождением» Грозного. Выгорел Кремль весь и почти все «посады» Москвы; можно сказать, пострадал весь город целиком «и всякие сады выгореша и в огородах всякий овощ и трава»; считали, что сгорело 1700 человек. Царь уехал в село Воробьево, где и «стоял» до возобновления города. На пожарище же народная толпа искала виновников происшедшего бедствия и нашла их в лице Глинских и их дворни. Одного из Глинских убили и пошли к царю в Воробьево, требуя выдачи других. Царь ответил казнями, и движение улеглось после многих жертв. Все это полугодие 1547 года для Ивана было рядом сильных переживаний, и немудрено, что современники именно к этому периоду относили начало внутренней перемены в молодом царе. Очень изобразительно князь А. М. Курбский в своей «Истории о великом князе Московском» рассказывал, что после пожара и бунта Бог чудесно «руку помощи подал отдохнуть земле христианской»: тогда к царю «прииде един муж, презвитер чином, именем Сильвестр, пришелец от Новаграда Великого, претяще ему от Бога священными писаньми и срозе (то есть строго) заклинаяще его страшным Божиим именем, еще к тому и чудеса и акибы явление от Бога поведающе ему;... и последовало дело: иже душу его от прокаженных ран исцелил и очистил был, и развращенный ум исправил». Еще изобразительнее Карамзин представил «перерождение» Ивана. Воспользовавшись рассказом Курбского, он понял начальное в нем слово «прииде» в том смысле, что Сильвестр внезапно откуда-то проник к царю, не будучи ему ранее известен. Когда, по словам Карамзина, «юный царь трепетал в Воробьевском дворце



своим, а добродетельная (его супруга) Анастасия молилась, явился там какой-то удивительный муж, именем Сильвестр, саном иерей, родом из Новагорода, приблизился к Ивану с поднятым, угрожающим перстом, с видом пророка, и гласом убедительным возвестил ему, что суд Божий гремит над главою царя легкомысленного и злострасного... потряс душу и сердце, овладел воображением, умом юноши и произвел чудо: Иван сделался иным человеком...» Но, в сущности, чуда никакого не было, как не было и внезапного появления Сильвестра, столь «усиленного в колорите» (по выражению Д.П. Голохвастова⁸) красноречивым историком. Известно, что Сильвестр был в Москве задолго до событий 1547 года; он прибыл туда, вероятно, в 1542 году вместе с его патроном митрополитом Макарием. С другой стороны, ни по летописям, ни по иным документам не видно крутой перемены в самом Иване после пожара 1547 года. Один Курбский (и то, если его понять так, как понял Карамзин) изображает внезапный переворот в душе и поведении молодого царя. Именно благодаря Курбскому, если сопоставить его слова с официальной летописью, можно догадаться, что народный бунт 1547 года действительно повел к существенной перемене — только не в царе, а в правительстве московском. После бунта окончилось время Глинских и прекратилось их влияние на дела. Народ убил Юрия Глинского, а его брат Михаил Васильевич Глинский, который, по словам Курбского, «был всему злему начальник», убежал из Москвы, как «и другие человекоугодницы сущие с ним». Но и там, куда скрылся Глинский, в Ржевских его селах, он не чувствовал себя безопасным. Вместе с видным сторонником кружка Шуйских князем Ив.Ив. Турунтаем-Пронским он пытался бежать в Литву. Оба они начали побег по первому зимнему пути, в ноябре 1547 года, но запутались «в великих тесных и непроходных теснотах» глухой Ржевской украины и не достигли цели. Укрываясь от погони, они сами добрались до Москвы, где и были арестованы. Свой поступок они объясняли боязнью: «от неразумия тот бег учинили, обложася страхом княже Юрьева убийства Глинского». Однако в ту минуту нечего было бояться погрома: Москва давно успокоилась: царь праздновал свадьбу своего младшего брата Юрия с княжной Палецкой; в те же дни (ноябрь 1547 года) выступил из Москвы авангард московского войска, собранного против Казани, и сам царь собирался ехать к во-

йску. Словом, жизнь московская шла уже обычным порядком. А родной государев дядя бежит в Литву вместо того, чтобы веселиться на свадьбе своего младшего племянника, и с ним бежит крупный боярин, принадлежавший к стороне Шуйских, то есть к тому кругу дворцовой знати, который был далек от Глинских, даже им враждебен, и вовсе не был жертвой народного погрома. Очевидно, не боязнь мятежной толпы гнала беглецов в Литву, а перемена в московском правящем кругу. Около царя вместо скомпрометированных и низверженных Глинских стали другие доверенные лица. Они были настроены так, что «всему злему начальник» Михаил Глинский и псковский наместник Турунтай, при Глинских угнетавший псковичей, могли ожидать на себя гонения и надумали от заслуженного возмездия спастись бегством.

Курбский со своим обычным риторическим приемом освещает для читателя вопрос о том, как образовался около Грозного правящий кружок. Рассказав, как «прииде» к царю Сильвестр, он продолжает: «С ним же (Сильвестром) соединяется во общение един благородный тогда юноша ко доброму и полезному общему, именем Алексей Адашев; цареви ж той Алексей в то время зело любим был и согласен». Вдвоем Сильвестр и Адашев склонявших Ивана на зло «прежде бывших» правителей, «яже быша зело люты», удаляют или «уздают и воздержат страхом Бога живаго». А вместо удаленных и сосланных правителей, «оных предреченных прелютейших зверей», Адашев и Сильвестр, во-первых, «присовокупляют себе в помощь» митрополита Макария, который призывает царя к покаянию и к внутреннему обновлению, а во-вторых, собирают к нему советников — «мужей разумных и совершенных, во старости маститей сущих... других же аще и во среднем веку, такоже предобрых и храбрых... и сиче ему их в приязнь и в дружбу усвоят, яко без их совету ничесоже строити или мыслити». Ясен происшедший дворцовый переворот: народный бунт сверг опеку Глинских; духовным сиротством «злострасного» царя воспользовались приближенные к нему случайные люди, не входившие в состав ранее правившей знати. Они построили свое влияние на личной приязни и моральном подчинении царя и удалили от него всех прежних опекунов и советников, от дяди Глинского до сторонников Шуйских. Воодушевленные желанием общего блага, они поставили своей задачей нравственное исправление самого Грозного и улучшение

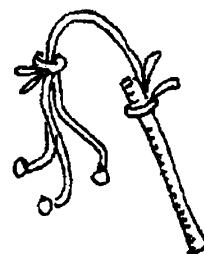


управления. В митрополите Макарии они получили помощника и нередко вдохновителя. Так около Грозного, видевшего до той поры вокруг себя только зло и произвол, образовалась впервые идейная среда. Она оказала могучее влияние не только на ход государственных дел, но и на развитие личных правительственных способностей, которыми, бесспорно, был одарен Грозный. Но ей не под силу было истребить в нем укоренившиеся с детства дурные инстинкты и привычки.

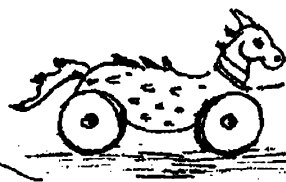
Можно думать, что образование нового правящего кружка около Грозного, совершилось не сразу, а шло исподволь. Адашеву и Сильвестру удалось сокрушить Глинских и самим укрепить свое влияние при царе, привыкшем к опеке и сотрудничеству в делах управления, но чтобы собрать «мужей разумных и совершенных» и образовать из них согласованный и спевшийся кружок, необходимо было время. По летописям и разрядам 1547–1549 годов можно установить, что к осени 1547 года режим Глинских пал; но признаки новых веяний в правительственной практике становятся заметны только в начале 1549 года. Весь же 1548 год проходит для царя в привычной рутине: зимний поход на Казань без особого результата, богомольные «походы» летом по монастырям, осенью «объезд» на охоту, «царскую потеху», и по далеким «святым местам» Замосковья. Не видно, чтобы государственные дела более чем прежде, занимали Грозного. Повидимому, в это время за его спиной формировалась постепенно «избранная рада» из людей, привлеченных временщиками Сильвестром и Адашевым, вырабатывалась программа действий, слагались отношения, понемногу связавшие Грозного полной зависимостью пред «собацким собранием» (так он по-своему называл впоследствии «избранную раду»). Состав этого собрания, к сожалению, точно не известен; но ясно, что он не совпадал ни с составом думы «бояр всех», исконного государева совета, ни с ближней думой, интимным династическим советом*. Это был частный кружок, созданный временщиками для их целей

* Личный состав Боярской думы «бояр всех» и ближней думы тех лет нам известен. Ближними боярами были в те годы кн. И.Ф. Мстиславский, кн. В.И. Воротынский, И.В. Шереметев «большой», кн. Д.И. Курлятев, М.Я. Морозов, кн. Д.Ф. Палецкой, Дан.Ром. Юрьев-Захарьин, В.М. Юрьев-Захарьин.

и поставленный ими около царя не в виде учреждения, а как собрание «доброхотающих» друзей. Во главе этого кружка стоял поп Сильвестр, о котором со всех сторон идут согласные отзывы, что это был всемогущий временщик. Официальная летопись говорит: «Бысть же сей священник Селиверст у государя в великом жаловании и в совете в духовном и в думном и бысть яко всемогий, вся его послушаху и никтоже смеяше ни в чем же противится ему... И всеми владаше обема властми, и святительскими и царскими, якоже царь и святитель, точию имени и образа и седалища не имеяше, святительского и царского, но поповское имеяше, но токмо чтим добре всеми и владеяше всем со своими советники». Сам царь признавался, что, как младенец, пребывал во всей воле и хотении Сильвестра, которому «покорился без всякого рассуждения». Сильвестр с Адашевым, по словам Грозного, всю власть от него отняли и так угнетали и гнали его, что ему «властию ничим же лучше быти раба». Почин в этом царь приписывал Сильвестру: это Сильвестр подобрал в одно «собацкое собрание» и Адашева, и других своих «угодников». Со своей стороны, и Курбский считает Сильвестра тем «блаженным льстецом истинным», который первый задумал перевоспитать царя и взять его под опеку «разумных и совершенных» советников. Рядом с ним молодой сверстник Грозного Алексей Адашев, конечно, занимал второе место, хотя, быть может, по служебной близости к царю (он был «комнатным» спальником и стряпчим, то есть жил при царе) именно Адашев и был проводником того влияния, которое шло от «избранной рады». Не принадлежал Адашев в 1547–1548 годах ни к боярству, ни к думным чинам; он был из высшего слоя провинциального (костромского) дворянства и ко двору попал случайно, всего вероятнее, в числе тех «потешных робяток», которые были взяты во дворец для игр к маленькому великому князю Ивану. Это и дало повод Грозному сказать, что он не знает, как около него оказался «собака Алексей» еще в дни его детства: «в нашего царствия дворе в юности нашей, не вем каким обычаем из батожников* водворился». По сообщению Грозного, он приблизил к себе Адашева, «взяв



* Батожник — служитель с бато́гом (палкой), идущий впереди царского или боярского поезда и расчищающий путь; на севере — церковный сторож с бато́гом (по Далю).

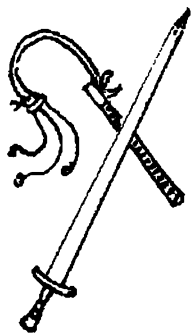


сего от гноища», потому что ждал от него «прямой службы» и думал, что он заменит царю изменных «вельмож». По-видимому, на придворную карьеру Адашева повлияли его личные качества. Курбский отзывается о нем очень хвалебно, говоря, что он был «отчасти при некоторых нравех ангелам подобен» и настолько совершенен, что «воистину вере не подобно было бы пред грубыми и мирскими человеки». Когда Адашев был в войсках в Ливонии, то, по словам Курбского, немало ливонских городов готово было сдаться ему «его ради доброты». Много спустя после кончины Адашева, в 1585 году, при начале карьеры Бориса Годунова, в Польше гнезненский архиепископ Ст. Карнковский, расспрашивая московского посланника Лукьяна Новосильцова о Борисе, сравнил его с Адашевым, отозвавшись об Адашеве очень лестно, как о человеке разумном, милостивом и «просужем» (дельном), который «государство Московское таково же правил», каково было правление Годунова. Таким образом, личные свойства Адашева нашли себе широкую популярность даже за пределами его родины. Из остальных членов «избранной рады» по имени точно (со слов самого Грозного) известен только князь Дмитрий Курлятев, старый слуга великого князя Василия Ивановича, в 1548 или 1549 году пожалованный в бояре; да почти наверное можно причислить к «раде» князя Андрея Михайловича Курбского. О других лицах можно лишь гадать. Можно утверждать только, что, судя по общей тенденции «рады», в ней преобладал княжеский элемент и, вероятно, княжата из разных удельных линий составляли в ней большинство. Сам Грозный сделал на это намеки в письме к Курбскому, указывая на главные воцеления членов «рады».

Во-первых, в одном месте своего письма он определенно под «изменниками» понимает княжат, когда говорит, что эти изменники прочили престол мимо его сына удельному князю Владимиру Андреевичу. Для него Курбский есть «рождение изчадия ехиднова», княжеского рода, и потому сам «яд отрыгает», то есть изменяет царю; «вы, злые суще», говорит царь, разумея удельных князей, «извыкосте от прародителей своих измену чинити». Известно, что в 1553 году именно «избранная рада» отошла от Грозного, держалась Владимира Андреевича и не желала воцарить малютку сына Грозного. Во-вторых, по сообщению Грозного, как только укрепилось влияние Сильве-

стра и образовалась «избранная рада», Сильвестр «почал» восстанавливать свободу «княжеского землевладения», стесненную распоряжениями великого князя Ивана III; «которые вотчины у вас (то есть князей) взымали, — писал Грозный, — и которым вотчинам еже несть потреба от вас даятися, и те вотчины, ветру подобно, роздал (Сильвестр) неподобно». В переводе на наш язык это значит, что «избранная рада» поспешила вернуть потомкам удельных князей конфискованные у них родовые вотчины и восстановить свободу отчуждения и завещания этих вотчин, уничтоженную московскими государями. Конечно, этот акт имел вид классовый и обличал чисто княжескую тенденцию «рады». К этим определенным намекам Грозного надо прибавить то общее впечатление от его письма, что для царя главными его врагами, стеснявшими его личную свободу и волю, представляются именно князья. «Поп» Сильвестр и Алексей Адашев первые не-князья, которые вместе с князьями пытаются продолжить опеку над Грозным.

Так с полной вероятностью выясняется характер создавшихся вокруг Грозного отношений. Молодой государь подпал личному влиянию «попа» и своего близкого сверстника Адашева. Они были проникнуты желанием оздоровить правительство и подобрать годных к этому делу людей. Наиболее пригодную для государственного управления среду они видели в потомстве удельных князей, сохранившем правительственные навыки и династические воспоминания, и в этой именно среде они подыскивали своих советников (по-видимому, предпочитая Рюриковичей Гедиминовичам). Составленная ими «избранная рада», стоявшая вне привычных московских учреждений, с большой свободой обдумала план реформ, предназначенных к водворению порядка в расшатанном во время регентства государстве. Осуществление этого плана началось в первые месяцы 1549 года.



2

Февраля 27-го этого года царь «в своих царских палатах перед отцом своим Макарием митрополитом и пред всем освященным собором» сказал боярам своим особой важности речь. Летописец перечисляет по именам некоторых знатнейших бояр, а за-

тем указывает, что царскую речь слушала вся Боярская дума. Предметом речи были злоупотребления бояр. Царь говорил, что «до его царского возрасту от них и от их людей детем боярским и крестьянам чинились силы и продажи и обиды великие в землях, и в холопех и в иных обидных делах; и они бы вперед так не чинили, детем бы боярским и крестьянам от них и от их людей силы и продажи и обиды во всяких делах не было никоторые, а кто вперед кому учинит силу или продажу или обиду какую и тем от меня, царя и великого князя быти в опале и в казни». На это огульное обвинение дума ответила прилично и с достоинством: бояре все просили, «чтобы государь их пожаловал, сердца на них не держал», они же хотят служить ему и добра хотеть, как служили и добра хотели его отцу и деду; «а которые будут дети боярские и крестьяне на них или на их людей учнут бити челом о каких делах ни буди, и государь бы их пожаловал, давал им и их людем с теми детьми боярскими со крестьяны суд». Царь их этим пожаловал и заключил беседу словами: «По се время сердца на вас и в тех делах не держу и опалы на вас ни на кого не положу, а вы бы впредь так не чинили». В тот же день такую же речь Грозный держал, обращаясь к «воеводам, и княжатам, и боярским детем и дворянам большим», то есть высшей московской придворной и административной среде*. А на следующий день, 28 февраля, состоялся в присутствии царя и митрополита приговор Боярской думы, бывший в тесной связи с царскими речами предшествующего дня: царь с боярами «уложил, что во всех городах Московские земли наместникам детей боярских не судити ни в чем, опричь душегубства и татьбы и разбоя с поличным; да и грамоты свои жаловальные послал во все города детем боярским».

Именно об этих своих мерах Грозный говорил высшему духовенству на церковном соборе, так называемом Стоглавом, в начале 1551 года: «В предыдущее лето бил есми вам челом

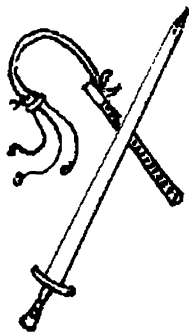
* Это важное известие находится в малоизвестном летописце и издано не вполне исправно (ПСРЛ, т. XXII, с. 528–529). По-видимому, событие 27 февраля 1549 года послужило поводом к составлению легенды о Земском соборе 1547 или 1550 года, когда будто бы царь на площади торжественно говорил всему народу покаянную речь и обещал ему правосудие (Карамзин. «Ист. Гос. Росс», т. VIII, гл. III и прим. 182 и 184).

и с бояры своими о своем согрешении, а бояре такоже, и вы нас в наших винах благословили и простили; а яз по вашему благословению бояр своих в прежних во всех винах пожаловал и простил, да им же заповедал со всеми хрестьяны царствия своего в прежних во всяких делех помирится на срок; и бояре мои, все приказные люди и кормленщики со всеми землями помирились во всяких делех. Да благословился есми у вас тогды же Судебник исправить по старине и утвердити, чтобы суд был праведен... и по вашему благословению Судебник исправил, да устроил по всем землям моего государства старосты, и целовальники*, и соцкие, и пятидесятские по всем градом, и по пригородом, и по волостем, и по погостом, и у детей боярских; и уставные грамоты пописал. Се и Судебник пред вами и уставные грамоты, прочтите и рассудите...»

Любопытен во всех этих правительственных мероприятиях моральный элемент. Предпринимая в 1549 году реформу местного управления, царь начинает дело обновления с самого себя. Он «бьет челом о своем согрешении» пред собором иерархов, кается перед ними с обещанием исправиться и ищет прощения, затем зовет к исправлению и примирению бояр и прочих правителей. Он повторяет свою покаянную исповедь в 1551 году перед Стоглавым собором в очень сильной речи, не щадя себя и обличая свои пороки, и снова зовет своих сотрудников к нравственному возрождению. Целью своих административных нововведений он ставит общее благо и стремится к нему не только проповедью покаяния и примирения, но и практически мерами. Он ограничивает юрисдикцию наместников, вводит присяжных в их суд, дает самоуправление местным обществам, пересматривает Судебник и дополняет его рядом постановлений, направленных к тому, чтобы дать торжество правосудию и справедливости. Власть впервые выступает пред народом с ярко выраженными чертами гуманности, с заботой об общем благоденствии.

Таковы были первые шаги Грозного по пути реформ, составивших славу его молодости. С необыкновенным подъемом,

* Это были присяжные, название которых произошло от того, что их приводили «к крестному целованью в том, что им доходы и прибыль сбирати в правду, безо всякие хитрости».



деловым и моральным, правительство произвело перемены в местном управлении и доложило о них церковному собору 1551 года, прося его одобрения. За этими первыми мерами последовали дальнейшие. Они коснулись снова местного управления и даровали земству, в дополнение к первым преобразованиям, право полного самоуправления. Они, далее, внесли ряд перемен в устройство и управление военных сил государства; они изменили служебные и бытовые условия служилого класса; они создали перемены в области финансово-податной. Насколько во всем этом сказался почин самого царя и насколько сильно было воздействие на него «избранной рады», определить, конечно, нельзя; но нет сомнения, что в этой напряженной и систематической работе правительства созрел ум и воспитались способности самого Грозного, и он из неопытного и распущенного юноши постепенно обратился в способного политика, прошедшего хорошую практическую школу под руководством «избранной рады». Когда он развернулся и сформировался, он не только постиг и усвоил политическое искусство своих руководителей, но уразумел их классовые вождедения, — и тогда «избранная рада» превратилась для него в «собацкое собрание» и он ушел из-под ее влияния и изжил тот нравственный подъем, какой она ему сообщила.

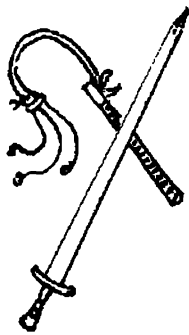
3

Постепенные успехи нашей историографии раскрыли понемногу все содержание и ход преобразовательной деятельности московского правительства за 1549—1556 годы, и теперь возможно дать вкратце общий очерк этой деятельности в ее внутренней последовательности. Как было показано, она началась мероприятиями в области местного управления. Правительство желало искоренить насилия, грабежи и раздоры в управлении наместников («силы, продажи и обиды») и для этого воспользовалось теми бытовыми формами земской самодеятельности, какие из древности существовали в Великорусье.

Земли каждого «уезда» (на которые делилось тогда государство) состояли из владений крупных и льготных землевладельцев, из мелких поместий и «вотчинок» детей боярских и из волостей крестьянских. Крупные вотчины духовенства,

князей и бояр жили порядком, подобным феодальному. В них администрация и суд принадлежали владельцам, и агенты центральной власти к ним не касались, в них «ни въезжали ни по что». На остальных землях действовала примитивная система «кормлений». От государя в известную часть уезда назначался «наместник» или «волостель» для суда и управления. Он наезжал на место своего назначения со своей дворней и управлял с помощью своих слуг, собирая на свое содержание «кормы» и «пошлины». Управление соединялось с правом взимания доходов в пользу кормленщика, и на этой-то почве и процветали произвол, незаконные поборы и насилия. Пока кормленщик был у власти, с ним нельзя было бороться; когда же он «съезжал с кормления», за ним следовали в Москву жалобщики и искали на нем своих обид и убытков*.

Правительство начало с того, что в 1549 году потребовало общей ликвидации всех таких исков («заповедало на срок помириться во всяких делех») и решило впредь установить такой порядок, при котором и самых исков не могло возникнуть. Оно исключило детей боярских из общей компетенции кормленщиков («во всех городах Московские земли наместникам детей боярских не судити ни в чем, опричь душегубства, разбоя и татьбы с личным»). А в крестьянских волостях оно воспользовалось теми формами податной и хозяйственной организации, какие там существовали издавна. Раскладка и взимание податей и повинностей, падавших на крестьянские волости общим окладом, предоставлялись самим плательщикам. К этому делу связанная круговой порукой податная община выбирала целый штат мирских уполномоченных, которые ведали все дела, связанные с государственным «тяглом». Правительство, в целях контроля кормленщиков, обратилось к этим общинам с требованием обязательного выбора «судных мужей» для участия в суде и общим законом (в Судебнике 1550 года) постановило, что кормленщики не могут судить без участия «судных мужей» и «земского дьячка» («а без старосты и без целовальников наместником и волостелем и их тиуном суда не судити»). Но и на этом власть



* Именно таких жалобщиков, пришедших к царю из Пскова жаловаться на князя Турунтая-Пронского, молодой царь жестоко истязал весной 1547 года в селе Островке.

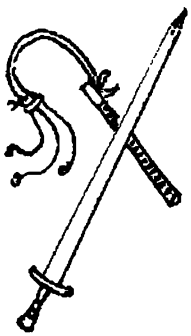
не остановилась: она скоро пришла к мысли о необходимости общей замены архаических кормлений другими формами местного управления, более соответствующими потребностям времени.

По-видимому, различные виды земского самоуправления, бытовым порядком возникшие исстари в северной половине государства и работавшие успешно, навели московских реформаторов на мысль основать местное управление всецело на начале самоуправления. И вот в 1552 году осенью, после Казанского похода, царь, празднуя победу над татарами, сыпал милости и награды, «а кормления государь пожаловал всю землю». Это значило, что царь объявил о своем решении отменить кормления и перейти на новый порядок для населения. Об этом порядке и надлежало подумать. Отправляясь, по обычаю, крестить своего новорожденного сына Дмитрия в Троицком монастыре, Грозный в исходе 1552 года приказал боярам в его отсутствие в думе «сидети о кормлениях», то есть обсудить последствия их отмены и способ нового управления уездами. Как кажется, дело сразу не пошло. Царь нашел, что бояре приступили к делу своекорыстно и «возжелеша богатства»: захотели из отмены кормлений прежде всего извлечь выгоды для себя, для всего класса кормленщиков. Чтобы понять это обстоятельство, надобно помнить, что уничтожение старой системы порождало две заботы: первую — о том, кем заменить в уезде кормленщиков и кому передать их ведомство, а вторую — о том, чем возместить лицам, имеющим право на кормление, те доходы, которых они лишались с потерей этого права.

Бояре заинтересовались, по мнению Грозного, именно этой последней стороной вопроса. Быть может, в ней и надо искать причины задержки в решении дела. По летописи, оно было решено только в 1556 году, когда последовал «приговор царский о кормлениях», чтобы кормлениям не быть, а вместо них быть в волостях и уездах выборным властям из местного населения. Вместе с тем на те города и волости, которые переходили на самоуправление, царь указал, сверх обычных податей, «положити оброки по их промыслом и по землям и те оброки сбирати к царьским казнам своим дьяком». Стало быть, вместо расходов, падавших на население для содержания кормленщиков, назначался теперь оброк («кормленный окуп») в государственную

казну. Из этого нового финансового поступления государь получал средства для возмещения кормленщикам потерянных ими «кормов» и «пошлин»; Летопись говорит об этом, что государь «бояр же и вельмож и всех воинов устроил кормлением» — ежегодным денежным окладом одних, а других «в четвертой год, а иных в третий год денежным жалованием». Так разрешен был вопрос о местном управлении в законе.

На практике разрешение это получило такой вид. Населению той или иной местности предоставлялось просить государя об отозвании наместника или волостеля, сидевшего там на кормлении, и по переходе на самоуправление в той или иной форме. На просьбу следовал государев указ выборному старосте, бывшему при кормленщике: «Как к тебе ся наша грамота придет, и ты б наместнику (такому-то) с нашего жалованья (с такой-то местности) велел съехати и в наместничьи ни в которые доходы (с такого-то срока) вступатись ему и его людям не давал; а ведал бы наместничьи всякие доходы... и людей во всяких делах судил и пошлины с судных дел сбирал ты (староста); и целовальников бы еси к наместничью доходу выбрал... и собирая наместнича доходу, деньги присылал к нам к Москве». Это случай наиболее простой, относящийся к месту со сплошным тяглым, в классовом отношении однородным населением. Власть московская пользовалась здесь готовой, старинной формой податного самоуправления. Если податная община желала взять на себя не только финансовые дела, которые давно ведала, но и суд и полицию, которые ведал кормленщик, то ей передавалась, в сущности, вся администрация, обнимавшая все стороны земской жизни. Органами такого наиболее полного самоуправления были «излюбленные старосты», «излюбленные головы», «земские судьи» с их «целовальниками», «судецкими старостами», «людьми добрыми» и иными блюстителями порядка и закона. Более сложная форма земского самоуправления получалась там, где в одном земском округе («губе») соединялось население тяглое со служилым, с детьми боярскими. Там тяглые общины, входившие в состав «губы», оставались в прежнем виде и ведали, в лице своих «земских старост», хозяйственно-податные дела, а суд и полиция, бывшие в руках кормленщика, передавались особому, избранному из детей боярских, «губному старосте». Ему в помощь избирались «целовальники» и «дьяк», состав-



лявшие особое присутствие — «губную избу». Выросшие на старом земском корню, все эти виды самоуправляющихся общин сохранили в себе местные особенности и достигали иногда большой внутренней сложности. В сущности, земская реформа Грозного свелась к тому, что сняла с населения чуждый ему элемент — пришлых кормленщиков с их корыстной и грубой дворней — и осватила ту самодеятельность населения, которая сохранилась от времен уделов с их слабыми княжескими дворами. Правительственный интерес в уездах после отмены кормлений охранялся специальными агентами власти — «городовыми приказами», «писцами», «дозорщиками». Все же текущие функции управления были в руках местных организаций, получивших с реформой значение государственное.

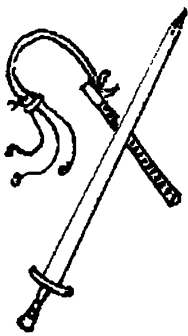
4

Реформа местного управления стояла в тесной связи с преобразованиями в сфере военно-служилой. Как только в правительстве родилась мысль об ограничении полномочий наместников и об отмене кормлений, она должна была вызвать другую мысль — о лучшем устройстве и обеспечении служилого класса, из коего выходили кормленщики. Начиная с 1550 и до 1556 года, одно за другим следуют мероприятия, направленные к улучшению внутренней организации военно-служилого сословия и его службы, к упорядочению его землевладения, к поднятию военной техники. К сожалению, нет возможности восстановить ход преобразовательной мысли в этой сфере правительственного творчества. Известны только отдельные меры, и притом не всегда в их точном, официальном виде: до нашего времени о некоторых из них дошел только летописный, порой невразумительный рассказ. Первым по времени мероприятием, касавшимся служилого класса, был «приговор» 3 октября 1550 года о том, чтобы образовать особый разряд «помещиков детей боярских лучших слуг», числом тысячу человек, и поместить их на землях кругом Москвы. Эти «тысячники», записанные в особую «Тысячную книгу», должны были «быть готовы в посылки», административные и дипломатические, и должны были нести службу в столице, составляя «царев и великого князя полк» (то есть гвардию). Из их среды составлялся придворный штат; они

же по общему ходу дел обратились в правительственную среду, поставившую лиц на руководящие должности по гражданскому и военному управлению. Всего в состав «тысячи» вошло 1078 человек помещиков и вотчинников, образовавших собой столичное дворянство — вершину и цвет служилого сословия. Такова была первая мера.

Одновременно с ней и непосредственно за ней шли меры относительно ратного строя. В том же 1550 году состоялся «приговор государев» об ограничении местничества во время полковой службы. В последующие годы, во время военных операций против Казани, был принят ряд мер «о устройении в полках»: рать была поделена на сотни; во главе сотен поставлены «головы» из лучших воинов, «из великих отцов детей, изящных молодцов и искусных ратному делу». Целью при этом было поднятие дисциплины, и, по-видимому, цель была достигнута: Грозный не раз отмечал, что в походе на Казань 1552 года дисциплина и боевой дух в его войске поднялись до высокого уровня. Можно предположить, что образцом для деления войска на сотни послужило новое устройство московских «выборных стрельцов» — гарнизонной пехоты. В 1550 году их было в Москве образовано шесть «статей» по 500 человек в каждой; у каждой статьи был начальник из детей боярских; статья делилась на сотни, «да с ними головы» — «у ста человек сын боярский в сотниках».

В 1556 году последовало, одновременно с отменой кормлений, и общее распоряжение «о службе всем людем, как им вперед служить». Оно явилось как результат «в поместьях землемерия», учиненного повсеместно для приведения в порядок служилого землевладения. Когда «писцы» и «мерщики» распределили правильно землю между помещиками, отняв лишки у одних и обеспечив до нормы других, тогда царь указал общий для всех размер службы: «со ста четвертей добрые угожей земли (то есть со 150 десятин в трех полях) человек на коне и в доспехе в полном, а в дальний поход о дву конь». Всякий, кто имел право на больший, чем 150 десятин, размер поместья, должен был давать лишних ратников из своих крестьян по тому же расчету: со ста четвертей конный воин. Кто давал людей сверх указанной нормы, тот имел право на дополнительное «денежное жалованье». Это общее «уложение» вносило порядок и правильность в отбывание ратной службы и давало правительству



возможность точного учета его ратных сил. К такому же учету стремилось правительство, составляя в те же годы «родословец» всех видных родов московской знати и высшего слоя дворянства и редактируя официальную «разрядную книгу» с записью служебных назначений на важнейшие должности с 1475 года. Вся совокупность перечисленных мер вела к упорядочению службы, уравниению служебных тягот и вознаграждения за службу и таким образом охватывала все стороны военной организации государства.

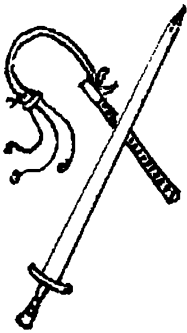
В прямой связи с военными и административными нововведениями стояли и мероприятия в области финансовой. Для уравниения служебных тягот детей боярских решено было привести в порядок их землевладение. Мысль о необходимости справедливости и порядка в этой сфере очень занимала самого Ивана. Сохранилась его записка, направленная к Стоглавому собору, где он пишет: «Да приговорил есми писцов послати во всю свою землю писать и сметити и мои, царя великого князя, и митрополичи, и владычни, и монастырские, и церковные земли, княжеские, и боярские, и вотчинные, и поместные, и черные... всякие, чьи ни буди, а мерити пашенная земля и не пашенная, и луги, и лес, и всякие угодыя смечати и писати... для того, чтобы вперед тяжа не была о водах и о землях: что кому дано, тот тем и владей... и яз ведаю, чем кого пожаловати, и кто чем нужен, и кто с чего служит, и то мне будет ведомо же, и жилое и пустое». Этот царский приговор о «землемерии» был тогда же, в 50-х годах XVI века, приведен в исполнение. Общая перепись земель («письмо») была предпринята и исполнена, и на ее основании были проведены двоякие меры. Во-первых, пересмотрен порядок поместного владения служилых людей и произведен учет вотчинных (наследственных) земель; во-вторых, проведены существенные перемены в технике податного обложения и введена новая податная единица («соха» в 600 и 800 четей). И то, и другое имело целью справедливое уравниение землевладельцев в их службах, платежах и повинностях. Нет нужды останавливаться на технических подробностях этого дела; надо только заметить, что, как и в других областях, так и в этой аграрной и финансовой, деятельность правительства отличалась широким размахом и руководилась стремлением к общему благу и справедливости. Она повела к переменам не

только на местах — в способах обложения и в распределении налогового бремени, но и в центре — в органах финансовой администрации, где наряду со старинным центральным финансовым учреждением Большим Дворцом возникли новые учреждения. На усложнение финансового управления в центре особенно повлияло введение «кормленого окупа», или оброка. Определяемый на основании нового «письма» сбор с перешедших на самоуправление общин доставлялся в Москву и поступал «к царским казнам» в ведение особых дьяков. Эти дьяки получили название «четвертных», а их ведомства название Четей. Из Четей и получали свои «праведные уроки» те служилые люди, которые лишились кормлений и были переведены на денежное жалованье. По имени учреждений, куда они были «пущены в четь» для получения «четвертных денег», эти лица получили наименование «четвертчиков».



5

Мы охватим все стороны преобразовательной работы Грозного и его «избранной рады», если вспомним Стоглавый собор. Созванный по делам церковным в начале 1551 года, собор получил более широкое значение — государственного совещательного органа, которому царь представил на одобрение свой Судебник и «уставные грамоты», содержавшие в себе начала его земской реформы. Что это не была только формальность, ясно из того, как редактировал царь свои вопросы собору по земским делам. Он не только сообщал собору о сделанном, но и просил обсудить и решить то или иное дело: «о сем посоветуйте все вкупе и уложите, как вперед тому делу быть»; «возрите в дедовы и в батьковы уставные книги, каков был указ». Он просит отцов собора не только «благословения», но и подписей «на Судебнике и на уставной грамоте, которой в казне быти», чтобы закон получил санкцию и церковной власти. По его мнению, необходимо вообще единение властей, церковных и светских, в деле государственного обновления, и он выражает намерение обращаться к собору со всем тем, «что наши нужи или которые земские нестроения». Правильно поэтому некоторые исследователи называют Стоглавый собор не просто церковным, а «церковно-земским» собором. Программа



его в области церковного строения была так же широка, как широка была программа государственных преобразование тех лет. По выражению Е. Е. Голубинского⁹, в основе собора лежала «великая мысль совершить обновление церкви путем соборного законодательства». И действительно все стороны церковной жизни московской были охвачены собором: церковное богослужение, епархиальное архиерейское управление и суд, быт духовенства белого, жизнь монастырей и монашества, христианская жизнь мирян, внешнее благочиние — все вошло в круг суждения собора. И результатом этого суждения была целая книга «Стоглав» — «соборное уложение, по которому имели на будущее время производиться церковное управление и совершаться церковный суд» (слова Голубинского).

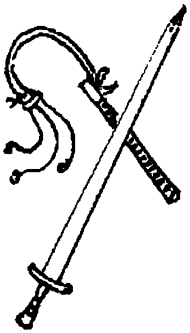
Напряжение правительственной деятельности вызвало и работу общественной мысли в Москве. Эпоха преобразований сказалась в тогдашней письменности обилием публицистических произведений, посвященных вопросам текущей московской жизни. Обсуждалась и осуждалась система кормлений, которая «дает города и волости держати вельможам, и вельможи от слез и от крови роду христианского богатеют нечистым собранием». Указывался пример «Махмет-салтана, турецкого царя», который «никому ни в котором граде наместничества не дал», а «оброчил вельмож своих из казны своей». Словом, предлагался проект той самой реформы, которая совершилась на деле. Обсуждались далее способы устройства военной силы, параллельно с теми мерами, какие принимал Грозный для упорядочения своих войск. Ставились и решались общие вопросы управления, и царю рекомендовалось править не только по собственному разуму, но и с участием разумных советников: «царем с бояры и с ближними приятели о всем советовати накрепко». Иногда высказывалась даже мысль о необходимости для государя «беспрестанно всегда держати погодно при себе» широкий совет «всяких людей» «от всех градов своих»; иначе говоря, указывалось на необходимость созыва земских представителей «всея земли». Вопросы государственной практики сплетались у писателей с темами моральными, и любопытно, что вся текущая письменность того времени как бы переживала такой же нравственный подъем, какой переживал молодой Иван. Трудно определить, насколько зависели преобразования

Грозного от литературных на него воздействий и насколько литературные мотивы являлись следствием государственной работы «избранной рады» и самого царя. Хронология публицистических трактатов не может быть точно определена, авторы их не всегда известны. Поэтому нельзя установить причинной связи и взаимной последовательности литературного слова и государственного дела. Но, взятые в совокупности своей, они производят сильное впечатление и рисуют время реформ Грозного чрезвычайно яркими красками.



6

Достоинства московского правительства выразились и в его внешней политике. В первой половине XVI века вопрос о Казанском «царстве» для Москвы стал ребром. Основанное татарами на территории старого Болгарского царства, Казанское государство не отличалось внутренней прочностью. В нем властвовало и ссорилось небольшое число аристократических родов, «мурз» и «беков», которые держали Казань в состоянии постоянного междоусобия. Иностранческие племена, вошедшие в состав «царства», не слишком дорожили татарской властью и легко отлагались от Казани, но столь же легко и возвращались в ее подданство. Казанское правительство при всей своей слабости могло однако содействовать развитию торговли на Волге и этим привязывало к себе приволжское население. С другой стороны, колониционный натиск русского племени на черемисские и мордовские земли в Поволжье заставлял черемису и мордву искать в Казани оплота против русских, и татары умели оказать им действительную помощь. Они превращали оборонительную войну в наступательную и обрушивались «изгоном» на русские окраины, разоря жилища и пашни и уводя «полон». Черемисская «война жила без перестани» в русском Заволжье; она не только угнетала хозяйство земледельцев, но засоряла торговые и колониционные пути. Сообщение московского центра с русским северо-востоком, с Вяткой и Пермью, должно было совершаться обходом далеко на север. Москва считала Казань опасным и досадным врагом. Другие татарские орды не соседнили с Москвой; они находились за Диким полем; от них можно было усторожиться. Казань же была в непосредственном



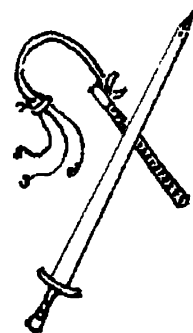
соседстве и, хотя до нее самой было не близко, но близки были те инородческие «языки», которыми она руководила и которых объединяла племенной и религиозной враждой в борьбе с Русью. Соседство это дорого давалось русскому населению, и недаром оно пело в своих песнях, что «Казань-город на костях стоит, Казаночка речка кровава течет».

Когда в начале XVI столетия для московского правительства стала ясна картина казанских междоусобий, оно попыталось вмешаться в них и из них извлечь свою пользу. Во-первых, оно при всякой возможности снаряжало войско для похода на Казань. Русские появлялись под стенами Казани, громили ее окрестности, штурмовали сам город; но не могли долго держаться под Казанью, не имея базы для действий, вдали от своих границ, среди беспокойного и враждебного инородческого населения. Чтобы устроить такую базу, Василий III в 1523 году основал на устье реки Суры город Василь (Васильсурск) и посадил в нем гарнизон. Во-вторых, московское правительство попыталось образовать в самой Казани, среди взаимно враждовавших дворцовых групп русскую партию и с ее помощью ставить в Казани преданных Москве ханов. Это иногда удавалось, но московские ставленники обычно не удерживались на престоле, и Москве оставалось утешаться тем, что ее политика вела к чрезвычайному усилению казанской смуты и тем окончательно ослабляла врага.

Ко времени, когда вырос Грозный и около него стала «рада», казанский вопрос назрел настолько, что не следовало медлить с его окончательным решением. Грозный это понял. Действия против Казани происходили ежегодно с тех пор, как оттуда в 1546 году прогнали данного Москвой хана Шейхали (Шигалея). Московские войска обычным порядком появлялись под Казанью не на долгое время и возвращались назад. В 1550 году обычный поход привел самого Грозного, лично бывшего под Казанью, к важному решению. Остановившись на устье реки Свяги на так называемой Круглой горе (можно сказать, в виду самой Казани), Грозный по совету с Шигалеем решил устроить здесь военную базу «Казанского для дела и тесноту бы учинити Казанской земли». С этого момента и началось систематическое завоевание Казани. На 1551 год предложен был широкий план. Ранней весной на Верхнюю Волгу, в Угличский уезд, был

послан дьяк Выродков готовить лес для Свяжской крепости («церквей и города рубити») и сплавить этот лес по Волге с воеводами, под их охраной, на устье Свяги. Тогда же под Казань собраны были войска «в судех», то есть речным путем по Оке и Волге, и «подем», то есть правым берегом Волги от Нижнего Новгорода. Сверх того на Казань были направлены отряды с Камы и Вятки. Таким образом, Казань была окружена со всех сторон и не могла сосредоточить свои силы для сопротивления на Свяге. В мае 1551 года московский авангард уже был под Казанью и внезапным нападением погромил Казанский посад (поселок под стенами крепости). Затем на Свягу подошла главная московская рать и началась постройка крепости на Круглой горе. Сплавленного из угличских мест леса хватило только «на половину тое горы»; другую половину города «своими людьми тотчас сделали» на месте и «свершили город в четыре недели». Когда поспела эта крепость-база, ее наполнили всякого рода запасом, военным и продовольственным, и этим закончили операцию.

Основание Свяжского города имело важные следствия. «Горнии люди», то есть чуваша и черемисы, жившие на правом берегу Волги, учли московский успех и явились к Свяжску с изъявлением покорности и желанья служить Москве. Для проверки их настроения их послали в поиск под стены Казани, где их татары побили; а затем их старшины ездили в Москву к государю, где их угощали и дарили. За «горними людьми» учла значение Свяжска и самая Казань. Татары вступили в переговоры с московскими воеводами и сдались на волю Москвы. Они выдали своего двухлетнего хана Утемишь-Гирея и били челом, чтобы Грозный вернул свергнутого ими хана Шигалея. Грозный согласился и «пожаловал государь царя Шигалея Казанию». Но при этом в Москве решили разделить Казанское ханство: Шигалей получил «Луговую сторону всю да Арскую; а Горняя вся сторона к Свяжскому городу, понеже государь Божиим милосердием да саблю взял до их челобитья». Это решение не понравилось ни Шигалею, ни казанцам. «Царь Шигалей государево дело похвалил, а того не залюбил, что Горняя сторона будет у Свяжского города, а не у него в Казани». И казанские послы говорили боярам, что «того им учинити не мощно, что земля разделить». Однако Москва на-



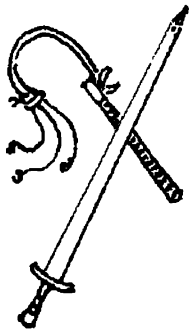
стояла на своем. Утемишь-Гирей с матерью его Сююнбекой был доставлен в Москву; весь русский полон освобожден от неволи*; Шигалей был боярами посажен в Казани на царство. Казалось, дело пришло к окончательному решению, и Москва торжествовала.

Но скоро начались новые осложнения. Шигалей возбудил общую ненависть в Казани тем, что, укрепляя свою власть, «зарубил казанцев добре»: убил сто человек из враждебной ему знати. Но «грубость» обратилась против него, и он понял, что ему «прожить в Казани не мощно». Из Москвы ему дали совет ввести в Казань московский гарнизон, но он отказался: «бусурман де есми, не хочу на свою веру стати». Тогда в Москве созрело решение не поддерживать более Шигалея, а склонить казанцев принять вместо хана государева наместника, который бы держал Казань в порядке военной силой и содействовал окончательному выводу из ханства остатков русского полона, так как татары «по ямам полон хоронят». После переговоров с Шигалеем и с теми кругами в Казани, которые шли на подчинение Москве, в феврале 1552 года Грозный послал в Казань Алексея Адашева свести Шигалея и вместо него назначил наместником князя С.И. Микулинского. Но в последнюю минуту, перед самым въездом в Казань Микулинского, казанцы «изменили», затворили город и отказались повиноваться московскому государю. Во всем крае вспыхнула война. Казанцы подняли против русских не только луговую сторону, но и «горних людей», так что Свияжск оказался в осаде. Москве предстояла тяжелая кампания. Дело осложнялось еще тем, что казанцы снеслись с другими татарским центрами, получили из Ногайской орды воинскую помощь и хана Едигер-Магмета, которого и посадили вместо Шигалея в Казань; кроме того, они попросили помощи у Крыма.

Еще с ранней весны 1552 года Москва приняла некоторые военные меры. В Свияжск было послано подкрепление гар-

* Боярам было выдано в Казани сразу 2700 русских пленников; а всего, по московскому счету, возвратились на Русь из Казанского царства 60 тыс. человек только через Свияжск «вверх Волгою», не считая тех, кто вернулся иным путем — на Вятку, Пермь, Вологду: «все по своим местом, кому куды ближе, туды пошли».

низону, болевшему цингой. На всех сообщениях Казани («по всем перевозам» на Каме, Вятке и Волге) были поставлены отряды, «чтобы воинские люди в Казань да ни из Казани не ходили». В самой Москве шла работа по мобилизации возможно больших сил. Было решено одну рать послать Окой и Волгой в судах к Свяжску, другой идти сухим путем с Коломны на Муром и Свяжск. Тяжелая артиллерия была заблаговременно отправлена водой. Сам Грозный собирался в поход со своим полком вместе с сухопутной ратью. В июне началось движение сухопутной рати на Коломну, но не спешное, так как ожидали возможного нападения крымцев на южные окраины Руси. Эти ожидания сбылись. Крымский хан подошел к Туле и осадил ее, но был вскоре отражен отрядами, посланными из Коломны. Только тогда, когда уверились, что крымцы убежали домой и всякая опасность с юга миновала, московская рать двинулась с Коломны на восток, через «поле» к Свяжску, куда прибыла только в середине августа. Здесь сказалось все значение Свяжского города, «воистину зело прекрасного», как выражается Курбский, рать пришла туда «яко в свои дома от того долгого и зело нужного пути». В Свяжске, по сообщению Курбского, был всего недостаток, чего бы душа ни восхотела. Туда было доставлено водой огромное количества провианта, даже явилось «купцов бесчисленное множество» со всяким товаром. Оттуда и была начата правильная осада Казани, шедшая около полутора месяцев. Дело было подготовлено предусмотрительно, и к нему были применены все правила тогдашнего осадного искусства. Осаждающие шли к городу траншеями, в которых располагалась пехота с огнестрельным оружием. Осадная артиллерия действовала не только с закрытых батарейных позиций, но даже с «вежи» — подвижной деревянной башни, на которую подняли 10 крупных орудий и 50 мелких пушек. Против стен крепости пустили в ход подкопы — дело новое для московской техники. Впервые московские люди познакомились с минным делом и испытали на себе его вред в 1535 году, когда литовские войска с помощью подкопа взяли Стародуб. Гарнизон Стародуба потому «того лукавства подкопывания не познал, что наперед того в наших странах не бывало подкопывания». Прошло всего пятнадцать лет, и у Москвы явились свои «подкопщики». Под Казанью Грозный имел «немчина,



именуема Размысла*, хитра, навычна градскому разорению», и поручил ему вести подкопы. Их вели несколько сразу, причем царь спешил: он велел Размыслу на меньшие подкопы «учеников ставить, а самому большего дела беречи», чтобы поспеть скорее к развязке. Развязка последовала 2 октября; после взрыва главного подкопа русские проникли в крепость и взяли ее. Казанское царство пало, и Казань стала русским городом.

Хотя Грозный и упрекал бояр за то, что они «поотложили Казанское строение» (после взятия самой Казани мало заботились об устройстве завоеванного края), признаем, что Москва хорошо воспользовалась одержанной победой. Среднее Поволжье было прочно закреплено за Москвой рядом крепостей, поставленных в инородческих областях, и энергической колонизацией вновь приобретенных хлебородных пространств в Поволжье. Прошло всего два-три десятилетия со времени «Казанского взятия», и самая Казань, и все волжское побережье до самой Астрахани стали русской страной. До Астрахани русские отряды добрались тотчас же по взятии Казанского царства и, воспользовавшись распрями в среде ногайских князьков, в 1556 году заняли Астрахань «на государя».

Укрепившись в этом городе «как им бесстрашно сидеть», московские воеводы «по Волге казаков и стрельцов расставили и отняли всю волю у ногай и у астраханцев рыбные ловли и перевозки все». Таким образом, выход в Каспийское море, на азиатские рынки, оказался в полном распоряжении Москвы.

Блеск побед, одержанных над вековыми врагами татарами, уничтожение постоянной опасности для русских поселений от татарской и черемисской «войны», приобретение новых богатых земель для русского хозяйства и Волжского пути для русской торговли — все это было учтено и доставило Грозному необыкновенную славу. От риторического произведения московского книжника до бесхитростной народной песни, во всех произведениях слова молодой московский царь прославлялся как герой.

* Карамзин принял летописное слово «Размысла» за имя нарицательное и пояснил: «немецкому размыслу, то есть инженеру». В словарях Срезневского и Даля «размысл» имеет несколько значений, но ни одного в смысле «инженера». Вероятнее, Размысл есть испорченная фамилия Размуссен; датский гонец Peter Rasmussen в 1602 году в Москве именовался «Петр Размысл».

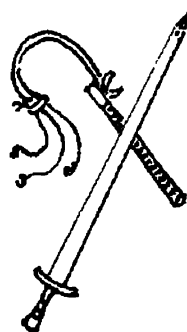
До народного слуха не доходили суждения о личном малодушии Грозного в тяжелые минуты общего штурма Казани, когда, по словам Курбского, у царя от страха изменилось будто бы лицо и сокрушилось сердце и надобно было другим взять за повод его коня, чтобы подвести царя к месту боя. С этой славой Грозный вошел в последующие годы своей жизни и деятельности.



IV. Переходный период

1

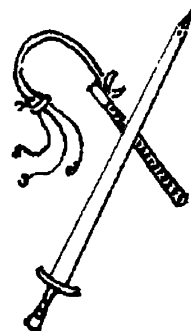
Казанский поход 1552 года и последовавшая за ним тяжелая болезнь Грозного (в марте 1553 года), по-видимому, произвели перелом во внутреннем настроении царя. Он возмужал от необычных переживаний кровавой борьбы, от впечатлений путешествия по инородческому краю к далекой Казани, от выпавшего на его долю блестящего политического успеха. Сознание своего личного главенства в громадном предприятии должно было в глазах Грозного поднять его собственную цену, развить самолюбие и самомнение. А между тем окружающие его сотрудники и друзья, «рада» попа Сильвестра, продолжали смотреть на царя как руководители и опекуны. В дни наибольшего торжества своего под Казанью Грозный, по его словам, еще испытывал на себе всю силу влияния окружающих. Обратный путь от Казани в Москву царю пришлось совершить не так, как бы он хотел; он говорит, что его «аки пленника всадив в судно, везяху с малейшими людьми сквозе безбожную и неверную землю». Действительно, Грозный плыл от Казани до Нижнего Волгой и лишь от Нижнего поехал «на конех». Ему казалось, что люди, заставившие его избрать такой маршрут, рисковали его жизнью, дав ему малый конвой в незамиранных инородческих областях от Казани до Васильсурска и Нижнего; в негодовании он восклицал: «нашу душу во иноплеменных руки тщатся предати». Если под Казанью Грозный уже тяготился опекой, то в Москве в торжествах, которые следовали по случаю победы, в чаду похвал, благодарений и личного триумфа, молодой царь должен был стать еще чувствительнее к проявлениям опеки. Именно



такое должно было быть настроение Грозного, когда он тяжело захворал, и его советники, привыкшие руководить царем, стали лицом к лицу с возможностью потерять его, а с ним потерять и свое влияние. В критические дни, когда ожидали скорой кончины царя, встревоженный кружок Сильвестра и Адашева проявил больше заботы о своем будущем, чем преданности умиравшему царю и его семье. Грозный это узнал и оценил, и тяготившая его опека стала ему ненавистна.

Вот что произошло в роковые дни царской болезни. По старому русскому обычаю, тяжело больному царю прямо сказали, что он «труден», и государев дьяк Иван Михайлов «вспомянул государю о духовной». Царь повелел «духовную совершити» и в ней завещал царство своему сыну князю Дмитрию, родившемуся во время Казанского похода и бывшему еще «в пеленицах». Кроме Дмитрия, в царской семье было два князя: брат родной царя Юрий Васильевич и брат его двоюродный Владимир Андреевич (сын загубленного великой княгиней Еленой удельного Старицкого князя). Ни Юрий, ни Владимир не могли, по московскому порядку, наследовать царю, так как Москва уже твердо держалась наследования по прямой нисходящей. Тотчас по составлении духовного завещания Иван привел ко кресту «на царевичево княже-Дмитриево имя» свою «ближнюю думу», и бояре при самом царе с полной готовностью присягнули. Отсутствовал только князь Д.И. Курлятев, сказавшись больным. Это был член «избранной рады», именно тот «единомысленник» Сильвестра, которого Сильвестр, по словам Грозного, к царю «в синклитию припустил», то есть провел в ближние бояре. После того, как царь «приводил к целованию бояр своих ближних», на другой день «призвал государь бояр своих всех» и лично, собрав их о своем завещании, просил их присягнуть Дмитрию. Но он желал, чтобы присяга шла не при нем, ибо ему было «истомно», а при его ближних боярах, в «передней избе» дворца. В эту минуту и произошло неожиданное для Грозного осложнение. Бояре при тяжелом больном устроили «брань велию и крик и шум велик». Они не хотели «пеленичнику служить» и говорили царю, что при малолетстве Дмитрия править будут его родные по матери Захарьины-Юрьевы, «а мы уже от бояр до твоего возраста беды видели многие», «а Захарьиным нам, Данилу с братией, не служивати». Грозному пришлось сказать

«жестокое слово»: он от одних потребовал присяги; другим напомнил, что они уже целовали крест и должны стать за его сына и «не дать боярам сына моего извести некоторыми обычай»; а Захарьиным (брату царской жены Данилу Романовичу и его двоюродному брату Василию Михайловичу) государь молвил: «А вы, Захарьины, чего испужалися? али чаете, бояре вас пощадят? вы от бояр первые мертвецы будете! и вы бы за сына за моего да и за мать его умерли, а жены моей на поругание боярам не дали». В конец концов бояре ушли в «переднюю избу» и там после многих перекогов и «мятежа» все присягнули Дмитрию. После этого Грозный велел привести к присяге в своем присутствии и князя Владимира Андреевича Старицкого. Но и тот едва согласился присягнуть малютке-племяннику, несмотря на угрозы государя и уговоры бояр; да и мать князя Владимира княгиня Ефросиния едва согласилась привесить к присяжной записи своего сына его княжую печать. Когда Грозный встретил неожиданное сопротивление в вопросе о воцарении его сына, то между прочим сказал боярам: «Коли вы сыну моему Дмитрию креста не целуете, ино то у вас иной государь есть?» Недолго было Грозному ждать ответа на этот вопрос. Тотчас же выяснилось, что другой «государь» был действительно боярами намечен. Это не был князь Юрий Васильевич, ибо о нем никакой речи не велось по его малоумию*. Это был именно князь Владимир Старицкий. Грозный собрал много сведений по этому делу. Он удостоверился, что князь Курлятев уклонился будто бы по болезни от присяги вместе с другими ближними боярами, так как вел переговоры с князем Владимиром, «хотя его на государство». Грозному, далее, стало известно, что сам Сильвестр стоял на стороне Владимира и ссорился из-за него с ближними боярами. Узнал затем Грозный, что его ближний боярин, слуга его отца, князь Д.Ф. Палецкий, поцеловав крест Дмитрию, сейчас же завел сношения с Владимиром, как с будущим царем, о том, чтобы по воцарении тот не обидел уделом малоумного князя



* Если бы Юрий был дееспособен, он был бы главным соперником племяннику своему Дмитрию. Но он был невменяем. Курбский о нем прямо говорит, что он «был без ума и без памяти и бессловесен: тако же, аки див якой, родился». До самой смерти (1563) он не помянут ни в каком деле — ни в актах, ни в летописях.



Юрия Васильевича, бывшего в свойстве с Палецким. Наконец, на глазах самого Грозного отец его любимца Адашева «почал говорить» против царской родни Захарьиных-Юрьевых, значит, не желал воцарения Дмитрия. Все эти сведения потрясли душу Грозного. Они вскрыли перед ним, больным, то, чего он не узнал бы здоровым. Его друзья и сотрудники, служа ему, не любили его семьи и в трудную минуту чуть не открыто ей изменили. В трудную минуту они не постеснялись выразить самому Грозному свои чувства, далеко не приятные для него, и указали ему на опасное для него значение в династии незначительного удельного князя Владимира. «И оттоле, говорит официальная летопись, бысть вражда велия государю со князем Владимиром Андреевичем, а в боярах смута и мятеж».

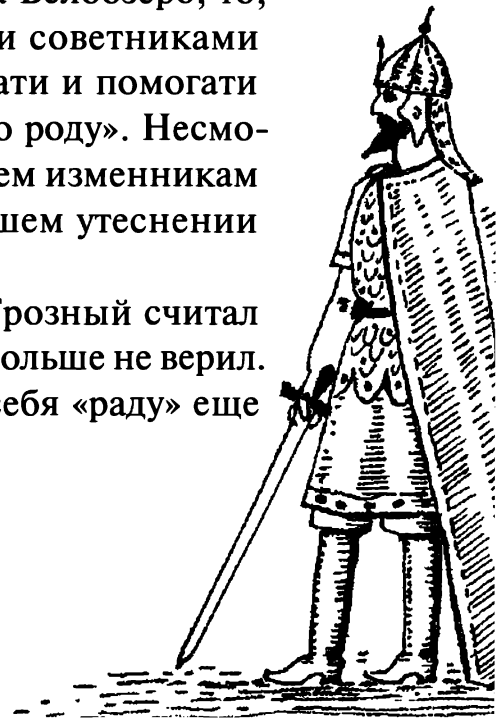
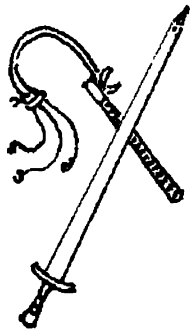
2

Грозный выздоровел к маю 1553 года, а его маленький сын Дмитрий, ставший предметом дворцовой распри, утонул в июне того же года. Вся суэта с завещанием Грозного и с присягой Дмитрию, таким образом, оказалась напрасной. Но последствия ее были тяжки. Она сделала явной и очень обострила вражду бояр — «избранной рады», с одной стороны, и «ближних бояр» и царицыной родни — с другой. По-видимому, эта вражда побудила даже к попыткам бегства в Литву тех лиц, которые считали для себя небезопасным быть в Москве. Именно летом 1554 года царю стало известно о покушении целого кружка бояр изменить Москве и уйти «к королю». Во главе дела стоял боярин князь Семен Васильевич Лобанов-Ростовский, а с ним в уговоре были «братья его и племянники». Следствие выяснило, что мысль о побеге князя Семена зародилась со времени государственной болезни, что в 1553 году князь Семен вступил в тайные сношения с бывшим тогда в Москве литовским послом Станиславом Довойной и выдал ему некоторые правительственные секреты, что он затем послал в Литву своего холопа Бакшея, а за ним и собственного сына князя Никиту подготовить переезд для прочих участников «измены». Причину своего недовольства князь Семен объяснял тем, что Грозный «их всех не жалует, великих родов бесчестит, а приближает к себе молодых людей» (то есть незнатных); «да и тем нас истеснил (говорил

он), что женился — у боярина у своего дочь взял, понял робу свою: и нам как служить своей сестре?» Особенно страшной эта опасность — «служить своей сестре» — показалась князю Семену тогда, когда заболел государь и по его смерти могли всем завладеть Захарьины. Так в деле боярской измены 1554 года зазвучал тот же мотив, который звучал в тяжкие дни государевой болезни; но теперь в нем оказалась иная основа. Дед Грозного был женат на греческой царевне, его отец женился на княжне из «большого» выезжего рода, а Грозный «понял робу свою» из простого не княжеского рода. В этом, оказывается, было унижение для «великих родов», которым приходилось служить «молодым людям» Захарьиным и «своей сестре». Очевидно, княжата считали брак Грозного неразумным, несоответствующим ни его, ни их достоинству, и возможность регентства над Дмитрием именно Захарьиных они учитывали как особое унижение для всей своей среды.

Нелегко было личное положение Грозного между враждующими кругами. Ранее того, как вражда вскрылась в открытом столкновении 1553 года, Грозный мог ее не знать или сознательно не замечать. Сильвестр, Адашев и княжата были его правительством, а семья, Захарьины и «ближние бояре», с ними согласные, были его интимным кругом, и между ними могли существовать приличные отношения. Теперь произошел разрыв, и за Сильвестром и княжатами стало имя князя Владимира. Прежнего доверия к «избранной раде» быть не могло, но могло быть пред нею чувство страха. Вспомним, что, по мнению Грозного, Сильвестр и Адашев «ни единые власти не оставиша, идеже своя угодники не поставиша». Царю казалось, что весь аппарат власти был в руках у «рады». Когда он и ближняя дума осудили князя Семена Ростовского в ссылку на Белоозеро, то, по словам Грозного, поп Сильвестр со своими советниками «того собаку почал в велицем бережении держати и помогати ему всеми благими, и не токмо ему, и всему его роду». Несмотря на расправу с этим «изменником», тогда «всем изменникам благо время улучися; нам же бо оттоле в большем утеснении пребывающим».

Справедливо или нет, но вполне искренне Грозный считал себя в зависимости и в «утеснении» от тех, кому больше не верил. Этим и объясняется, почему он терпел около себя «раду» еще



долго после душевного разрыва с нею в 1553 году. Он ее боялся; она же продолжала выполнять свою правительственную работу по плану, который был создан в начале вызванных ее влиянием преобразований. По-видимому, только к 1557 году Грозный более и менее освободился от чувства зависимости в отношении Сильвестра и его «другое и советников». В это приблизительно время заканчивается работа над внутренними преобразованиями (как будто бы их программа признается исчерпанной) и выступают на первый план вопросы внешней политики. Падение Казанского царства возбудило враждебную энергию крымцев, и в 50-х годах XVI века Москве приходилось с особым напряжением вести охрану своих южных окраин. А кроме того на западных границах государства рождались осложнения со Швецией и, главным образом, с Ливонией. В понимании общего политического положения в определении очередных задач московской политики царь круто разошелся с «радой» и обернулся на запад в то время, когда «рада» упорно оборачивала его на юг. С этого началась эмансипация Грозного.

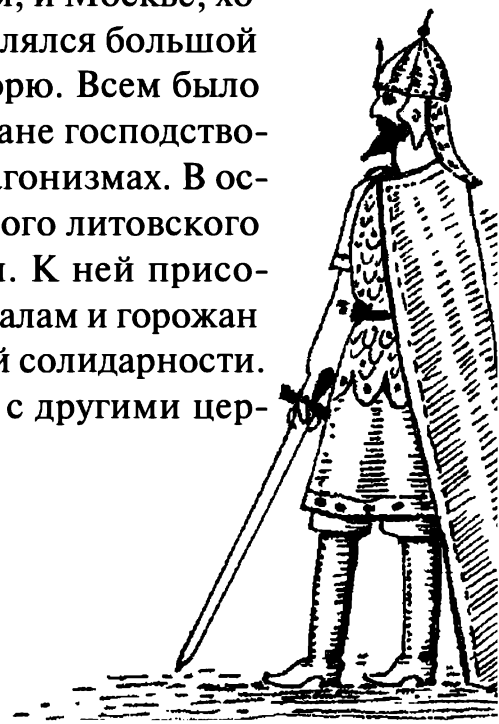
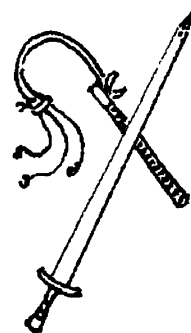
V. Последний период деятельности Грозного. Балтийский вопрос и опричнина

1

Для нас нет возможности пространно излагать все обстоятельства великой борьбы XVI века за торговые пути и берега Балтийского моря. В этой борьбе Москва была лишь одной из многих участниц. Швеция, Дания, Польша и Литва, Ливония, Англия, Северная Германия — одинаково были втянуты в борьбу, торговую и военную, и Москве невозможно было уклониться от участия в том, что происходило на ее западных границах, эксплуатировало ее и угнетало. В зависимости от того, как складывались отношения на Балтике, московская торговля или оживала, или замирала; гавани или открывались, или становились недоступными; сообщения с западными странами или налаживались, или прерывались. К середине XVI столетия западный московский рубеж стал особенно страдать от тех мероприятий,

какие принимала Ливония из чувства страха перед ростом Москвы. Она пыталась совсем разобщить Москву с Западом. Под влиянием внушений, шедших из Ревеля, и ганзейские города, с Любеком во главе, стали держаться той же политики и действовать против Москвы. Обе силы, и Ганза, и Ливонский орден, желали пользоваться московским рынком и извлекать из него необходимые им товары (воск, меха, лен, коноплю, кожи), а взамен давать ему возможно менее, и в особенности не давать оружия и других боевых припасов и не пропускать в Москву военных людей — врачей и техников. Известна история одного из предпринимателей того времени Ганса Шлитте. Он желал втянуть Москву в круг политических интересов Средней Европы и снабдить ее людьми и средствами для участия в европейской антитурецкой лиге. Но власти Любека в 1548 году не пропустили в Москву ни Шлитте, ни нанятых им людей, ибо Ливония представила Ганзе свои доводы о крайней опасности всякого содействия Москве. Можно сказать, что, благодаря такой тенденции, Москва была поставлена в тяжелую зависимость от своего западного соседа. Она без его разрешения не могла ничего получить из Европы, не могла послать туда своих купцов, не могла пользоваться ближайшими к ней балтийскими гаванями. Понятна поэтому та радость, с какой в Москве встретили английских купцов, появившихся в 1553 году в устьях Северной Двины; понятна та готовность, с какой Грозный оделил их торговыми привилегиями.

Но возможность использовать северный путь сношений с Европой не уничтожила желания пользоваться и западными путями, более короткими и удобными, именно на Ригу и Ревель. Оба они были всецело в руках Ливонии. А Ливония в данную минуту являла зрелище внутреннего разложения, и Москве, хорошо знакомой с состоянием соседки, представлялся большой соблазн воспользоваться минутой и выйти к морю. Всем было ясно положение Ливонского ордена. В этой стране господствовала анархия, и вся жизнь Ливонии шла на антагонизмах. В основе их лежала вражда национальная — коренного литовского и финского населения к завоевателям немцам. К ней присоединялась вражда социальная — крестьян к феодалам и горожан к тем и другим. Не было в стране и политической солидарности. Магистр Ливонского ордена всегда враждовал с другими цер-

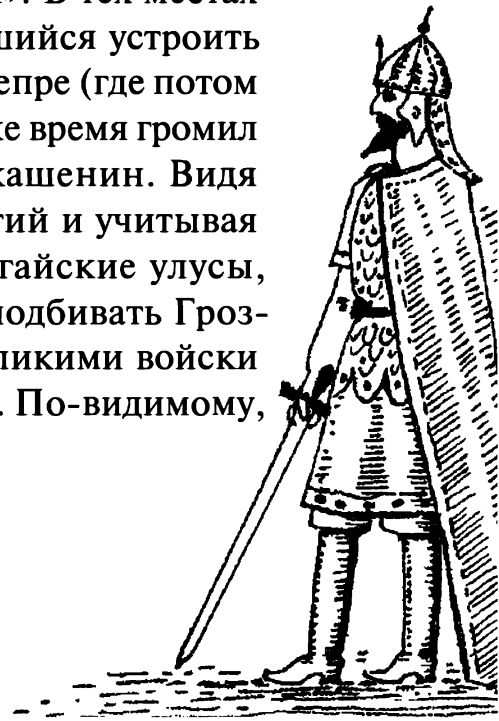
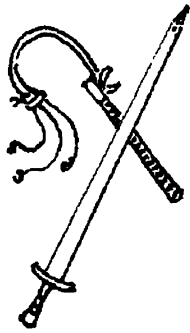


ковными властями, в особенности с Рижским архиепископом, а города, рано достигшие свободы и самостоятельности, тянулись к Ганзе и при случае захватывали в свои руки руководство политическими отношениями. Городская аристократия не желала повиноваться ни ордену, ни архиепископу. Наконец, проникшая в Ливонию Реформация создала в ней и религиозный антагонизм. Она лишила орден внутреннего единства и во все классовые организации внесла рознь и расшатанность. Для Ливонии это было последним ударом, за которым должно было последовать распадение.

В Москве вряд ли представляли себе во всей совокупности содержание «Балтийского вопроса» и всю сложность отношений между прибалтийскими государствами. Но там, конечно, хорошо понимали свои ближайшие интересы и ближайшую политическую обстановку. Кризис Ливонии, ее внутренняя шаткость и военная слабость не были секретом для московских дипломатов. Ими была учтена возможность и своевременность вмешательства в ливонские дела с целью приобретения тех гаваней, которые были нужны для русской торговли и ею до сих пор командовали. Нарва, за нею Ревель, за ними, в случае удачи, Гапсаль и даже Рига — вот предмет московских вождений. Но в Москве понимали также всю сложность собственного политического положения. Блестящий успех Москвы на востоке и, с покорением татарских ханств, выход ее на Каспий, к восточным рынкам, взбудоражили мусульманский мир, подняли Крым, смутили Турцию. Москва могла ждать нападений с юга и юго-востока. Эта опасность представлялась особенно страшной для тех осторожных людей, которые знали силу турок и страх, внушаемый ими Средней Европе. Москва в то же время не могла добиться мира с Литвой и должна была довольствоваться кратковременными перемириями с ней то на два года, то на шесть лет. Пограничные отношения со шведами были так запутаны, что в 1555 году привели к войне, шедшей вяло и законченной в 1557 году удачным для Москвы миром на сорок лет. Для Москвы эта война послужила, по-видимому, доказательством слабости Швеции.

Московские умы, занимавшиеся вопросами внешней политики, должны были в то время держаться двоякой «ориентации». Для одних главной задачей момента было укрепление

за Москвой сделанных ею завоеваний и оборона, по возможности активная, южных границ. Для других очередным делом представлялось приобретение торговых путей на западе и выход на Балтийское море. Первые считали главным врагом Москвы крымцев, а за ними турецкого султана. Вторые считали своевременным удар на Ливонию, которой не могли в данную минуту помочь ни Швеция, ни Литва, только что связавшие себя мирными трактатами с Москвой. Первых следует считать более осторожными политиками, чем вторых; вторые же, без сомнения, были более чуткими и смелыми людьми. К первым принадлежали Сильвестр и его друзья — «рада»; на сторону вторых стал сам Грозный. Если бы сторона Сильвестра была последовательна, она ограничилась бы теми мерами против крымцев, которые внушались реальной обстановкой тех лет. Надо было держать наготове оборонительные войска на границах, посылать в Дикое поле разведчиков и при случае самим делать вылазки против татар, чтобы внушить им некоторый страх. После падения Казани и Астрахани крымцы могли ждать от Москвы удара и на них самих. Вероятно, под влиянием «рады», такого рода меры и принимались; но их неожиданно большой успех вскружил наиболее впечатлительные головы и внушил «раде» мечту о немедленном завоевании Крыма. Мудрая осторожность была забыта, и осмотрительную деловую программу заменили воздушные замки. Дело в том, что предпринимаемые против Крыма в 1555—1560 годах наступательные действия, благодаря счастливой случайности, из коротких набегов и разведок переходили во внушительные демонстрации. Таковы были набеги И.В. Шереметева, Д. Ржевского, князя Дм. Вишневецкого и других. Ржевский в 1556 году добрался до берегов Черного моря (у Очакова) и поднял на себя «весь Крым». В тех местах годом позже действовал Вишневецкий, пытавшийся устроить себе постоянную базу на острове Хортице на Днепре (где потом стала знаменитая Сечь). На Азовском море в то же время громил татарские улусы казачий атаман Мишка Черкашенин. Видя особый успех всех этих и подобных предприятий и учитывая засуху и эпидемии, истощавшие в те годы ногайские улусы, «избранная рада» поддалась соблазну и стала подбивать Грозного, «да подвигнется сам с своею главою с великими войска на Перекопского (хана), времени на то зовущу». По-видимому,

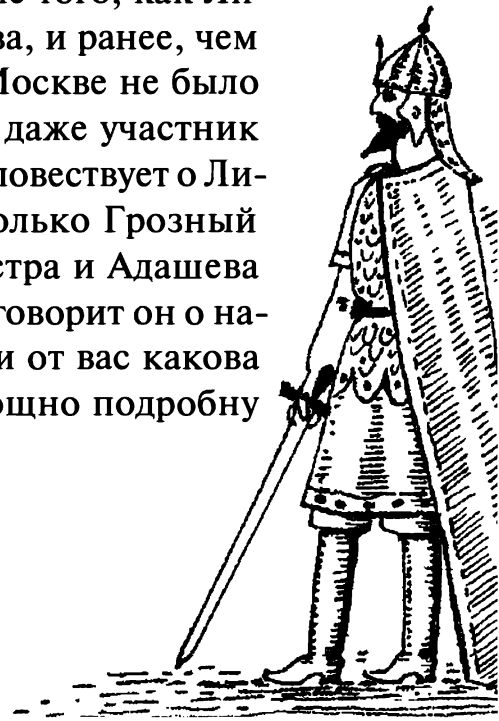
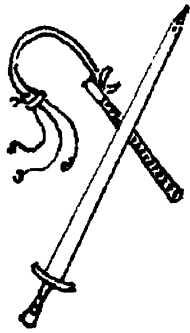


такие увещания бывали не раз, а много раз. Курбский говорит о себе и своих единомышленниках: «мы же паки о сем и паки ко царю стужали и советовали: или бы сам потщился идти, или бы войско великое послал в то время на орду». Но царь, к великому огорчению «рады», не послушал ее, а устремил свое внимание на запад. Трудно теперь решать, на что в ту минуту более «звало время» — на Ливонию или Крым. Но ясно, что поход «с великими войсками» в Крым представлял величайшие трудности, а Ливония была под рукой и явно слаба. Наступать через Дикое поле на Перекоп тогда надобно было с тульских позиций, так как южнее Тулы уже «поле бе», то есть начинались необитаемые пространства нынешней черноземной полосы, и в них не было еще таких опорных пунктов, какими в свое время против Казани стали Васильсурск и Свияжск. Активная оборона южной окраины и ее постепенное заселение были делом исполнимым и целесообразным, и поскольку это дело занимало «раду» Сильвестра, постольку «рада» была права. Но фантастический проект перебросить через Дикое поле всю громаду московских полевых войск на черноморское побережье был, вне всякого сомнения, неисполним. Он являлся вопиющим нарушением осторожной последовательности действий. Только через двадцать лет после этого проекта Москва достигла заметных результатов в деле заселения и укрепления Дикого поля и перенесла границы государственной оседлости с тульских мест приблизительно на реку Быструю Сосну. В начале XVII века с Быстрой Сосны, от Ельца и Ливен, первый самозванец предполагал начать свой поход против татар и турок. Но и этот поход был, конечно, политической мечтой авантюриста, а не зрелым планом государственного человека. В исходе XVII века с еще более южной базы пробовал атаковать Крым князь В. В. Голицын, но, как известно, безо всякой удачи. Позднейшие и более удачные походы в Черноморье Петра Великого и Миниха столь же наглядно, как и походы Голицына, показали громадные трудности дела и послужили тяжким, но полезным уроком для последующих операций.

Отказываясь «подвигнуться» против Крыма сам «с великим войском», Грозный был, несомненно, прав. Хотя Курбский обругал его советников, отвративших будто бы царя от крымской войны, «ласкателями» и «товарищами трапез и кубков», однако эти ласкатели — если вина на них — были на этот раз разум-

нее «мужей храбрых и мужественных», толкавших Грозного на рискованное, даже безнадежное дело. «Время звало» Москву на запад, к морским берегам, и Грозный не упустил момента предъявить свои притязания на часть ливонского наследства, имевшего стать выморочным. Не сам, конечно, Грозный поставил перед московским правительством ливонский вопрос. Этот вопрос получил важность очередного в системе политических отношений Москвы силой вещей, всем ходом сношений с Ливонией. С 1554 года в этих сношениях наступил кризис: Москва потребовала, чтобы Ливония стала к ней в даннические отношения. Сама по себе дань не имела большого значения, и требование дани не опиралось на бесспорное юридическое основание. Все понимали, что московское притязание есть только предлог и символ. Ссылаясь на то, что платеж дани был условлен еще договором 1503 года, Москва видела в этом давний знак политической зависимости от нее если не всей Ливонской федерации, то Дерптского округа, и обязывала Ливонию не вступать в дружественные отношения с Польшей и другими странами. Согласие платить дань значило бы признание Ливонией своей зависимости от царя; неуплата же дани давала повод к московскому вмешательству в ливонские дела. Около трех лет шли бесплодные попытки ливонцев уклониться от дани; Ливония пережила в эти годы острое междоусобие и несчастную войну с Польшей. В отчаянии она заключила с польским королем Сигизмундом-Августом союз против Москвы (в сентябре 1557 года); а в исходе этого года русская рать стояла уже на границах Ливонии, в январе 1558 года она вошла в Ливонию, а польский король никакой помощи ливонцам не присылал.

Так началась знаменитая Ливонская война Грозного. Удар врагу был нанесен своевременно — тотчас после того, как Ливония ушла под протекторат другого государства, и ранее, чем могла поспеть оттуда к ливонцам помощь. В Москве не было заметно и тени недовольства начатой войной; даже участник «избранной рады» Курбский с воодушевлением повествует о Ливонском походе и о своем в нем участии. И только Грозный ядовито рассказывает о несочувствии Сильвестра и Адашева этой «Германской» войне. «И от того времени (говорит он о начале войны) от попа Сильвестра и от Алексея и от вас какова отягчения словесная пострадах, ихже несть мощно подробну



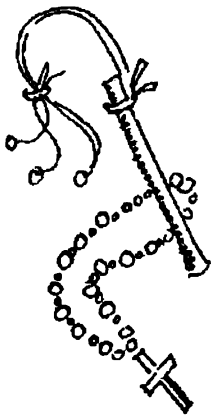
изглаголати! Еже какова скорбная ни сотворися нам, то вся сия герман ради случися!» Но вряд ли можно думать, что в Сильвестре и Адашеве говорила политическая прозорливость, а не простая досада на непослушного им царя. Никто в Москве не мог тогда представить себе, до какой степени осложнится дело с Ливонией; никто не ждал, что против Москвы станут все претенденты на Ливонское наследство — и Швеция, и Дания, и Речь Посполитая, а за ними император и вся вообще Германия. Москва радовалась скорой и легкой победе, не предвидя, что она поведет к тяжким военным испытаниям и к роковому внутреннему расстройству.

2

В самых общих чертах ход Ливонской войны был таков. В начале 1558 года московские войска опустошили Ливонию почти до Ревеля и Риги. Весной они взяли Нарву и несколько других ливонских крепостей. В июле после недолгой осады сдался Дерпт (Юрьев). Ливонцы сопротивлялись слабо, искали мира у царя в Москве, просили помощи на западе. При этом сказался уже внутренний распад Ливонии. Даже в минуты смертельной опасности страна не могла достичь единения: Эстляндия и остров Эзель обратились за покровительством и помощью к Дании, рижский архиепископ — к Польше, магистр ордена — к Швеции. Этим подготовлялось общее вмешательство в деле Ливонии и ее раздел. В 1559 году натиск русских повторился; опять московские отряды появились под Ригой и проникли даже в Курляндию. Весной приехало в Москву датское посольство по ливонскому делу и исхлопотало у Грозного для Ливонии перемирие на полгода («от мая до ноября»). Датчане заявляли, что Ревель учинился «послушен» их королю, и потому просили царя не трогать ревельских мест. Давая перемирие «для кроткого предстояния» датского короля, Грозный, однако, отвел его притязание на Ревель, заявив решительно, что будет держать Ревель «в своем имени». В Москве ждали, что во время перемирия магистр Ливонии явится в Москву лично или пришлет «своих лучших людей» для того, чтобы «за свои вины добити челом» и получить мир, «как их государь пожалует». Но магистр не приехал, а ливонцы воспользовались перемирием для того, чтобы

найти покровителей и союзников против Москвы. Они искали их на имперском сейме в Германии, в Швеции, Дании, Польше, — словом, там же, где и год тому назад, — и Ливония в этих поисках окончательно распалась. В течение 1559—1561 годов оформилось это распадение тем, что Эстляндия вошла в подданство Швеции, остров Эзель стал под покровительство Дании, магистр отдал Лифляндию польскому королю, с сохранением над ней номинальной верховной власти императора, и, наконец, сам магистр обратился в герцога Курляндского с явным подчинением тому же королю и императору.

Секуляризацией Курляндии закончился процесс уничтожения средневековой Ливонской федерации, и Грозному пришлось теперь считаться с ее наследниками. Значительной долей выморочного наследства он фактически владел, но юридически за ним, кроме Дании, никто ничего не хотел признавать. Всё, что московские войска захватили, как до перемирия 1559 года, так и после в кампаниях 1560—1561 годов (Мариенбург, Феллин), Москве предлагалось передать более законным владельцам. Однако такого рода требования предъявлялись Грозному не круто и не прямо, так как за ливонские земли схватились сразу все претенденты и все сразу же перессорились независимо от Москвы. Дании предстояла немедленная борьба со Швецией за Эстляндию, и обе эти державы не могли одновременно считаться еще и с Москвой. Поэтому Дания предложила Грозному любовный раздел в пределах Ливонии, и Грозный пошел на эту сделку в такой форме, что датские послы били ему челом от его приятеля Фредерика, короля датского и норвежского, о том, чтобы ему, Ивану, отписать к Датскому королевству его долю «в моей великого государя Ивана, Божией милостию царя всея Руси, в отчине, в Ливонской земле»; и царь датского короля «для его челобитья и прошения» пожаловал, его долю ему отписал. Это было в 1562 году, а восемь лет спустя между Данией и Грозным состоялось новое соглашение, по которому обе стороны, признавая верховные права на Ливонию за Грозным, передавали эту страну целиком, с городами, «которые ныне за литовским и за Свейским» (государями) — в обладание датскому «королевичу», герцогу Магнусу. Грозный «учинял его на своей отчине, на Лифлянской земле королем» и писал: «и коруну ему дадим от своей руки царского величества и быти ему нам под-



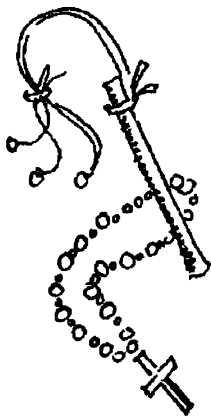
данным голдовником». Такого рода компромиссами устранялась опасность войны за спорные города и земли между Москвой и Данией, но не достигалось внутреннее согласие. Обе стороны вели свою особую политику и не столкнулись в конце концов лишь потому, что военное счастье отвернулось от них и перешло на сторону их врагов — Швеции и Речи Посполитой. Равным образом Швеция не сразу вступила в открытую борьбу с Москвой. Она находилась накануне своей «семилетней» (1563—1570) войны с Данией, предметом которой между прочим было и обладание Эстляндией. Поэтому шведам нельзя было дробить сил, и, занимая своими войсками подавшийся им Ревель, они в то же время вели мирные, хотя и не особенно благожелательные переговоры с Москвой. В 1561 году между Москвой и Швецией был даже подтвержден мирный договор прежних лет по случаю вступления на престол нового шведского короля Эриха XIV «потому ж, как прежде сего с отцом его было перемирие». Зато король польский Сигизмунд-Август немедля после того, как заключил договор о протекторате с властями Ливонии (1559), предъявил Грозному требования о прекращении войны в Ливонии (в январе и августе 1560 года), поставив сроком для этого прекращения 1 апреля 1561 года. В то же время королевские отряды появились на театре войны, и литовский гетман Ходкевич понес первое поражение от Курбского. Так для Москвы война Ливонская перешла в войну с королем или «с литвою».

Грозный бодро встретил это тяжелое политическое осложнение. Он не оставил Ливонии и в то же время перенес войну в пределы Литовского великого княжества. В начале 1563 года ему удалось нанести врагу чувствительный удар. Большое московское войско осадило и взяло Полоцк, а передовые его отряды явились пред Вильной. Падение Полоцка произвело огромное впечатление в Речи Посполитой: несмотря на большую победу, одержанную гетманом Н. Радзивиллом над московской ратью в 1564 году, Литва хотела мира. Она шла даже на то, чтобы добыть длительное перемирие ценой уступки Москве занятых ею частей литовской территории. Возможность приобрести таким образом Полоцк соблазняла Грозного. Но сам он не решил дела, а созвал 28 июня — 2 июля 1566 года Земский собор — представительное собрание высшего духовенства, боярства, служилых людей, «гостей и купцов и всех торговых людей»

(то есть представителей торгово-промышленного класса). Собор отклонил перемирие на предложенных условиях и высказался за продолжение войны в надежде на дальнейшие воинские успехи. Война и продолжалась, но вяло; военные действия шли с переменным счастьем и чередовались с попытками мирных переговоров. В 1570 году было, наконец, заключено перемирие на основании *uti possidetis* (кто чем владел в данное время); срок перемирия был условлен трехлетний.

Однако война с Речью Посполитой возобновилась не через три года, а только через семь лет — в 1577 году. Промежуток времени с 1570 до 1577 года был полон очень важными для Москвы и для самого Грозного событиями. Во-первых, встала серьезная опасность со стороны Турции и Крыма; во-вторых, произошел разрыв со Швецией, и в-третьих, возник было вопрос об унии Москвы с Литвой (и даже Польшей) путем избрания Грозного на литовский и польский престол по смерти короля Сигизмунда-Августа, но разрешился полной неудачей московской кандидатуры. Сложность политических событий в эти годы была чрезвычайной, и увеличивалась она еще тем тяжелым внутренним процессом, который обнаружился внутри Московского государства и расшатывал его внешнюю мощь.

Турки и татары начали действовать против Москвы еще в 1569 году. Весной этого года султан Селим послал на Астрахань значительные силы турецкие, ногайские и крымские. Они должны были из Азова Доном дойти до «переволоки» на Волгу и Волгой спуститься к Астрахани. Условия климата и местности не позволили исполнить этот план. До низовий Волги добрался только авангард, и тот быстро отступил назад из боязни зимовки в степи в виду русских сил. Зато в 1571 году крымскому хану удался набег на Москву. Грозный стерег свою южную границу все лето 1570 года и не дождался хана; а год спустя хану московские изменники указали такой обходный путь, который позволил ему беспрепятственно дойти до самой Москвы и сжечь ее. Уцелел один Кремль; все прочие части города погибли в огне. Сам Грозный спасся бегством от татарского набега в Ростов и не присутствовал при попытках бояр отбить врага от Москвы. На следующий 1572 год крымцы хотели повторить нападение на Москву, но были вблизи от Москвы разбиты князем М. И. Во-



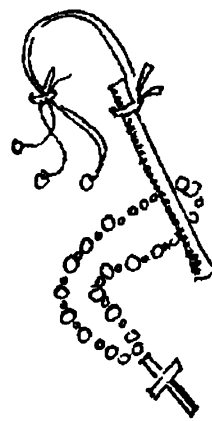
ротынский и обращены в бегство. Этим пока и была исчерпана их энергия.

В те же годы совершилось признание герцога Магнуса ливонским «королем» и произошел разрыв Грозного со Швецией. Поддержанный Москвой Магнус начал осаду Ревеля, а московское правительство стало в явно враждебные отношения к шведам в расчете на успех своего «голдовника». Когда же Магнус отступил от Ревеля ни с чем, Грозный сам начал поход в Эстляндию (1572—1573). Русские взяли несколько укрепленных замков, но в общем не имели большого успеха. Дело тянулось вяло целые годы, и шведы были не прочь заключить мир. «А мы не можем себе разумети, — писал шведский король Юхан Грозному, — за что вы с нами воюетесь». Если дело идет только о Ревеле, то шведы готовы предоставить его императору как верховному государю, «и вы тогда у цесаря о Колывани (то есть Ревеле) промышляйте». Но Грозный хотел промышлять не только о Ревеле. В 1575 году он захватил Пернов и Гапсаль, имея в виду всю Эстляндию, а позднее, в 1577 году, думал уже и о Лифляндии, где впервые его войска столкнулись с войсками короля Стефана Батория, поддержавшими шведов. Этим начался последний период Ливонской войны, приведший Грозного к полному поражению.

Во время перемирия Москвы с Речью Посполитой, заключенного в 1570 году, умер в июле 1572 года последний Ягеллон король Сигизмунд-Август, и Речь Посполитая обратилась в избирательную монархию. В числе кандидатов на ее престол оказался и Грозный, за которого высказывались литовские паны и часть польской шляхты. Однако же кандидатура Грозного скоро пала оттого, что царь составил условия, очень удобные для него, но неприемлемые для поляков, в особенности же для католиков. Это объяснялось тем, что Грозный вряд ли серьезно думал стать избранным и ограниченным монархом в иноверной стране. Как известно, на элекционном поле под Варшавой в 1573 году уже не произносилось имени царя московского, а избран был Генрих Валуа принц Анжуйский. Когда же он, после краткого визита в Польшу, бежал из нее на родину и началось снова бескорольевье, кандидатура Грозного не получила большей силы. Королем был избран трансильванский (седмиградский) владетельный князь Стефан Баторий.

Венгерец родом, питомец Падуанского университета, побывавший и в Германии, Баторий совмещал природный ум и талантливость с большим образованием и широким житейским опытом. Эти качества помогли ему приобрести авторитет в Речи Посполитой и дали возможность сосредоточить в своем распоряжении достаточные силы и средства для борьбы с Москвой. Весной 1576 года стал он королем и первое время всецело занимался укреплением своего положения внутри государства, но затем с необычной энергией устремился на борьбу с Грозным. В 1577 году его войска действуют в Лифляндии; 1578 год проходит в подготовке большого похода и в переговорах с Москвой о перемирии. Москва была согласна на трехлетнее перемирие, но Баторий уже приготовился к войне и не пожелал воспользоваться согласием Москвы. В 1579 году летом, когда Грозный с большим войском приступил к действиям против шведов, Баторий нападает на Полоцк и берет его. В 1580 году он направляется на Великие Луки и берет этот важный в стратегическом отношении город. Обладание Полоцком и Великими Луками ставит Батория на путях между Москвой и Лифляндией «в предсердии Московского государства», откуда открыт выход на волжские верховья и в московский центр. Однако король не стремится к Москве: следующий удар он в 1581 году, летом, направляет на Псков, предварительно взяв по дороге Остров. Но здесь и кончаются успехи Батория. Он вернул себе литовскую территорию, бывшую в обладании Грозного; он отрезал Грозного от Лифляндии и подчинил ее Польше. Он, словом, лишил Москву всех плодов ее побед; но на московской земле ему было мало удачи. Псков отразил все приступы Батория, и король под Псковом вынужден был остаться на зиму. Это склонило Батория на переговоры о мире. И Грозный желал мира «по конечной неволе, смотря по нынешнему времени, что Литовский король со многими землями и Шведский король стоят заодно». В Москве поняли, что дело проиграно, потому что оба врага перешли в наступление (шведы в эти годы взяли Гапсаль, Нарву и весь берег моря до Невы и города Корелы); внутренние же силы для борьбы Москва быстро теряла.

Переговоры о мире с Баторием начались в конце 1581 года в Запольском Яме (близ Порхова) и привели к десятилетнему перемирию, заключенному на условии передачи Баторию всей



Лифляндии и всех городов, завоеванных Москвой у Литвы. Посредником при заключении мирного договора был папский «посланник», «римской веры поп», иезуит Антоний Поссевино, имя которого помянуто было даже в подлинных мирных грамотах как имя официального представителя папы. Немногим позднее, в июле 1582 года, Баторию удалось вынудить у побежденной Москвы обязательство не посылать войск в Эстляндию и «не добывать» тех городов, московских и ливонских, которые были захвачены шведами, во все перемирные десять лет. Это означало фактическое прекращение войны со шведами, иначе — капитуляцию; она и была оформлена договором со шведами в августе 1583 года. Этот договор установил перемирие на три года на основании *uti possidetis*.

3

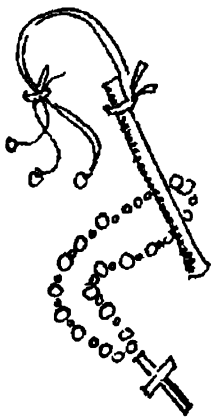
Итак из долгой борьбы за балтийский берег Москва вышла побежденной и ослабленной. В нашем изложении хода военных действий не раз упоминалось о том, что боевые неудачи Грозного сопрягались с тяжелым внутренним процессом московской жизни, который подтачивал — и притом очень быстро — экономические силы и боеспособность страны. В конце правления Грозного Московское государство было уже не таково, как в начале Ливонской войны. Первые походы Грозного на Ливонию, поход его на Полоцк поражали современников количеством ратных сил. Идя к Полоцку, московские войска «позатерлись» по дорогам от своего многолюдства, и царю потребовались особые усилия для того, чтобы восстановить походный порядок в воинских массах. Когда же Баторий наносил свои удары Полоцку, Великим Лукам, Озерищу, Пскову, — у Грозного не было, чем выручать крепости и что вывести в поле против вражеской рати. По выражению Курбского, Грозный со всем своим воинством забился за леса «яко един хороняка и бегун», трепетал и убегал, хотя никто за ним не гнался. Действительно, против Батория Москва не высылала полевых армий, а встречала его одними гарнизонами, сам же Грозный лишь издали со своим «двором» наблюдал за действиями врага. В последние годы войны были заметны признаки явного истощения средств для борьбы. Уже в начале 1580 года Грозный прибегает к ис-

ключительным мерам в отношении вотчинных прав и льгот духовенства и ограничивает их, потому что от роста церковного землевладения «воинскому чину оскудение приходит велие». Ниже увидим и другие признаки экономического кризиса, постигшего Московское государство. В сущности Баторий бил уже лежащего врага, не им повергнутого, но до борьбы с ним утратившего свои силы.

Внутреннее расстройство московской жизни, кроме случайных физических бедствий того времени, имело двойные причины. Одни заключались в так называемой опричнине Грозного и ее следствиях, другие — в том стихийном явлении, что трудовая масса московского населения пришла в движение и, покидая старую оседлость, стала рассеиваться по направлению от центра к окраинам государства. Обе категории причин были во взаимной связи, действовали одновременно и в короткое время привели Московское государство к внутренней катастрофе.

К изложению этого сложного процесса мы теперь и обратимся.

Смысл опричнины совершенно разъяснен научными исследованиями последних десятилетий. Современники Грозного ее не понимали, потому что правительство не давало народу объяснений по поводу тех мер, какие принимало; самые же меры представлялись очень странными. Смирный дьяк Иван Тимофеев, «книгоочец и летописных книг писец», представляет в своем «временнике» дело так, что царь возненавидел «грады земли своя» и во гневе разделил их и «яко двоеверны сотворил». Другой современник выразился крепче, сказав, что по разделении государства царь одну его часть взял себе, другую дал великому князю Симеону Бекбулатовичу и заповедал своей части «оную часть людей насилovati и смерти предавати». Итак, видно было только разделение государства и насилие над одной частью его, «земщиною», другой его части — «опричнины». Зачем это делалось, не понимали и думали, что царь просто «играл божиими людьми». Действительно было странно делать над своими мирными подданными то, что сделал Грозный. Недовольный окружавшей его знатью, он применил к ней ту меру, какую Москва применяла к своим врагам, именно — «вывод». И отец, и дед Грозного, следуя старому обычаю, при покорении Новгорода, Пскова, Рязани, Вятки и иных мест выводили оттуда опас-



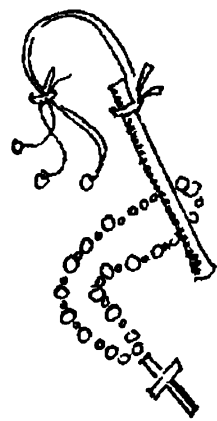
ные для Москвы руководящие слои населения во внутренние московские области, а в завоеванный край посылали поселенцев из коренных московских мест. Это был испытанный прием ассимиляции, которым московский государственный организм усваивал себе чуждые общественные элементы. В особенности крут и ясен был этот прием в Великом Новгороде и на Вятке; при самом Иване Грозном в несколько лет Казань была превращена в русский город, из которого татары все были выведены в «татарскую слободу». Лишаемый местной руководящей среды, завоеванный край немедля получал такую же среду из Москвы и начинал вместе с ней тяготеть к общему центру Москве. То, что так хорошо удавалось с врагом внешним, Грозный задумал испытать с врагом внутренним, то есть с теми людьми, которые ему представлялись враждебными и опасными. Он решил вывести с удельных наследственных земель их владельцев княжат и поселить их в отдаленных от прежней оседлости местах, там где не было удельных воспоминаний и удобных для оппозиции условий; на место же выселенной знати он сажал служебную мелкоту, детей боярских, на мелкопоместных участках, образованных на пространстве старых больших вотчин.

Исполнение этого плана Грозный обставил такими подробностями, которые возбуждали недоумение современников, ибо не вытекали из сути дела. Он начал с того, что в декабре 1564 года безвестно покинул Москву и только в январе 1565 года дал о себе весть из Александровской слободы. Он грозил оставить совсем свое царство из-за боярской измены и остался во власти, по усердному молению москвичей, только под условием, что ему не будут перечить на изменников «опала своя класти, а иных казнити, и животы их и статки (имущество) имати, а учинити ему на своем государстве себе опричнину: двор ему себе и на весь свой обиход учинити особой». Таким образом, борьба с «изменою» была целью; опричнина же являлась средством. Новый «особный двор» Грозного состоял из бояр и детей боярских — новой «тысячи голов», которую отобрали так же, как в 1550 году отобрали тысячу лучших дворян для службы в столице. Первой тысяче дали тогда подмосковные поместья; второй — Грозный дает поместья в уездах тех городов, «которые города поимал в опричнину»; это и были опричники, предназначенные сменить опальных княжат на их удельных землях. Для содержа-

ния нового двора царь с самого начала отобрал некоторое число дворцовых сел и волостей, приписал к новому двору некоторые улицы и слободы в самой Москве, взял «в опричнину» более десятка городов с их уездами и перевел из государственных касс в свое ведение доходы с волостей и городов, выбрав для того крупные и доходные торговые центры.

Первоначальное ведомство нового «особного двора», образованное в 1565 году, непрерывно росло до самого конца царствования Грозного. Царь последовательно включал в опричнину, одну за другой, внутренние области государства, производил в них пересмотр землевладения и учет землевладельцев, удалял на окраины или попросту истреблял людей, ему неугодных, и взамен их поселял людей надежных. Изгнанию подвергались не только знатные потомки удельных князей, но и простые служилые люди и вся вообще дворня и служня, окружавшая подозрительных для Грозного господ. Эта операция пересмотра и вывода землевладельцев получила характер массовой мобилизации служилого землевладения с явную тенденцией к тому, чтобы заменить крупное вотчинное (наследственное) землевладение мелким поместным (условным) землепользованием. С развитием дела опричнина получила огромные размеры. Она охватила добрую половину государства, все его центральные и северные области, и оставила в старом порядке управления, «в земском», только окраинные уезды. В «опришнинской» половине государства было свое правительство, своя администрация, своя казна, — словом, весь правительственный механизм, работавший параллельно и равноправно с органами «земского» управления. Государство действительно оказалось поделенным на две части, и в 1575 году Грозный как бы оформил это разделение: он сделал «великим князем всея Руси» крещеного татарского «царя» (то есть хана) Симеона Бекбулатовича и подчинил ему «земское» или «земщину», а сам стал звать себя «князем московским» и просил у «великого князя» разрешения «людишек перебрать, бояр и дворян и детей боярских и дворовых людишек». На это время — правда, короткое (1575—1576), — царский титул как будто исчез совсем, и опричнина именовалась «двором» московского князя, а «земское» стало «великим княжением всея Руси».

Прямой смысл того, что делал Грозный, ясен; но совершенно не ясно, что подвигло его на учреждение «особного двора»,

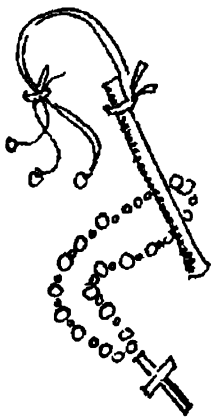


пересмотр земель, изгнание знати и, наконец, те зверские казни, которыми сопровождалась деятельность опричнины. Мы видели, что в детстве Грозного при московском дворе не было борьбы боярских партий, не существовало оппозиционной среды бояр или княжат. Вражда нескольких княжеских семей, омрачившая детство Грозного, была просто хроническим несогласием членов регентства, которому Василий III вверил опеку над малолетним Иваном. Маленький великий князь не видел вокруг себя политической борьбы и не знал никакой сословной или кружковой оппозиции. Никакая среда не стремилась воспользоваться слабостью верховной власти и захватить в свои руки правление государством или получить влияние на дела. Из своего детства Грозный никак не мог вынести сознания того, что его самодержавие в опасности. Такое сознание могло родиться у него только во время его близости с Сильвестром и «радой». Мы видели, что состав «рады», как надо предполагать, был княжеский, тенденция, по-видимому, тоже княжеская. Сила влияния «попа» и его «собацкого собрания» в первые годы их действия была очень велика. Советники подавляли личную волю Ивана и властно руководили им, увлекая его за собой идеей общего блага, стремлением к народной пользе и государственному благоустройству. Грозный послушно шел за своими руководителями, пока верил в них самих, как верил в их идеалы. Когда же в дни своей тяжелой болезни он неожиданно увидел их против себя и против царицыной родни, он перестал им доверять и уразумел, что они преследуют свои цели, ведут свою политику, не ценят его лично и не любят его семью. Из любимых и верных слуг они для него превратились в своекорыстных и неискренних соправителей, лукаво отнявших у него полноту его власти, разделивших с ним его державный авторитет. Так как весь механизм управления был в их руках (для царя, по его словам, «вся не по своей воли бяху, но по их хотению»), то Грозный их боялся, как боялся и любезного им князя Владимира Андреевича. Ему казалось, что, отняв на деле «от прародителей данную ему власть», они могут попытаться отнять ее и формально, воцарив Владимира вместо него, Ивана. Впервые и очень остро Грозный почувствовал около себя опасность оппозиции и, разумеется, понял, что это оппозиция классовая, княжеская, руководимая политическими воспоминаниями и инстинктами

княжат, «восхотевших своим изменным обычаем» стать удельными «владыками» рядом с московским государем.

Именно в этой обстановке надлежит искать происхождение опричнины. Не отваживаясь сразу разогнать «раду», царь терпел ее около себя, но внутренне отдалился от нее; и члены «рады» понимали, что прежние отношения порвались. Наиболее чуткие тотчас же пожелали уйти в Литву от создавшейся обстановки царского недоверия и вражды с царицой родней. Так поступили ростовские князья и, конечно, только углубили этим происшедший разрыв. В общем, однако, дело тянулось до начала Ливонской войны, когда, наконец, царь показал явно свою независимость от «рады». В первые же годы войны и, быть может, под влиянием достигнутых успехов, Грозный окончательно освободил себя от общения с «попом» и А. Адашевым. Оба они были удалены из Москвы — первый в монастырь, а второй на театр войны. Попытки друзей заступиться за них и вернуть их были отклонены и раздражили Грозного. Последовали опалы на заступников, не остановившие, однако, новых попыток вернуть прежних любимцев. В воспоминаниях Грозного дело имело такой вид, что он, освободившись от Сильвестра и Адашева, думал сначала легко покончить с «радой»; но приятели удаленных упорно держались за свои позиции, мечтали о возвращении ко власти и вообще обнаружили «разум непреклонен» к тому, чтобы на царя «лютейшее составить умышление». Тогда Грозный вышел из душевного равновесия. Дело осложнилось тем, что в это время скончалась (7 августа 1560 года) жена Грозного царица Анастасия, долго, с ноября 1559 года, болевшая. Царь связал ее кончину с той «ненавистью зельною», какую, по его мнению, питали к царице Сильвестр и Адашев, и поставил свою горестную утрату как бы в вину всей «раде». Разрыв с «радой» получил характер острого и бурного столкновения. Первые попытки вернуть опальных Грозный отвел сравнительно милостиво: «исперва убо казнию конечною ни единому коснухомся», — писал он. А дальше «повинные по своей вине таков (какова вина) суд прияли», то есть последовали казни; так, были без суда казнены родственники А. Адашева (сам же он умер в Дерпте в начале 1561 года).

Первые казни открыли собой новый период в развитии московских осложнений. По-видимому, они вызвали общее воз-

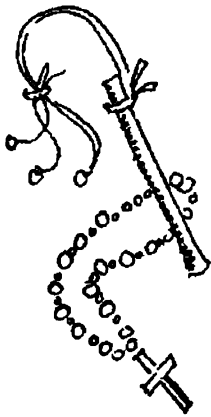


мушение боярских кругов, которое выразилось в наклонности к отъездам в Литву. На недовольство бояр царь отвечал новыми репрессиями: были отправлены в ссылку, в монастырь на север, князь Дм. Курлятев и князь Мих. Воротынский с семьями. С некоторых бояр были взяты обязательства не отъезжать из Москвы и для них требовались поручители с ответственностью в случае нарушения данного обязательства. Отношения в Москве обострились не только по причинам политического порядка, но и потому, что по смерти жены и по удалении «попа» Грозный вспомнил обычаи своей юности и распустился, впал в пьянство и разврат. Все в целом поведение Грозного возбуждало против него не одну «раду», но и всех тех, кто дорожил добрыми нравами и истовым «чином» дворцовой жизни. О том, как обличали Грозного за его грехи старые вельможи, ходили по Москве любопытные рассказы: князь Мих. Репнин был будто бы по царскому приказу убит за то, что сурово осудил шутовской маскарад во время дворцовой оргии.

К сожалению, сохранилось очень мало точных и конкретных известий об этих годах (1559—1564), составивших промежуток между эпохой «избранной рады» и временем возникновения опричнины. Но несомненно, что с удалением «рады» и со вдовством Грозного между Грозным и высшим кругом московской знати легла пропасть. По одну ее сторону находился царь со своими новыми приближенными, взятыми из дворцовой среды весьма среднего разбора. Среди них было лишь одно лицо с княжеским титулом (князь Афанасий Вяземский) и лишь одна семья достаточно великородная (Басмановых-Плещеевых). По другую сторону стояла вся векородная знать, как близкая к «избранной раде», так и далекая от нее. Вместе с другом Сильвестра князем Курлятевым здесь против царя стояли и его опале подвергались далекие от «рады» и ей даже враждебные — младший дядя царя князь Василий Михайлович Глинский и старший из Бельских князь Иван Дмитрич, принадлежавший к семье опекунов Грозного, когда-то устраненных «избранной радой». Неискусно и грубо проведенный разрыв с «избранной радой», таким образом, превратился в глухую вражду с широкими кругами знати. Со стороны последней не было заметно ничего похожего на политическую оппозицию; ясно было только моральное осуждение царя и страх перед ним, перед его способностью к быстрым

опалам и даже «казням конечным», какие постигли семью Адашевых. Но со стороны Грозного недовольство бояр получило неожиданную оценку. Он всех недовольных объединил в одно целое с «избранной радой», а так как «раде» он приписывал желание снять с него всю власть, то это же желание он заподозрил и у боярства вообще, а в особенности, разумеется, у княжат. Такого рода подозрениями исполнено все его обширное письмо к Курбскому: в нем он готов обвинить в умалении царской власти одинаково и своих опекунов, старых бояр его отца, и своих друзей, сотрудников Сильвестра и Адашева, и отдельных бояр, почему-либо случайно навлекших на себя его гнев.

Таково было настроение Грозного в те дни, когда с театра военных действий, из Дерпта, 30 апреля 1564 года убежал в Литву участник «избранной рады», недавний любимец Грозного князь Андрей Михайлович Курбский. Мало того что изменил царю его ближний советник, он еще из-за рубежа прислал Грозному укоризненное письмо с ядовитыми упреками и тяжкими обвинениями. На царя это произвело сильнейшее впечатление: с ним заговорили такой речью, какой он еще не слыхивал в Москве, и бросили ему в лицо такие мысли и чувства, какие он мог у многих предполагать. Курбский писал ему за всех гонимых: «Не помышляй нас суемудренными мыслями, аки уже погибших, избиенных от тебя неповинно и заточенных и прогнанных без правды! Избиенные тобою, у престола Господня стояще, отомщение на тя просят; заточенные же и прогнанные от тебя без правды — от земли ко Богу вопием день и ночь!» Побег и письмо Курбского были последним ударом по нервам Грозного. Раздражение царя толкнуло его на то мероприятие, какое мы зовем опричниной. В уме Грозного всему злу заводчиками были «изменные владыки», княжата, устроители «рады», а виновными в безначалии и оппозиции все вообще бояре, сочувствующие княжатам. Гнев государя должен был упасть на всякого повинного в противословии и противомыслии царю. Но княжата должны были понести особо тяжкое наказание. Грозный решил уничтожить самое основание их притязаний на общественное и политическое первенство в стране. Этим основанием было наследственное льготное землевладение в тех уделах, где предки княжат когда-то были государями. Старые «княженецкие» вотчины с пережитками удельного быта, с по-



литическими воспоминаниями питали в княжатах мысль о возможности соправительства с московским государем «всея Руси», который был одного с ними рода и даже не старшего в нем, «колена». Грозный решился свести княжат с их вотчин на новые места, разорвать их связи с местными обществами и таким образом подорвать их материальное благосостояние и, главное, разрушить тот устой, на который опирались их политические претензии и было построено социальное первенство.

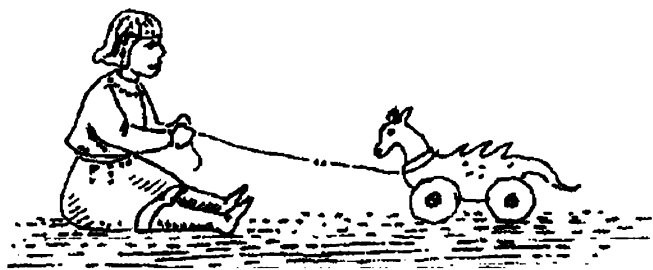
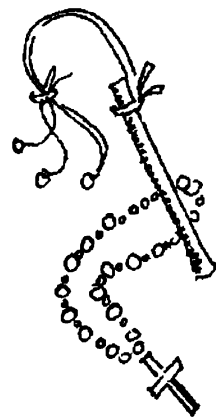
4

Грозный устроил себе в опричнине «двор особый», надо полагать, для того, чтобы освободить себя от тех житейских связей родства и свойства, которые сильны были в старом дворце. Поселясь в новых дворцах (то на «Орбате» в Москве, то в Александровской слободе), царь окружил себя новыми слугами и угодными ему боярами и с помощью новой «тысячи голов» опричников стал приводить в дело свою затею. Уезд за уездом брал он в опричнину и «перебирал людишек». Прежде всего уничтожались или выводились на окраины государства крупные землевладельцы, княжата и бояре; дворня их или следовала за господином, или же распускалась и должна была искать новых господ; крупная вотчина делилась на мелкие доли, которые шли в поместье детям боярским опричникам. За крупными землевладельцами приходил черед и мелким: их тоже выводили на новые места, лишая старых вотчин и поместий, а вместо них сажали новых людей, более надежных с точки зрения опричнины. При этом держались правила — старых владельцев посылать на окраины, где они могли бы быть полезны в целях обороны государства. Самый яркий пример такого поселения на границах представляет собой массовый вывод в 1571 году служилых людей из двух новгородских пятин, взятых в опричнину, на литовскую границу, в Себеж, Озерище и Усвят, где они должны были заново поднять хозяйственную культуру и стеречь рубежи против врага.

Перебор «людишек» в опричнине сопровождался гонениями на всех тех, кто навлек на себя государеву опалу, и простыми насилиями опричников над теми, кого безнаказанно можно было обидеть. Вся операция пересмотра и перемены

землевладельцев в глазах населения носила характер бедствия и политического террора. Государь не просто производил эту перемену, а свирепствовал над теми, кого подозревал в «измене» (или, говоря недавним языком, в неблагонадежности). С необыкновенной жестокостью он без всякого следствия и суда казнил и мучил неугодных ему людей, ссылал их семьи, разорял их хозяйства. Его опричники не стеснялись «за посмеих» убивать беззащитных людей, грабить и насиловать их. Утратив прежнее настроение, внушенное ему «радой», Грозный морально опустил, погряз в оргиях и разврате, окружил себя предосудительными людьми и разрешал им все, чего искала их распущенность. Но в то же время царь сохранил в себе плоды делового воспитания, какое было дано ему в период его первых реформ, и вполне владел правительственной техникой. Он вел свое дело в опричнине уверенно и твердо, напролом шел к цели и достиг ее. Землевладение княжат было сокрушено; их среда была сорвана со старых гнезд и развеяна по всему государству; виднейшие из них были истреблены; их правительственное первенство было уничтожено. В Боярской думе и во дворце первые места стали принадлежать знати новой формации — государевым любимцам и родне царских жен, а князья Рюриковичи и Гедеминовичи держались в этой среде лишь постольку, поскольку умели привлечь милость государеву готовностью служить в новом «опришнинском» порядке.

В последние годы своей жизни Грозный мог торжествовать победу над внутренним врагом. Над царем не было тех «повелителей и приставников», которые тяготили его в юности. Он, по его собственному выражению, следовал апостольскому велению: «одних миловал, рассуждающе, других же страхом спасал» и на деле стал в конце концов «самодержцем», ибо «сам строил» свое царство. Но можно думать, что он уразумел и ту ошибку, в какую впал при учреждении опричнины. Нельзя было сомневаться в том, что он выбрал для достижения своей цели несоответствующее ей средство. Цель опричнины — ослабление знати — могла бы быть достигнута менее сложным способом. Тот же способ, какой был Грозным применен, хотя и оказался действительным, однако повлек за собой не одно уничтожение знати, но и ряд иных последствий, каких Грозный вряд ли желал и ожидал.

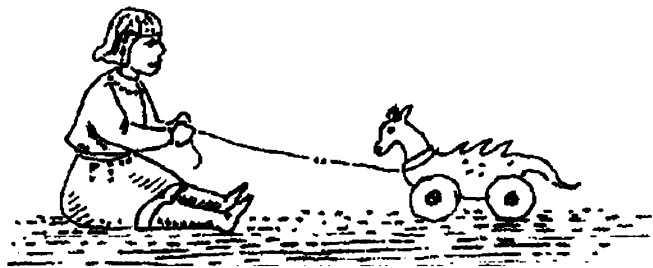
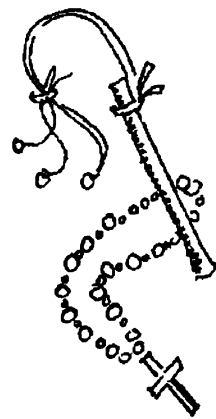


Во-первых, пересмотр княженицкого землевладения превратился в опричнине в общую земельную мобилизацию, принудительную, тревожную и потому беспорядочную. Массовая конфискация вотчин, массовое передвижение служилых землевладельцев, секуляризация церковных земель и обращение в частное владение земель дворцовых и черных для нужд опричнины, — все это явилось бурным переворотом в области земельных отношений, вызывало неудовольствие и страх в населении. Вместе с гибелью крупных хозяйств гонимой знати, к чему стремился Грозный, гибли хозяйства и тех простых малоземельных служилых людей, которых передвигали с земель на земли по соображениям политического порядка, очищая их места для опричников. Сколько насилий и обид, разорений и потерь связано было с этим передвижением! На старой земле разрушалось устроенное хозяйство служилого человека, а на новой оседлости, чаще всего на окраине, трудно было ему обжиться и устроиться на пустошах без крестьян, без инвентаря и без денег, которых он обычно не имел. Меньшая братия, люди зависимые от служилых господ, страдали не менее их. По давнему московскому обычаю, при опале конфисковали не только имущество опального человека, но и его документы — «грамоты и крепости». Действие этих крепостей прекращалось, и крепостные люди, «опальных бояр слуги», получали волю, иногда с запрещением поступать в какой-либо иной двор. Осужденные на свободное, но голодное существование, они являлись опасным для порядка бродячим элементом. Равным образом рабочее и крестьянское население мобилизуемых земель терпело от перемен, даже если не делалось жертвой грабежа и насилий от опричников. В крупных богатых вотчинах оно было устроено в общины со своими выборными, ведавшими его податные и иные дела. При раздроблении этих вотчин на мелкие поместные участки община гибла, и крестьяне отдельными дворами расходились по рукам помещиков, попадая в худшие для них условия крепостной зависимости. За богатым и льготным владельцем и крестьяне пользовались преимуществами его иммунитета; за бедным и рядовым помещиком они «тянули тягло» безо всяких льгот. Поэтому переход к новому владельцу был для крестьян бедствием, побуждавшим их сниматься с места и искать «новых землиц». Таким образом,

все слои населения, попадавшие под действие опричнины, терпели в хозяйственном отношении и проводились — вольно или невольно — из оседлого состояния в подвижное, чтобы не сказать — бродячее. Достигнутое государством состояние устойчивости населения было утрачено, и в данном случае по вине самого правительства.

Во-вторых, пересмотр владельческих прав княжат и боярства и перевод опальных людей на новые земли могли бы происходить с тем же спокойствием, с каким, например, позднее, при царе Феодоре Ивановиче в 1593—1594 годах, происходил пересмотр владельческих прав монастырей, а иногда и конфискация монастырских земель. Но Грозный считал нужным соединить эту операцию с политическим террором, казнями и опалами отдельных лиц и целых семей, с погромами княжеских хозяйств и целых уездов и городов. С развитием опричнины государство вступило в условия внутренней войны, для которой, однако, не было причины. Царь преследовал своих врагов, которые с ним не сражались. Нет никакого желания приводить подробности гонений и казней, описанных современниками не один раз с потрясающими подробностями. Н. М. Карамзин насчитал «шесть эпох казней» за время с 1560 по 1577 год; но правильное поступили последующие исследователи, считая все это время одной сплошной эпохой душегубства. Не довольствуясь уничтожением одной знати, Грозный простирал свой гнев на людей всех состояний и губил их массами.

Существует краткая летописная запись, например, о том, что в 1574 году «казнил царь на Москве, у Пречистой на площади, в Кремле, многих бояр, архимандрита Чудовского (Евфимия), протопопа и всяких людей много». В 1570 году царь ходил походом на Новгород. Из Александровской слободы снялся он в декабре предшествовавшего года и по дороге громил города (Клин, Тверь). В Новгороде провел он несколько недель, истязая и убивая людей сотнями, даже тысячами. Если не принимать баснословной цифры погибших 60 тысяч, сообщаемой летописью, то неизбежно следует принять показание царского «синодика» (поминания), что в Новгороде было «отделано» (то есть убито) 1505 человек. Современники с ужасом вспоминали царское посещение и говорили, что от него «бысть великому Новуграду запустение» и что «от сего мнози людие поидоша в нищем образе скитаяся по



чужим странам»*. Пострадали при этом и окрестности Новгорода, пострадал слегка и Псков, в котором не было казней, а был только грабеж. Не ограничиваясь преследованием бояр и простонародья, Грозный легко и охотно истреблял духовенство; даже сослал и велел убить митрополита Московского, главу народной церкви, Филиппа, которого сам же вынудил согласиться стать митрополитом. Погиб и тот князь Владимир Андреевич Старицкий, кого «избранная рада» прочила в преемники Грозного.

Результатом этого безумного и вовсе не нужного террора было полное расстройство внутренних отношений в стране. Загнанная, но не совсем истребленная знать вместе с чувством страха питала острую ненависть к «издавна кровопийственному роду» московских государей и заранее предвкушала его скорый конец. В исходе 1579 года Курбский, торжествуя победы Батория, в своем письме предсказывал Грозному словами псалма, что «не пребудет долго пред Богом, которые созидают престол беззакония» и что «кровьми христианскими оплывающие исчезнут вскоре со всем домом». Расстроенное оргиями здоровье Грозного и отсутствие у него внучат могло дать Курбскому мысль, что «кровопийственный род» вымирает. Эта же надежда на скорый конец тирана могла быть утешением и других гонимых, в лице которых московская династия имела жестоких врагов. И эта надежда сбылась. Не прошло и четверти века по смерти Грозного, как представители гонимых княжат овладели московским престолом в лице князей Шуйских и по-своему расправились с Годуновыми и Романовыми, которые тогда представляли собою родню и свойство вымершей семьи Грозного. Не меньшее ожесточение, чем в боярстве, было и в других слоях населения. Опричнина и террор были всем ненавистны, кроме разве тех, кто с ними связал свой житейский успех. Они поставили все население против жестокой власти и в то же время внесли рознь и в среду самого общества. По меткому замечанию англичанина Дж. Флетчера, бывшего в Москве вскоре по смерти Грозного, низкая политика и варварские поступки Грозного так потрясли все государство

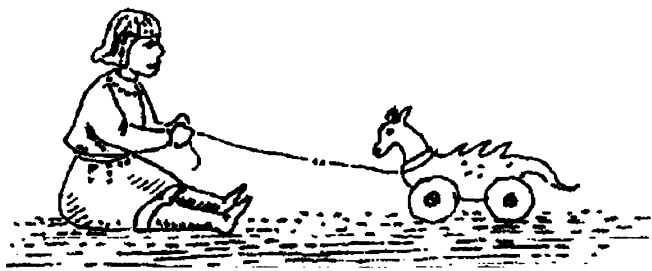
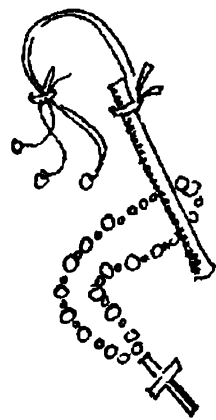
* Мнение, что Грозный из 6000 жилых дворов в Новгороде запустошил 5000, теперь оставлено. Новгород быстро пустел под влиянием Ливонской войны; но несомненно, что погром 1570 года повлек за собой массу жертв и ускорил обнищание края.

и до того возбудили всеобщий ропот и непримиримую ненависть, что, по-видимому, это должно было окончиться не иначе как всеобщим восстанием. Сделанное до смуты, это замечание вполне было оправдано последующими московскими событиями.

5

Разброд московского населения был замечен правительством приблизительно около 1570 года, но начался, конечно, раньше. Можно думать, что его первые проявления были вызваны, во-первых, усиленной работой власти над упорядочением поместной системы и, во-вторых, завоеванием Казани. И то, и другое относится к 50-м годам XVI века. Изменения норм поместной службы и помещение целой тысячи служилых людей в поместьях под Москвой, общее описание служилых и тяглых земель в целях лучшего учета служб и платежей — все это вело к усилению государственных тягот населения и могло побуждать к выселению на новые, более льготные места. Именно таковы были места в завоеванном Поволжье. Богатая почва, обилие воды и леса, непочатый простор для селитьбы, пахоты и промысла манили туда поселенцев. Правительство, нуждаясь в гарнизонах для новых только что основанных городов, само звало на Низ «верховых сходцев» с Оки и Верхней Волги. Оно раздавало там земли служилым людям и духовенству для усиления русской стихии в крае, и землевладельцы вели за собой на новые хозяйства рабочую силу из старого великорусского центра. Кроме того стала доступна дорога с Оки и Волги мимо Нижнего Новгорода через черемисские и вотяцкие места на Вятку и далее к Уралу, давно известному в Великорусье своими богатствами.

Но не одно Поволжье сманивало народ из коренных московских областей. Манило к себе и Дикое поле, которое лежало на юг от Рязанских, Тульских и Калужских мест и пока не было никем заселено. Им пользовались татарские и русские бродяги, находившие там убежище от преследования врагов или закона и искавшие добычи от охоты или грабежа русских и татарских пограничных поселений. К середине XVI века на Диком поле русские люди бродили под именем «казаков» по всему пространству до Северного Донца и Нижнего Дона и на берегах «польских» рек ставили свои охотничьи «станы» и «юрты», в которых промыш-

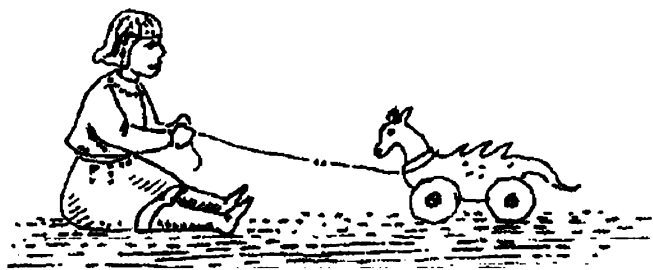
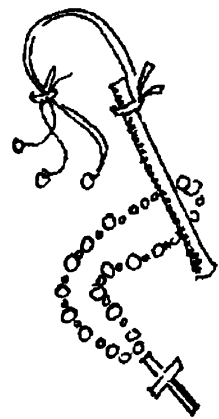


ляли рыболовством и охотой. Но не этот промысел был в «поле» наилучшим. Привлекательнее было военное дело. Можно было, сойдясь в боевой отряд — станицу — и выбрав атамана, идти на юг в Черноморье добывать «зипунов» в татарских и турецких поселениях. Можно было на «шляхах» — полевых дорогах из Московского государства на юг — грабить русских и иноземных купцов, даже царских и ханских послов. Наконец, можно было по царскому призыву наниматься на государеву службу и входить особыми отрядами в московскую рать. Вот на это Дикое поле и потянулся народ из терроризованного Грозным государством тогда, когда от опричнины и тягот Ливонской войны на Руси стало жить невмочь. По-видимому, это первоначально не беспокоило правительство; по крайней мере современники думали, что Грозный даже поощрял выход на юг с той целью, чтобы «наполнить границы своей земли воинственным чином и им укрепить украинные города против супостатов». Один из писателей того времени сказал даже так, что если «гад кто злодействующий осужден будет к смерти и аще убежит в те грады польские и северские», то там будет избавлен от «смерти своея». Но с течением времени плоды такого попустительства стали беспокоить московскую власть. Она поняла, что отвлечение людей из центра в Поволжье и на «поле» роковым образом отозвалось на положении самого центра.

К семидесятым годам XVI века положение центра в хозяйственном отношении стало критическим. Убыль населения создала хозяйственную пустоту. Писцовые книги того времени отмечали очень много «пустошей, что были деревни»; вотчин пустых и поросших лесом; сел, брошенных населением, с церквями «без пенья»; пашен, оставленных «за пустом» без обработки. Местами была жива еще память об ушедших хозяевах, и пустоши еще хранили на себе их имена, а местами и хозяева уже забыты и «имян их сыскати некем». Там, где возможен цифровой подсчет о положении дел под Москвой, он дает разительный итог. Ко времени смерти Грозного в 13 станах Московского уезда писцовые книги показывают до 50 тысяч десятин пахотных земель. Из них пустует (круглым счетом) до 16 тысяч десятин в поместьях и вотчинах и, сверх того, до 4000 за отсутствием владельцев сдано из оброка; стало быть до 40 процентов пахотной земли вышло из нормального хозяйственного оборота. Остальные же 60 процентов (то есть 30 тысяч десятин) распределены так: за помещи-

ками и вотчинниками 11,5 тысячи десятин и за монастырями 18,5 тысячи десятин. Значит, служилые люди в Московском уезде к концу царствования Грозного оставили впусе почти две трети общего количества пашни, каким могли бы владеть. Еще более безотрадные данные получаются за то же время по новгородским пятинам, которые лежали вблизи театра Ливонской войны: в них, по приблизительному выводу, из общего количества пахотной земли в обработке было только 7,5 процента. У нас нет никаких показаний относительно того, какой процент населения ушел из центральных уездов на окраины и куда в каком количестве он перешел. Есть только сделанное «на глаз» исчисление, что в самые последние годы XVI века на «поле» вышло не менее 20 тысяч человек, которые пополнили собой массу более старых выходцев из государства. Конечно, эта цифра и приблизительно не определяет размеров эмиграции. О них можно судить по той горячке, какая охватила хозяев-землевладельцев в исходе царствования Грозного в их борьбе за рабочие руки. Всеми законными и незаконными, благовидными и неблаговидными способами старались они задержать в своих хозяйствах уплывавшую рабочую силу, не выпустить крестьян и холопей, напротив, достать их себе со стороны. Мирными сделками и судом, насилием и хитростью держали они у себя народ и крепостили себе людей с воли и из чужих хозяйств. Крестьянская «возка», выкуп и перевоз задолжавших крестьян, составляли предмет постоянных столкновений между землевладельцами: богатые, сильные и ловкие «вывозили» к себе всеми способами крестьян от бедных, мелких и неумелых хозяев. Равным образом переманивали они и непашенных работников, шедших «во двор» в холопство к богатому и тароватому господину «служити волею», а, в сущности, не «волею», а обманом и по горькой нужде. По слову современника, кабалили людей, «написание служивое (то есть обязательство) силой и муками емлюще, инех же винца токмо испити взывающе — и по трех или по четырех чарочках достоверен неволею раб бываше тем».

Эта борьба за работников, конечно, давала победу влиятельным и богатым владельцам (чаще всего монастырям, располагавшим денежными капиталами и связями в Москве), но она была во вред крестьянам и мелким служилым помещикам: из них первые попадали в экономическую кабалу, а вторые, теряя крестьян, разорялись и не могли нести службу. Правительство



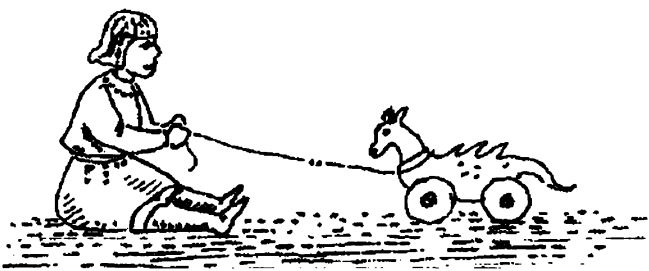
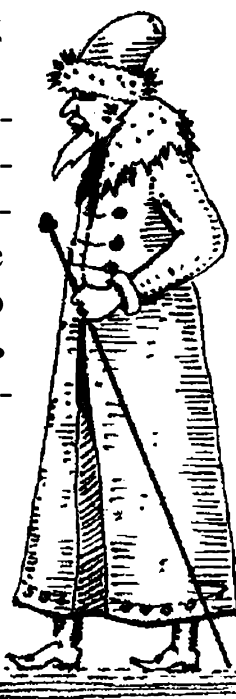
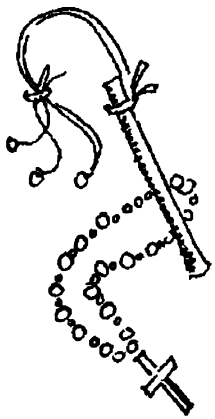
теряло и в том и в другом случае: разоренный крестьянин или убегал, или обращался в холопа и, стало быть, исчезал, как плательщик государственных податей; разоренный помещик не только не служил, но и «пустошил» казенное поместье, уничтожал его хозяйственную ценность. Поэтому правительство неизбежно должно было вмешаться в дело. В 1580 году Грозный взял у «освященного собора» и его главы митрополита Антония торжественный приговор о том, что монастыри и прочие церковные владельцы впредь не будут приобретать никаких земель и не будут брать их в заклад, потому что «воинственному чину от сего оскудение приходит велие». Вероятно, около того же времени состоялось государево уложение, чтобы крестьян насильством не «вывозили» или чтобы их и вовсе не «вывозили» в известные сроки — «в заповедные лета», которые точно определялись наперед правительством. К сожалению, не сохранилось точного текста этого уложения Грозного: но оно, во всяком случае, существовало и по сути своей представляло собой первое, условное и временное, ограничение свободы крестьянского выхода, до тех пор признаваемой московским законодательством.

6

Итак, политический террор и опустение государственного центра привели Московское царство к внутреннему кризису чрезвычайной силы. Длительная война, татарские набеги 1571–1572 годов и случайные недороды тех же лет еще более обострили кризис. Грозный стоял перед тяжелой и сложной задачей. Страна отказывалась давать правительству людей и средства для продолжения войны; благодаря быстрому отливу населения, она вообще потеряла силы, необходимые для поддержки правительства. Надобно было заново налаживать расстроенный порядок и искать новые ресурсы, способные восстановить государственную мощь. Естественна была мысль обратиться за этими ресурсами туда, куда ушла рабочая сила, и попробовать заново привлечь ее к отбыванию государственных служб и повинностей, от которых она своим уходом себя избавила. Что касается Поволжья, то в нем процесс заселения совершался под наблюдением и даже руководством московской власти. Поэтому там учет трудовых сил и средств шел, в общем, своевременно и правильно. Уже в сере-

дине 60-х годов XVI века, после распределения между русскими владельцами конфискованных татарских земель, в Казанском «царстве» началась их общая перепись. В писцовые книги заносились земли дворцовые, поместья «верстанных» людей, земли пустые и те, «что исстари были татарские и чувашские и мордовские, которые в поместья розданы довелось». Все описанные земли так или иначе вошли в правительственное ведение и были приняты в расчет при распределении служб и платежей. Иначе дело обстояло на юге, в Диком поле. Еще в начале XVI столетия граница московских оседлых поселений была отодвинута с Оки («с берега», как тогда выражались) на укрепленную «черту», которая обозначалась каменными крепостями Калугой, Тулой и Зарайском. Правительство укрепляло и стерегло эту черту, обставленную против татарских набегов гарнизонами и всякого рода природными и искусственными «крепостями». Самым мелочным образом оно заботилось о том, чтобы быть «усторожливее», и предписывало крайнюю осмотрительность. А между тем, несмотря на опасности, на всем пространстве укрепленной границы жило и подвигалось вперед, все южнее и южнее, земледельческое и промышленное население. Оно безо всякого разрешения, даже без ведома власти, оседало на «новых землях», на всякого рода угодьях. Его стремление из центра государства было так энергично, что выбрасывало наиболее предприимчивые элементы даже вовсе за границу крепостей, где защитой поселения были уже не городские стены и валы, а только природные «крепости» — лесная чаща или течение лесной же речки. Такого рода население уходило со всякого учета и вовсе терялось для государства. Его нельзя было описать в писцовой книге и обязать тем или иным видом службы или тягла. Между тем государственные нужды делались все острее и острее, и к 1571 году в Москве окончательно созрела мысль заняться югом. Ближайший повод к тому дали вести о татарских набегах 1570 года.

В январе 1571 года государь решил на южной границе «построить станицы и сторожи», то есть привести в порядок и улучшить ту сеть сторожевых разъездов и неподвижных наблюдательных постов, которая давно была раскинута на южной Украине и теперь признавалась малосостоятельной. Дело было поручено боярину князю М. И. Воротынскому. Он распорядился вызвать из южных городов в Москву опытных в сторожевой службе лю-



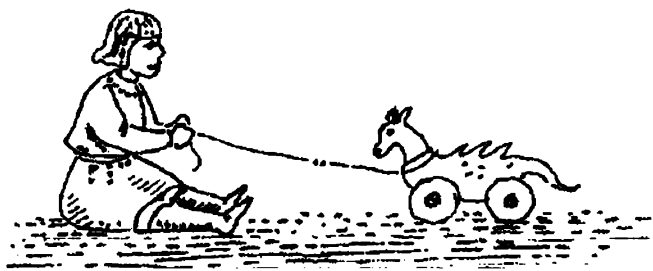
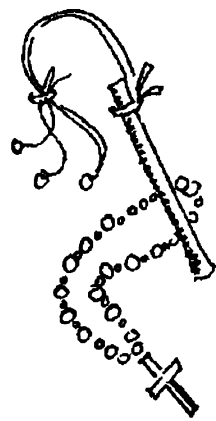
дей, «которые преж сего езживали (сторожить границу) лет за десять или за пятнадцать». Эти люди, «изо все украинных городов дети боярские, станичники и сторожи и вожи, в январе, а иные в феврале к Москве все съехались». С ними Воротынский выработал новый план сторожевой охраны границ, причем сторожевая линия была вынесена от Тулы на юг к реке Быстрой Сосне, к Орлу и Брянску, и таким образом значительное пространство Дикого поля вошло в состав государственной территории. Это был акт правительственной колонизации, технически разработанный очень старательно и подробно. Так как при этой специальной работе возникали вопросы административные, выходявшие за пределы ведения комиссии Воротынского, то они передавались в Боярскую думу, обсуждались там и разрешались особыми «приговорами» бояр. Дело затянулось на несколько лет; Воротынского заменил боярин Н. Р. Юрьев; расписание «станец» и «сторож» не раз изменялось сообразно с тем, как подвигались все южнее и южнее военные и хозяйственные заимки на Диком поле. Правительство все внимательнее и внимательнее относилось к задаче колонизации, и к концу царствования Грозного и в самом начале царствования его преемника Федора Ивановича вопрос о включении Дикого поля в сферу государственного ведения встал в самом широком объеме.

Руководящей мыслью всех мероприятий в этом вопросе была мысль о необходимости построения крепостей с тем расчетом, чтобы ими занять и закрыть все броды через реки на татарских дорогах с юга к Оке — «по сакмам татарским на бродах поставити городы». Этим пресекалась возможность скрытого движения по Дикому полю больших татарских масс. Против же набегов мелких татарских отрядов устраивались между городами всякого рода «крепости»: в лесах «засеки», на полях валы и рвы. Все это составляло сплошную линию укреплений — «черту», за которой наблюдали неподвижные караулы, «сторожи», и подвижные разъезды — «станции». Сеть городов, задуманная при Грозном и осуществленная при нем и его преемнике, охватила громадное пространство Дикого поля между Доном, Верхней Окой и левыми притоками Днепра и Десны*. Это пространство стало

* В этой сети укрепленных городов главными были Брянск, Орел, Кромы, Новосиль, Ливны, Елец, Воронеж, Оскол, Курск.

своеобразным завоеванием Москвы, где объектом завоевания были не вражеские города и чуждое население, а пустые места и собственный народ. На деле врага только старались не пускать в захваченный район, для чего и строили города, а к этим городам старались на месте прикрепить свое русское население, вышедшее из центральных областей и перешедшее за черту русской оседлости. Московский воевода, посылаемый для основания нового города, являлся на место, где указано было ставить город, и начинал работы; в то же время он собирал сведения «по речкам» о том, были ли здесь свободные заимщики земель. Узнав о существовании вольного населения, он приглашал его к себе, приказывал «со всех рек атаманом и казаком лучшим быти к себе в город»; государевым именем он укреплял за ними их «юрты» (заимки) и привлекал их к государевой службе по обороне границ и нового города. Из них и составлялось служилое население нового города и его уезда. Оно давало правительству возмещение той убыли ратных сил, что была вызвана опустением и разорением центра. Но этим не ограничивались повинности вольного населения, захваченного снова в государственный оборот казенной колонизацией Дикого поля. В каждом новом уезде заводилась казенная запашка, так называемая десятинная пашня, которую обязаны были пахать по наряду, сверх своей собственной, все мелкие ратные люди из городов (кроме детей боярских). Эта десятинная пашня была нужна для пополнения казенных житниц, из которых хлеб расходовался на различные нужды. Им довольствовались гарнизонных людей, не имевших своего хозяйства; казенный хлеб посылали в более южные города, где еще не была налажена своя запашка, а также на Дон казакам в виде «государева жалованья». Таким образом, правительство думало восполнить ту убыль земледельческих продуктов, которая была естественным следствием хозяйственного кризиса в опустелом центре.

Заботы о заселении и укреплении Поволжья и особенно южной окраины и об устройстве в этих областях военного и трудового населения составляли главный предмет правительственной деятельности последних лет царствования Грозного. Поскольку ослабевала репрессивная энергия власти в опричнине, постольку росло ее внимание к организации окраин, оставшихся в «земщине». Тот исследователь, который ограничит свое наблюдение над московской жизнью этого периода только законодательной

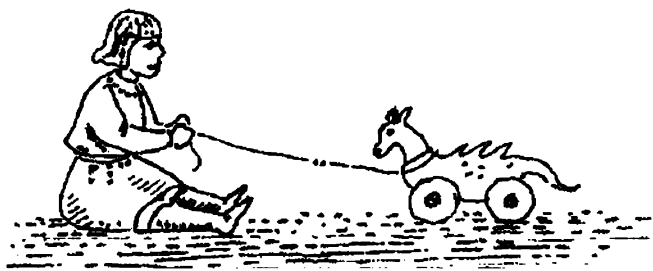
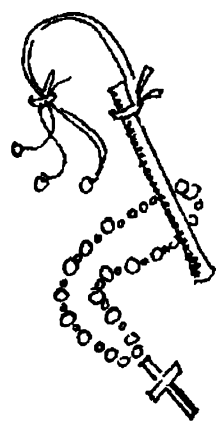


деятельностью центральных органов власти, должен будет признать, что они бездействовали и что сам Грозный влачил свои дни в мрачном настроении, болезненно переживая военные неудачи и по временам отдаваясь приступам зверского озлобления. И одно лишь знакомство со специальными материалами, касающимися устройства служб и труда во вновь заселенных окраинных областях государства, позволяет понять, куда направлялись заботы правительства. Они не требовали общих законодательных определений и ограничивались практическим выполнением, по мелочам, раз установленного плана, а поэтому и не отражались ничем в указах и законах, хотя и свидетельствовали о бодрости и жизнеспособности правительства не менее, чем широкие реформы молодых лет Грозного или же бурная затея опричнины.

7

Ко второй половине царствования Грозного, к эпохе опричнины, Литовско-шведской войны и строительства на Украине, относятся виднейшие литературные упражнения Грозного. Разумеется «зело пространное» послание его в ответ на первое письмо Курбского (1564), завещание 1572 года, послание в Кириллов монастырь (1573), письма и официальные грамоты, написанные, по-видимому, самим царем (грамоты шведскому королю Юхну и Баторию, письмо В.Г. Грязному и т. д.). Два признака характеризуют литературную манеру Грозного. Во-первых, он необыкновенно многоречив и склонен собственную щедрость в излитии словес усугублять цитатами из прочитанных им книг («паремьями целыми и посланьми», по выражению Курбского). Во-вторых, он очень любит все виды насмешки — от добродушной по виду иронии до злейшего сарказма, любит милостиво издеваться над своими корреспондентами, кстати и некстати вводя шутовской элемент в серьезную речь. Нам нет нужды останавливаться на разборе всех этих произведений Грозного, так как они много раз оценивались нашими историками и пользуются большой известностью. Но необходимо для нашей цели отметить, что, как бы ни ценить литературные свойства этих писаний, они свидетельствуют о том, что их автор сохранил умственные силы до последних своих лет, что писания Грозного отнюдь не могут почитаться бредом умалишенного или вздором глупого человека.

В них всегда есть определенная тема, логически развиваемая; есть последовательность мысли и определенность чувств; вообще есть смысл и остроумие. Но вместе с тем эти произведения заключают в себе ценный материал для определения тех настроений, какие владели Грозным в наиболее решительные моменты его жизни. Не раз выше мы отмечали, что Грозный питал страх перед своей «избранной радой». По-видимому, это было искреннее и глубокое чувство, Грозный верил, что он был во власти своих советников, что их «собацкое собрание» распоряжалось всеми делами, оставив ему только честь «председания и царствия», что его семье и ему самому грозила опасность от «лукавых рабов» и руководившего ими «попа». Когда, наконец, он превозмог этот страх и решился разогнать опасное «собрание», он впал в другое малодушие. Ему казалось, что разрыв с прежними любимцами повел их к «измене» и злоумышлениям против него. На деле не они, а он напал и гнал противных ему и подозрительных людей; ему же казалось, что нападали они, а он вынужден был «за себя стать» и защищаться. Это настроение страха и необходимости самообороны проникает все «широковещательное и многошумное писание» его к Курбскому. Учреждение опричнины было, с точки зрения царя, необходимым актом самообороны. И, свирепствуя над «изменниками», он сохранял то же настроение угнетенного и пребывающего в опасности человека. Его завещание 1572 года ясно отражает это состояние духа. Властно распоряжаясь своей «казной» и всем «своим царством Русским», Грозный в то же время представлял себя гонимым человеком: «изгнан есмь от боярь, своевольства их ради, от своего достояния и скитаюся по странам», писал он. Под «своим достоянием» разумел он столицу, а под «странами» те места, где живал со своим двором. В позднейшей духовной 1582 года, которая до нас не дошла, это странное место читалось иначе. Видевшие завещание 1582 года люди XVIII века свидетельствуют, что в нем царь «яснее о сем говорит и мстить запрещает; скитание свое именует, что изволил жить в городе Старице, а более в Александровской слободе». Но и в этой, менее странной редакции речь «изгнанного от боярь» тирана кажется нам чем-то психически ненормальным. Впечатление усиливается той последовательностью, с какой Грозный представляет себя и своих детей в обстановке изгнания и угнетения. «А будет Бог помилует и государство свое доступите



и на нем утвердитесь», — говорит он детям: «и аз благословляю вас»; или в другом месте: «а докудова вас Бог помилует, свободит от бед, и вы ничем не разделяйтесь». Даже в известном послании в Кириллов монастырь, которое все полно обличениями монахов, проглядывает то же настроение человека, находящегося в опасности. Третья женитьба Грозного на Марфе Собакиной принесла гибель многим из ее родни. Поминая в послании постриженного в монахи дядю этой царицы Варлаама Собакина, Грозный говорит, что «Варлаамовы племянники хотели было меня и с детьми чародейством извести, но бог меня от них укрыл: их злодейство объявилось, а потому и сталося» (то есть произошла их казнь). О заговоре и покушении Собакиных на Грозного история не знает, и только сам Грозный обнаруживает эту, по-видимому, мнимую опасность для него со стороны несчастной семьи*.

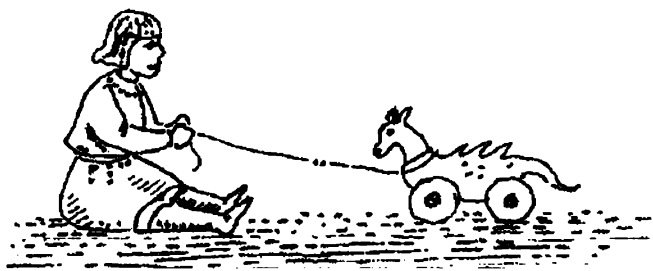
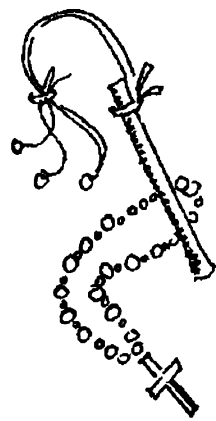
В этом чувстве страха перед несуществующими опасностями позволительно видеть начатки той мании преследования, которая так известна и распространена в наше время. Как у многих страдающих (или, лучше сказать, обладающих) этой манией, у Грозного она не обратилась в определенную душевную болезнь. До конца своих дней он продолжал правильно воспринимать впечатления, хорошо понимать сложную обстановку современной политической жизни и разумно отзываться на ее запросы. Только в данном пункте он терял душевное равновесие, легко отдавался страху и подозрениям и яростно защищал себя от мнимых покушений и нападений. На этой почве выросла опричнина с ее насилиями и казнями и началось скитание царя «по странам» вместо оседлого пребывания в Москве. На этой же почве, как подмечено вообще над маньяками, выросло столь характерная для Грозного болтливость и склонность к шутке и насмешке. Грозный последних лет его деятельности не умалишенный человек, но человек, лишенный душевного спокойствия, угнетаемый страхом за самого себя и своих близких. Это — одна сторона его «ненормальности». Другая — близкая к тому, что называется «садизмом», то есть соединение жестокости с развратом. Эта черта в натуре Грозного, воспитанная его

* Марфа Собакина умерла через две недели после своей свадьбы с царем; из ее родни трое были казнены, дядя был прислан Грозным в монастырь.

несчастливым детством, к старости усилилась до чрезвычайных; проявлений. Его жертвы погибали в утонченных истязаниях и погибали сразу сотнями, доставляя тирану своеобразное удовольствие видом крови и мучений. Иногда Грозный «кался», признавая, что «он разумом растленен и скотен умом», что он осквернил себя убийством, блудом и всяким злым деланием, что он «паче мертвеца смраднейший и гнуснейший»; но это был лишь обряд. Истинно и глубоко каялся и скорбел он лишь тогда, когда в припадке гнева своей палкой убил собственного сына, царевича Ивана, который один давал отцу надежду на продолжение рода и был убежденным продолжателем его политики и нрава. Сокрушив, так сказать, свое собственное будущее, Грозный только в эту минуту испытал настоящую горе и понял, что значит страдать. В спешной грамотке 12 ноября 1581 года из Александровской слободы в Москву боярам Грозный писал, что не может ехать в Москву, так как царевич «разнемогся и нынче конечно болен», и эта грамотка является красноречивым свидетельством того душевного смятения, какое овладело Грозным в дни его невольного преступления. Но вскоре же после кончины царевича Грозный пришел в себя и вернулся к делам: это было время важных и срочных переговоров о мире с Баторием, и горевать было некогда.

Однако гнусными проявлениями жестокости и цинизма не исчерпывалась духовная жизнь и деятельность Грозного в эти мрачные годы. До самой смерти он хранил в себе добрые уроки времен «избранной рады», ее метод широкой постановки очередных тем управления и способность систематического выполнения их на деле. Как ни судить о личном поведении Грозного, он останется как государственный деятель и политик крупной величины.

В заключение речи о Грозном во вторую половину его царствования необходимо отметить одну склонность, замеченную его современниками и ими осужденную. Это склонность к иностранцам, интерес к Западной Европе. В начале нашего очерка было указано, что общение с Европой для Грозного было семейной традицией. И дед, и отец его начали и поддерживали сношения с государствами Средней и Южной Европы. Подчинение Новгорода и Пскова поставило Москву в непосредственное соседство с «немцами» ливонскими и свейскими, и через



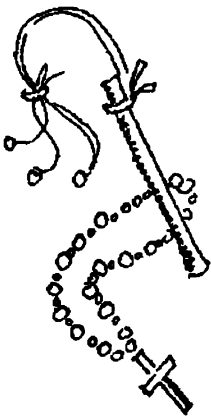
них и с Ганзой. Родство с Палеологами привлекло в Москву «фрягов» — представителей романских наций, главным образом итальянцев. Сам Грозный начал сношения с Англией. Ливонская война поставила его в некоторую связь с Данией, с которой у него оказались общие враги.

Грозного интересовали не только политические и торговые комбинации, вытекавшие из тех или иных сношений, но интересовала и самая культура Европы, ее техника, ее наука, ее религия. В своем месте было указано, как скоро после первого знакомства Москвы с минным делом у Грозного под Казанью оказался минный мастер, «подкопыватель», с учениками. Упоминали мы также о Гансе Шлитте, вербовавшем в Средней Европе всякого рода техников для Москвы. Интересовался Грозный и врачами: тот же Шлитте пригласил в Москву из Германии более двадцати лиц медицинской профессии. Этим приглашенным не удалось пробраться к Грозному сквозь ганзейские и ливонские заставы. Зато другие медики свободно приезжали в Москву через устья Северной Двины и Холмогоры. Это были по большей части англичане, между которыми встречались люди действительно сведущие (Роберт Якоби, Арнульф Линзей). В 1570 году в Москву явился из Англии же немец по происхождению, питомец Кембриджа, доктор и астролог («волшебник») Елисей Бомель, или Бомелий. Этому проходимцу и интригану суждено было сыграть видную роль при Грозном. В течение целого десятилетия состоял он при царе не только в качестве медика, но и как гадатель-астролог и составитель ядов, предназначенных для опальных людей. Современники знали о его близости к царю и сокрушались ею. Думали даже, что Бомелий был подослан к Грозному его врагами, литвой и ливонцами; это они «к нему прислаша немчина лютого волхва нарицаемого Елисея, и бысть ему любим в приближении; и положи на царя страхование... и конечно был отвел царя от веры: на русских людей царю возложи свирепство, а к немцем на любовь преложи». Так говорил один летописец; другой утверждал, что Бомелий прямо лишил Грозного ума: царь, по его словам «в ратех и войнах ходя, свою землю запустошие, а последи от иноверца (Бомелия) ума исступи и землю хотя погубити, аще не бы Господь живот его прекратил». Хотя в конце концов Бомелий и погиб от Грозного, как погибали многие его любимцы,

по подозрению в «измене», однако его влияние на царя глубоко запало в памяти русских людей.

Писатель начала XVII века Иван Тимофеев более четко, чем прочие современники, выразил мысль о том, что Грозный к концу своей жизни подпал иноземным симпатиям и влияниям. Он говорит, что царь, избив одних своих бояр и разогнав других, вместо них «от окрестных стран приезжающая к нему возлюби». Иных он сделал своими интимными советниками («в тайномыслие си приятова»); другим вверил свое здоровье ради их «врачевные хитрости». Они же принесли «душе его вред, телесное паче нездравие», а кроме того, внушили ему «ненавидение на люди его». Тимофееву казалось, что и «средоумные» люди могли бы разуметь, «еже не яти веры врагом своим вовеки»; между тем Грозный, «толикий в мудрости, никим побежден бысть, разве слабостию своя совести», сам вдался в руки иноземцам. «Увы! — восклицает Тимофеев. — Вся внутренняя его в руку варвар быша и яже о нем восхоте да сотвориша». Здесь, конечно, вспоминается прежде всего Бомелий, но разумеются и вообще иноземцы, появившиеся к концу царствования Грозного в значительном числе в Московском государстве. Торговые англичане и голландцы, торговавшие в Москве и на Русском Севере; пленные немцы и литва, поселенные в разных городах, до Лашиева включительно; иностранные послы, с большой свитой приезжавшие в Москву, — все эти люди могли внушить представление, что царь дал силу иноземному элементу, покровительствует ему и поощряет его.

Откинув неизбежные преувеличения, не повторим вслед за летописцами, что Грозный лишился ума «от иноверца», но признаем, что склонность к общению с европейцами и с Западом выражалась у Грозного достаточно ярко и сильно. Бесспорно, что в минуты «страхования» от «измены» он даже думал о возможности покинуть Русь и тогда хотел искать убежища на Западе, именно в Англии.



Примечания

Роберт Виппер. Иван Грозный

- ¹ Георг Фридрих Кнапп (1842–1926) — немецкий историк и экономист.
- ² Федор Иванович Леонтович (1833–1911) — русский юрист, историк, ректор Новороссийского университета (1869–1877).
- ³ Владимир Степанович Иконников (1841–1923) — русский историк, профессор и декан историко-филологического факультета Императорского университета Св. Владимира в Киеве.
- ⁴ События получили такое название, поскольку шляхта за два месяца политических баталий извела всех кур вокруг Львова, где было собрано ополчение.
- ⁵ Иван Егорович Забелин (1820–1909) — русский археолог и историк, почетный член Санкт-Петербургской АН (1907).
- ⁶ Казимир Феликсович Валишевский (1849–1935) — польский историк, писатель и публицист, известный в России сочинениями по придворной истории XVIII века.
- ⁷ Перевод писем Ивана Грозного на современный русский язык Я.С. Лурье и О.В. Творогова.
- ⁸ Перевод А.А. Алексеева.
- ⁹ Сергей Федорович Платонов (1860–1933) — русский историк, член-корреспондент Санкт-Петербургской академии наук.
- ¹⁰ Николай Владимирович Мятлев (1872–1929) — археолог, генеалог, археограф, юрист.
- ¹¹ Симон V де Монфор (1208–1265) — лорд-протектор, глава сопротивления баронов королю Англии Генриху III. В январе 1265 года

созвал первый парламент, положивший начало сословному представительству в Англии.

- ¹² Хью Уиллоби (1495—1554) — английский мореплаватель, один из членов-учредителей созданной в Лондоне «Московской компании». Возглавил снаряженную ею торговую экспедицию из трех кораблей на поиски Северо-Восточного прохода из Европы в Китай. В мае 1554 года поморы обнаружили в устье реки Вардзина два стоящих на приколе корабля с 63 трупами. Наиболее правдоподобной выглядит версия, согласно которой причиной смерти людей, перебравшихся во время зимовки на одно судно и законопативших все щели, стало отравление угарным газом. Командовавший третьим кораблем Р. Ченслор привел его в Двинский залив.
- ¹³ Борис Дмитриевич Греков (1882—1953) — русский историк, академик АН СССР.
- ¹⁴ Перевод Д. М. Буланина.
- ¹⁵ Александр Сергеевич Орлов (1871—1947) — литературовед, специалист по древнерусской литературе, академик АН СССР.
- ¹⁶ Игорь Всеволодович Новосадский (1901—1941) — книговед, в 1936—1941 годах старший библиотекарь Библиотеки АН СССР.
- ¹⁷ Иван Иванович Полосин (1891—1956) — историк-медиевист, доктор исторических наук.
- ¹⁸ Александр Иустинович Малеин (1869—1938) — филолог, историк, книговед, член-корреспондент АН СССР.
- ¹⁹ Здесь и далее перевод Я. С. Лурье.
- ²⁰ Степан Борисович Веселовский (1876—1952) — историк, археограф, академик АН СССР.
- ²¹ Петр Алексеевич Садиков (1891—1942) — историк, исследователь опричных мероприятий Ивана IV.
- ²² Витольд Владиславович Новодворский (1861—1923) — российский и польский историк, с 1921 года профессор в Университете Стефана Батория в Вильно. См.: Новодворский В. Иван Грозный и Стефан Баторий: схватка за Ливонию. М., Ломоносовъ, 2015.
- ²³ Иван Семенович Тимофеев по прозвищу Кол (ок. 1555—1631) — писатель, религиозно-философский мыслитель.
- ²⁴ Иван Михайлович Катырёв-Ростовский (ум. 1641) — зять царя Михаила Федоровича. Ему приписывают «Летописную книгу» — последовательное изложение событий Смутного времени.
- ²⁵ Сергей Михайлович Середонин (1860—1914) — историк, профессор Императорского историко-филологического института.

Сергей Платонов. Иван Грозный

- ¹ Николай Петрович Лихачёв (1862—1936) — историк, специалист в области источниковедения, дипломатики и сфрагистики. Академик АН СССР.
- ² Константин Сергеевич Аксаков (1817—1860) — публицист, поэт, литературный критик, историк, идеолог славянофильства.
- ³ Юрий Федорович Самарин (1819—1876) — публицист, историк, философ.
- ⁴ Николай Иванович Костомаров (1817—1885) — историк, публицист, писатель, член-корреспондент Санкт-Петербургской АН.
- ⁵ Сергей Михайлович Соловьев (1820—1879) — историк, ректор Московского университета, академик Санкт-Петербургской АН.
- ⁶ Константин Дмитриевич Кавелин (1818—1885) — историк, социолог, публицист.
- ⁷ Константин Николаевич Бестужев-Рюмин (1829—1897) — историк, глава Санкт-Петербургской школы историографии, специалист по источниковедению.
- ⁸ Дмитрий Павлович Голохвастов (1796—1849) — писатель, историк, археограф.
- ⁹ Евгений Евсигнеевич Голубинский (1834—1912) — историк Русской церкви, академик Санкт-Петербургской АН.

Содержание

Роберт Виппер. Иван Грозный

I. Шестнадцатый век	7
II. Наследство Ивана III	22
III. Окно в Европу	44
IV. Успехи и неудачи военной монархии.	68
V. Борьба с изменой.	100
VI. Дипломатия Ивана Грозного.	129
VII. Иван IV и Стефан Баторий.	145
VIII. Посмертный суд над Грозным	174

Сергей Платонов. Иван Грозный

I. Грозный в русской историографии.	187
II. Воспитание Грозного.	199
III. Первый период деятельности Грозного. Реформы и татарский вопрос	213
IV. Переходный период	237
V. Последний период деятельности Грозного. Балтийский вопрос и опричнина.	242

<i>Примечания</i>	280
-----------------------------	-----

И18 Иван Грозный. Двойной портрет. — М.: Ломоносовъ. — 2020. — 288 с. — (История. География. Этнография).
ISBN 978-5-91678-613-2

В книгу вошли работы двух выдающихся отечественных историков Роберта Виппера и Сергея Платонова. Вышедшие одна за другой вскоре после Октябрьской революции, они еще свободны от навязанных извне идеологических ограничений — в отличие последующих редакций публикуемой здесь работы Виппера, в которых его оппоненты усмотрели (возможно, не совсем справедливо) апологию сталинизма. В отношении незаурядной личности Ивана Грозного Виппер и Платонов в чем-то согласны, в чем-то расходятся, они останавливаются на разных сторонах его деятельности, находят свои объяснения его поступкам, по-своему расставляют акценты, но тем объемнее становится портрет царя, правление которого составляет важнейший период русской истории.

Роберт Виппер (1859–1954) — профессор Московского университета (1916), профессор Латвийского университета (1924), академик АН СССР (1943).

Сергей Платонов (1860–1933) — профессор Санкт-Петербургского университета (1912), академик Российской АН (1920).

УДК 94(47).043

ББК 63.3(2)4

Книга изготовлена в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ, ст. 1, п. 2, пп. 3.
Возрастных ограничений нет

История. География. Этнография

Иван Грозный. Двойной портрет



Редактор С. Воронова
Верстка А. Петровой
Корректор Н. Хромова

Подписано в печать 23.03.2020.
Формат 60×90/16. Усл. печ. л. 18. Тираж 600 экз.

ООО «Издательство «Ломоносовъ»
119034 Москва, Малый Левшинский пер., д. 3
Тел. (495) 637-49-20, 637-43-19
info@lomonosov-books.ru
www.lomonosov-books.ru

Отпечатано способом ролевой струйной печати
в ОАО «Первая Образцовая типография»
Филиал «Чеховский Печатный Двор»
142300 Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1
Сайт: www.chpk.ru, E-mail: sales@chpk.ru, 8 (495) 988-63-87